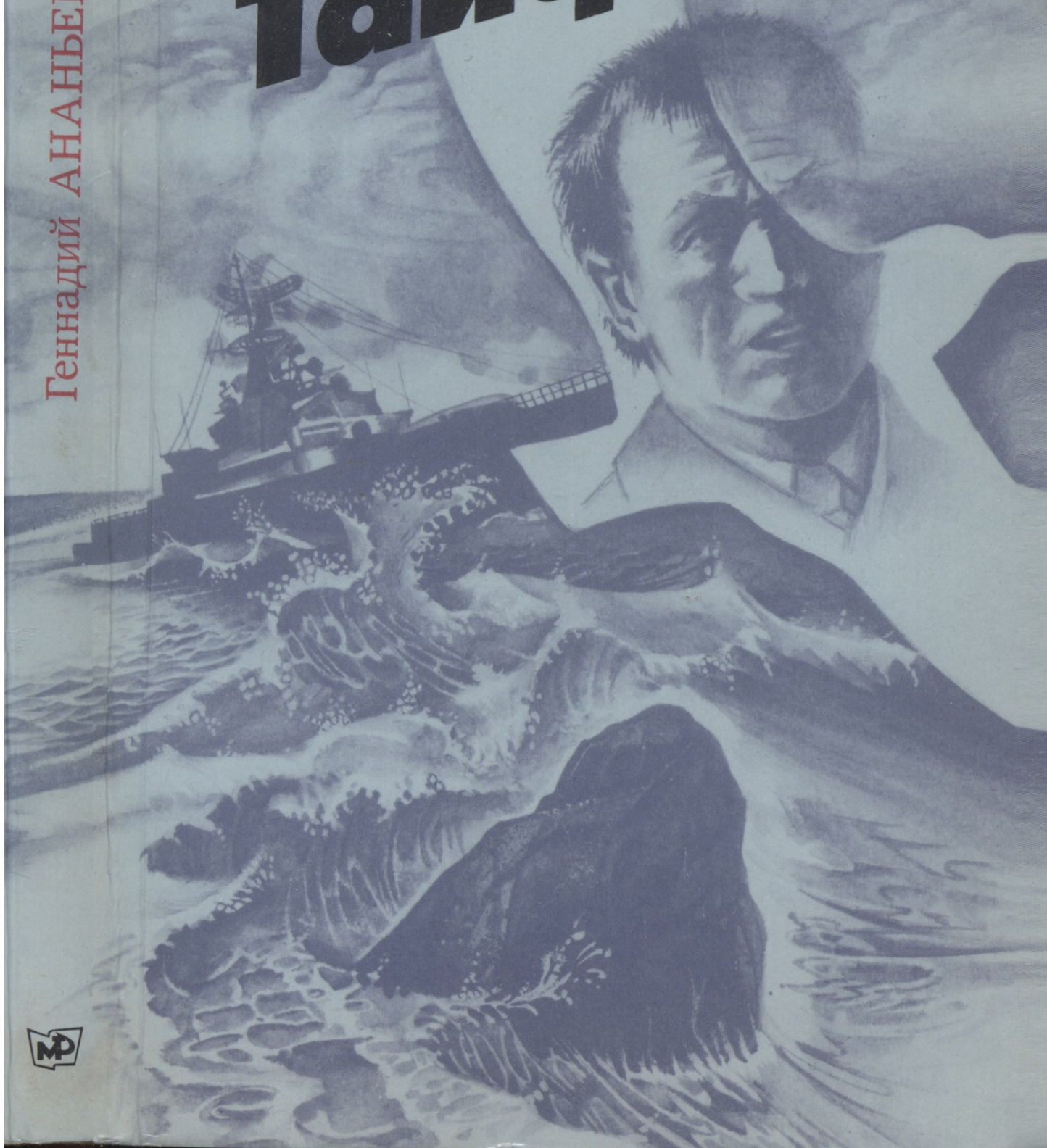


Геннадий АНАНЬЕВ

Тайфун

Геннадий АНАНЬЕВ

Тайфун



Геннадий Андреевич Ананьев

Тайфун

Повести



«Московский рабочий»

1989

ББК 84Р7—4

А64

А $\frac{4702010200-217}{M172(03)-89}$ 133—89

ISBN 5—239—00371—8

© Оформление, произведения, отмеченные в содержании звёздочкой. Издательство «Московский рабочий», 1989.

ДВЕ МАТЕРИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мария Петровна Барканова медленно шла по сырому от утренней росы песку. Ей казалось, что за двадцать пять лет здесь ничего не изменилось: тот же робкий накат волн; та же затянувшая горизонт дымка, сквозь которую виден край поднимающегося над морем солнца, красного, холодного, отчего море и песок тоже кажутся холодными и становится зябко и неуютно; тот же песчаный обрыв в нескольких десятках метров от моря с теми же оплетёнными лозой кольями, чтобы песок не осыпался; и те же разлапистые однобокие сосны с плоскими, как азиатские крыши, вершинами. Мария Петровна узнавала эти места, и оттого тревожное волнение, возникшее ещё вчера, когда она вышла из вагона на перрон, всё усиливалось и усиливалось.

Солнце ярко вспыхнуло, ослепило и, пробив утреннюю холодную дымку, вонзило миллионы лучей в тусклое море, которое сразу словно ожило, засветилось. Даже прибрежный сырой песок будто потеплел и теперь не отталкивал своей холодной серостью, а приятно ласкал глаз серебристым блеском. Мария Петровна зажмурилась и остановилась.

— Боже мой! Как это жестоко! — вырвалось у Марии Петровны. В её памяти отчётливо всплыло проведённое здесь с мужем и детьми первое утро после приезда на заставу. Так же вот вдруг вспыхнуло солнце, заискрились море и песок, а Андрей, её муж, засмеялся, проговорив восторженно: «Как, люди, чудесно!», подхватил её на руки и закружился по песку. Сыновья, Виктор и Женья, подбежали к ним с криком: «Папа, и нас! Нас тоже!» Отец присел, чтобы они ухватились с обеих сторон за шею, потом поднялся и пошёл в море.

Вода показалась им вначале холодной, особенно детям. Они возбужденно вскрикивали и смеялись, но вскоре обтерпелись, стали брызгаться и окунались с головой, а Андрей начал поочередно учить их плавать. Особенно долго и терпеливо показывал, как нужно держаться на воде, старшему — восьмилетнему Виктору.

Воспоминания эти были настолько ярки, что Марии Петровне казалось, будто всё это происходит с ней вот сейчас; она даже слышала возбуждённый смех детей, чувствовала обхватившие её руки Андрея, его дыхание, видела его лицо, его улыбку; она словно вновь хотела погладить его обветренную щеку — даже подняла руку, но безвольно опустила её.

Вытерев слёзы, Мария Петровна повернула к дюнам и начала подниматься по знакомой тропе вверх. Сколько раз она с детьми, а иногда с мужем, когда Андрею удавалось освободиться на часок-другой от заставских дел, ходила по этой тропе на берег, чтобы искупаться или просто поглядеть на море — то спокойное и ласковое, то ревущее, вспенённое; на корабли, большие и маленькие, неспешно проплывающие вдали. Мария Петровна сразу полюбила голубое безбрежье и могла часами смотреть, как нежится оно в лучах солнца. Не пугало её и штормовое море, бросающее на песок жёсткие волны, которые смывали всё, что попадалось им на пути. А вот гор она, как это ни странно, боялась, привыкнуть к ним не могла, хотя и прожила на Памире безвыездно восемь лет. Она чувствовала себя среди них беспомощной, одинокой. А здесь, едва успев навести порядок в новой квартире, она стала водить детей к морю через старую сосновую рощу, примыкавшую прямо к заставе. Ходили они и в небольшое рыбацкое село с островерхими крышами домов, огороженных высокими глухими заборами, и к заливу с деревянными причалами, к которым прижимались большие,

кажущиеся неуклюжими лодки, пропахшие рыбой. Сразу же Мария Петровна познакомилась со многими женщинами-рыбачками, а с Паулой Залгалис, весёлой и хлопотливой хозяйкой небольшого дома, стоявшего на краю села, и её мужем, молчаливым и хмурым Гунаром, вскоре подружилась. Познакомила Мария Петровна с ними и Андрея.

Андрею Гунар понравился. Высокий, широкий в плечах, он цепко взял протянутую Андреем руку, сжал её так, что далеко не нежные пальцы Андрея слиплись, и сказал отрывисто, хотя и с сильным акцентом, по-русски:

«— Гунар. Латышский красный стрелок.»

Он не добавил слово «бывший». Андрея это покорило.

Тропа, по которой сейчас шла, задумавшись Мария Петровна, поднималась на дюны и петляла между гладкоствольными деревьями, а метров через пятьдесят, у старой дуплистой сосны, разветвлялась. Мария Петровна остановилась у развилки. Она не сразу решилась, куда идти. Налево, в село? Или на заставу?

Обе тропы, как с удивлением видела Мария Петровна, были заброшены, заросли травой, особенно та, которая вела к заставе.

«Удивительно», — подумала она и повернула к заставе.

Мария Петровна шла, представляя себе, как подойдёт к калитке, как встретивший её дежурный станет расспрашивать, кто она, откуда и зачем пришла. Она мысленно уже готовила ответы на вопросы дежурного, прикинула, как пойдёт потом по знакомой, посыпанной жёлтым песком дорожке к командирскому домику, где её встретит жена начальника заставы (Марии Петровне думалось, что она молодая, худенькая, улыбчивая, какая была сама в те предвоенные годы), приветливо пригласит в квартиру...

Не знала она, что заставы на прежнем месте нет, пограничники совсем недавно перешли в новый городок, построенный ближе к заливу, а старые дома передали колхозу, и колхоз собирается оборудовать там цех по переработке рыбы с холодильником и коптильней.

Опушка. Дорога. За ней — заставка. Непривычно тихая. На вышке — никого. Калитка приоткрыта. Мария Петровна перешла дорогу, а у калитки в нерешительности остановилась. Ждала, что услышит чей-нибудь голос или какой-либо шум. Не дождалась и толкнула калитку.

Немного изменилось здесь за четверть века: те же дорожки, обложенные красным кирпичом, те же газоны, вышка для часового, казарма, показавшаяся Марии Петровне хмурой, сиротливой. Она не сразу догадалась, отчего такое впечатление, но потом увидела: все двери закрыты, окна заколочены. Мария Петровна пошла по дорожке через весь двор к бывшему своему домику. Окна его тоже были закрыты ставнями, и он теперь походил на слепца в черных очках.

У Марии Петровны не оставалось никакого сомнения в том, что в их бывшей квартире никто не живёт, но она всё же поднялась на крыльцо и толкнула дверь. Заперта. Толкнула ещё раз, посильней. Дверь не открывалась. А ей так хотелось войти в дом, их добрый милый дом, где в небольшой комнатке в кроватках она вдруг увидит, как и прежде, вихрастые русые головки спящих детей, а в спальне — Андрея, разметавшегося на диване и негромко похрапывающего, такого, каким часто видела его, засыпавшего на несколько часов после хлопотной бессонной ночи; но эта запертая дверь стояла непреодолимым барьером между прошлым и настоящим. Мария Петровна безвольно опустилась на ступени крыльца и заплакала.

«Зачем приехала?! Зачем?! Терзать себя?!»

Сидела она долго. Встала, немного успокоенная, и направилась к выходу. За калиткой остановилась, подумав: «А что в селе делать? Домой уезжать надо. Домой, домой!»

Она вынула из сумочки два письма, нераспечатанных, потёртых по краям, и ещё — уже в какой раз — перечитала постылые слова, выведенные аккуратно на одном конверте: «Адресат не проживает», на другом — размашисто, почти неразборчиво: «За отсутствием адресата вернуть». Одно письмо Мария Петровна послала сразу же, как освободили Латвию, второе — через несколько месяцев после войны. Когда вернулось и второе письмо, потух последний уголёк, ещё теплившийся в её душе. Сколько дум передумано, сколько пролито слез! Заживать уже стали старые душевные раны, для чего же она сама сыпает их солью?

«Домой! Домой!»

Пошла всё же в село. Шагала по пустынной лесной дороге и представляла себе холмик пепла и битого кирпича, укрытого густой жирной лебедой (хотя прежде она не видела в Прибалтике лебеды, но насмотрелась в России на заброшенные и разрушенные дома), и думала: «Сожгли фашисты дом. Сожгли!»

В её воображении — в какой уже раз — возникала жуткая картина гибели детей и приютивших их Паулы и Гунара.

Первый дом, который она увидела, был совсем новый. В палисаднике — какие-то незнакомые Марии Петровне цветы. Окрашенный в розовый цвет дом с большими окнами выглядел нарядно. Следом за первым — такой же новый и нарядный дом, дальше — ещё один, ещё... И вдруг Мария Петровна остановилась, удивлённая и поражённая: за несколькими новыми домами она увидела знакомую островерхую крышу.

«Дом цел?»

Мария Петровна заспешила, хотя ноги её, ставшие непослушными, словно чужими, подкашивались.

Вот и он, дом Залгалисов. С узенькими оконцами, подслеповатый. Только не мрачный, каким был тогда, в предвоенные годы, а нарядный: и дом и забор, тот самый — высокий, были окрашены светло-зелёной краской. Прежде Залгалисы никогда не красили ни стен, ни забора. Что же произошло? И почему цвет — пограничный? Она заволновалась ещё сильнее и, как ни пыталась успокоиться, справиться с собой не могла.

Вошла во двор, тесный, застроенный сараюшками, поднялась на крыльцо и с замиранием сердца постучала в дверь.

Вот ей послышалось какое-то движение в доме, потом из дальней комнаты донёсся слабый голос. Мария Петровна открыла дверь, переступила порог и ухватила за косяк, чтобы не упасть: безжалостно сдавило сердце, и оно остановилось на мгновение, потом, будто вырвавшись из когтистой руки, забилось часто и гулко. Вот здесь, у этого порога, она прощалась со своими сыновьями: Андрей увозил её в роддом, в город. Не думала, что целует их в последний раз.

Виктор, которому тогда исполнилось уже девять, прижимался к ней и всё не хотел отпускать, а пятилетний Женик сразу же, как она его поцеловала, радостно повернулся к Залгалисам, стоявшим у тёмно-коричневого резного буфета, и заговорил возбуждённо: «Тетя Паула, мы у

вас долго-долго теперь будем жить. Пока мама нам братика покупать будет. Дядя Гунар, на лодке меня покатаете? Правда?..»

Тот самый массивный старинный буфет и сейчас стоял в комнате. Так же, как и тогда, впивался в него пучок солнечных лучей, пробивающихся через узенькое оконце, но, несмотря на это, буфет казался каким-то хмурым, сердитым.

— Кто пришёл? Заходите сюда, — услышала Мария Петровна.

Она сразу узнала голос Паулы и, хотя та говорила по-латышски, поняла все слова.

— Паула?! Ты?! — не веря себе, переспросила Мария Петровна, не решаясь сделать первый шаг.

— Кому же, господи, быть здесь, как не мне? — удивлённо, уже по-русски ответила Паула и снова пригласила: — Проходите сюда.

Мария Петровна пересекла первую комнату, откинула цветную штапельную занавеску, заменявшую дверь, и снова ухватила за косяк. Стояла и смотрела, как, тяжело дыша, Паула слезла с кровати. Теперь уже никакого сомнения у Марии Петровны не оставалось, она узнала Паулу. И хотя перед ней была не проворная женщина, а болезненно полная старушка, лицо её, несмотря на полноту и округлость, осталось таким же добрым и красивым.

Паула с трудом слезла с кровати и внимательно посмотрела на гостью. Взгляды женщин встретились. Паула с недоумением и любопытством смотрела на стройную женщину в тёмном шерстяном костюме, с седыми, коротко стриженными волосами, казавшуюся в неярком комнатном свете совсем молодой, и даже хотела ещё раз спросить, кто она, это неожиданная гостья, и зачем пришла, но Мария Петровна опередила её:

— Не узнаёшь, Паула?!

Теперь она узнала. Этот грудной, почти мужской голос ей часто слышался, часто всплывали в памяти слова: «Паула, замени на неделю моим детям мать».

Неделя растянулась на долгие годы. И какие годы.

— Мария?! Ты?! Жива?!

Паула опустила на стул, стоявший у изголовья кровати. Глаза её, наполненные слезами, выражали непонятную Марии Петровне тревогу...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Старенькая полуторка то, натужно покашливая, взбиралась на перевал, то, скрипя расхлябанной кабиной и тормозами, катилась вниз, и Мария всякий раз радовалась тому, что позади ещё один трудный участок пути и что скоро они спустятся в долину, а эти бесконечно голые горы станут отдаляться и отдаляться и, наконец, погорбатившись на горизонте, растворятся в солнечной дали. Она смотрела на сыновей, насупившихся, крепко вцепившихся маленькими ручонками в веревку, которой был обвязан тюк, и исподлобья глядевших на серпантинном петлявшую за машиной дорогу, смотрела на мужа, который сидел ссутулившийся, какой-то усталый и ко всему безразличный. Он не отрывал невидящего взгляда от задней стенки кузова и думал о чём-то своём. Мария понимала состояние детей, которые ни разу не спускались с гор и теперь робко ждали встречи с неведомым для них миром, с тем, о чём только слышали от родителей. Она понимала и Андрея, у которого здесь, на Памире, остаются боевые друзья; она грустила его грустью, тревожилась тревогой детей, но не могла унять нетерпеливую радость.

«Скорее вниз! Подальше от этих голых холодных гор!»

Она не хотела, чтобы её радость заметил Андрей. За все годы, которые прожила Мария в этих горах, ни разу не пожаловалась мужу на то, что не может привыкнуть к диким хмурым скалам, к бесцветному небу, к холодному солнцу, к леденящим ветрам, к пулемётам, стоявшим у амбразур. Андрею было известно только одно: его жена никак не может запомнить нерусские названия ущелий и перевалов. Возвращаясь домой после очередного боя с какой-нибудь бандой, он говорил: «На перевале, где «лошадь поседела», поддали жарку мы басмачам». Или: «Ни один бандит из ущелья «вернувшегося эха» не ушёл». И она понимала, где вели бой пограничники, потому что знала удивительные легенды почти о всех перевалах и о десятках ущелий. Многие из этих легенд волновали её. И часто думала она: «Сказка это? Либо быль? Действительность или мечта о верной дружбе, о мужестве, о чести, о любви?»

Особенно запомнились ей две легенды. Первую рассказал Андрей, когда они, молодожёны, добирались до заставы. Ехали верхом. Со взводом пограничников. Ехали несколько дней. На вершине каждого перевала делали длительные остановки. Однажды спешили на перевале Кызыл-арт («красная спина»). После того как протёрли взмыленных коней жгутами из сена, надели им на морды торбы с овсом и лошади, устало опустив головы, принялись аппетитно жевать, Андрей взял Марию за руку и позвал:

« — Пойдём-ка вон за тот камень».

« — А что там?»

« — Пойдём, пойдём».

Метрах в двадцати от дороги, за большим обломком скалы, на холмике из мелких камней стоял шест, к которому шерстяной бечевой была привязана толстая чёрная коса. Ветер покачивал эту косу, и Марии показалось, что шест движется, как живой, а коса колыхнется в такт этому движению.

« — Что это, Андрюша?!»

« — Могила девушки, которая умела любить».

« — Расскажи».

« — Один из старшин племени, которых здесь было много в прошлом, получив богатый калым, отдал в жёны свою дочь такому же старому и богатому главе соседнего племени. В самый разгар свадьбы, когда гости выпили изрядно кумыса и бузы, началось состязание акынов. Естественно, каждый поддерживал своего любимца, подбадривал криками, подхваливал. О невесте совсем забыли. Она же, заметив это, убежала. Любила она одного юношу-джигита, а отец перед самой свадьбой (догадывался, видно, о их любви) с каким-то поручением послал его в Хорог. Девушка к нему и подалась.

Состязание певцов окончилось, хватились — невесты нет. Сперва по юртам искали, потом начали по близким ущельям рыскать. Как в воду канула. А тут и ночь на дворе. Решили до утра подождать. Утром тоже не нашли. Кто-то и сказал тогда, что, дескать, не в Хорог ли невеста направилась? Рассвирепел отец, велел седлать коней.

Оскорблённые отец и жених да десятка два джигитов двух племён понеслись в погоню за девушкой. А она к тому времени долину вон ту, Алай, пересекла и стала взбираться на этот перевал. Сил почти уже нет, а идёт и идёт. Как на грех, ветер подул. Чем выше, тем холодней. На перевале уже метель настоящая бушует, а девушка лишь в бархатном платье. Присела, укрывшись за этим камнем от ветра, дух перевести, да больше и не встала: замёрзла. Тут её и нашли отец с женихом. Отец спрыгнул с коня, камчой хлестнул непокорную дочь, а она не пошевелинулась даже. Увидели все, что девушка мёртвая, зароптали на отца, а тот как крикнет: «Молчать, псы недоношенные!»

Вскочил на коня и поскакал назад, к своим жёнам. Кто за ним поскакал, кто остался. Оскорблённый жених вынул клинок из ножен и начал рыть могилу. Джигиты тоже вынули из ножен клинки.

Когда могила была почти готова, подъехал тот самый джигит, к которому бежала девушка. Увидел он свою любимую, кинулся к ней, дыханием отогревал, целовал, потом распрямился, посмотрел на всех безумным взглядом, сказал со стоном: «Вернулся, как эхо».

Вот в то ущелье, — Андрей показал рукой на видневшееся внизу ущелье, — ускакал. Говорят, и сейчас он там. Ущелье так и называется: Дун-кельдык. По-нашему — «вернувшееся эхо».

Мария, прижавшись к Андрею, слушала, смотрела на колыхавшуюся косу и от волнения не могла сказать ни слова. А когда Андрей закончил рассказ, крепко поцеловала его. Он подхватил её на руки и спросил шепотом:

« — Ты так же любишь?»

« — Ты видишь, я еду с тобой в горы и не боюсь».

Тогда, рядом с большим, сильным мужем, она действительно не боялась, но потом сколько было страха, волнений и тоски. Андрей же об этом не знал и никогда не узнает.

Вторую легенду она услышала от старого пастуха Ормона. Пограничники, поднятые по тревоге, ускакали громить прорвавшуюся из-за границы банду, на заставе остались с Марией только больной боец и повар. У них было несколько винтовок и два пулемёта «максим». Затащили они, как обычно, один пулемёт на наблюдательную вышку, которая стояла в дальнем углу двора, другой установили в бойнице, оборудованной в глинобитном дувале, и по очереди охраняли заставу.

Пообедав, Мария поднялась на вышку, чтобы сменить повара, но тот ушёл не сразу.

«— Смотрите, Мария Петровна, — показал он в сторону видневшегося вдали озера, — табун яков сюда гонит кто-то».

Перепугалась она, увидев яков. Много слышала, что часто басмачи, укрываясь за яками, почти вплотную подбирались к остановившимся на ночлег пограничникам и неожиданно их атакывали. Она хотела даже спросить, не видно ли кого-нибудь за табуном, но сдержалась. Побоялась, что вдруг повар поймёт, что она испугалась, и потом расскажет пограничникам. Узнает и Андрей. Он, конечно, посмеётся, но потом, оставляя её на заставе, будет тревожиться. А в бою, как она считала, только о бое нужно думать, иначе не победишь.

Когда стадо яков приблизилось, они узнали пастуха Ормона и обрадовались.

«— Пойду встречу. Чаем напою», — сказала Мария и спустилась вниз.

Ормон объяснил, что пригнал сюда яков по приказу начальника заставы. Мария открыла ворота, и они загнали яков во двор.

«— Пойдёмте, Ормон-ага, попью чаю», — предложила Мария.

«— Не откажусь, — ответил он. — Мой живот, внученька, совсем пустой, как хурджум нищего. От самого Ак-байтала гоню стадо».

Название этого перевала, который находился не так уж далеко от заставы, километрах в тридцати, она слышала уже много раз и всегда удивлялась странному названию — Ак-байтал («седая кобыла»). Спрашивала Андрея, но он не смог объяснить.

«Разужнаю у старика», — решила она.

Накормив Ормона солдатским обедом и подав ему пиалу крепко заваренного чая, заговорила о перевале.

«— Кто знает, внученька, сколько лет прошло, а люди не забыли, — вдохнув ароматный пар, степенно произнёс старик. — Я узнал об этой печальной истории от деда».

Мария приготовилась слушать длинный рассказ, но он оказался удивительно кратким.

«— Сильный и гордый, как вожак архаров, юноша полюбил луноликую девушку. Она тоже поклялась ему в вечной любви. Джигит украл девушку. Как птица, лошадь джигита несла их по долинам, через перевалы. Но быстро скакали и сородичи луноликой. На перевале джигит вместе с девушкой укрылся за камень, а лошадь пустил по дороге, чтобы увела за собой погоню. Но когда сородичи девушки уже было проскакали мимо, та вдруг окликнула их. Джигита убили. Девушку увезли домой. Когда убийцы уехали, на перевал вернулась лошадь. Она не отошла от мёртвого хозяина, пока не околела сама. Люди видели её. С тоски поседела. Не только шерсть, но и грива и хвост стали белыми как снег».

Старик молча допил чай, Мария снова наполнила пиалу и тогда только спросила:

«— Девушка предала своего любимого?»

«— Да».

«— Но почему?»

«— Женщины честолюбивы и коварны».

Мария хотела упрекнуть Ормона за столь категоричное суждение о женщинах, но решила, что спорить со стариком бесполезно, не переубедишь его, и промолчала. Продолжая угощать

старика чаем, она расспрашивала о здоровье, о семье, говорила с ним о басмачах, а сама ни на минуту не забывала легенду. Пыталась осмыслить, почему девушка поступила так подло. её воображение рисовало картины вечерних свиданий возлюбленных, она словно видела того джигита-богатыря, сильные руки которого робко прижимают к себе девушку. А та, нежно прильнув к его могучей груди, думает о славе и богатстве, которые ждут уважаемого в своём роду юношу. Когда же увидела его беспомощным, укрывшимся за камнем от преследования её сородичей, решила не искушать судьбу.

Не знала Мария, что эту легенду, услышанную от старого Ормона, она будет вспоминать не раз и не два.

Она так и не побывала на том перевале, хотя Андрей предлагал съездить, и никогда не жалела об этом, а теперь даже радовалась, что этот незнакомый перевал всё удалялся и удалялся.

Полуторка спустилась в Алайскую долину и юрко побежала мимо робких тальничков, прижимавшихся редкими табунками к успокоившейся на равнине речушке, мимо изжелта-зелёных полян с отарами овец, издали похожими на разбросанные комья серого весеннего снега.

— Мама, мам! Овечки живые, да?! — показывая пальцем в сторону отары, возбуждённо спросил Женя.

— Да, сынок.

— Почему у нас их не было?

— Высоко. Я же рассказывала: яки на той высоте только живут. И пограничники.

— Дедушка Ормон тоже.

— Да, и он.

Небольшой кишлак из серых глинобитных домиков с плоскими крышами проехали без остановки, а вскоре машина вскарабкалась на перевал по змеиным петлям дороги. Название этого перевала Мария запомнила хорошо. Не русский перевод: «Всё, выбился из сил», а местное название — Талдык. Смерть здесь была рядом с ней и Андреем, а у Вити оставила метку — рваный шрам от пули.

Несколько лет всё один да один командовал заставой лейтенант Барканов, а тут сразу двух помощников прислали — по политической части и по строевой. Обвыклись они в горах, изучили участок, узнали излюбленные маршруты басмаческих банд, и тогда командование отряда разрешило начальнику заставы спуститься с гор в отпуск. Из проволоки от прессованных сенных тюков и из одеял смастерили пограничники для Вити (третий годик ему пошел) на вьючном седле теплое мягкое гнездышко: хочешь — сиди, хочешь — ложись и спи; прикрепили к этому седлу два карабина и подсумки с патронами, помогли уложить вещи в перемётки и проводили отделением до Алайской долины. Хотели дальше ехать, но лейтенант Барканов приказал возвращаться.

«— Дотемна долину проскочим, а на Талдыке — дорожники».

Но недаром в горах говорят: глазам видно, а ногам обидно. Да и сын сморился, обессилен совсем от тряски и жары. Когда рысью пускали коней, он трепыхался в своем гнёздышке, как неживой. Андрей его на руки брал, но и это мало помогало. Пришлось больше ехать шагом.

До посёлка дорожников осталось ещё километров восемь, а солнце, только что старательно купавшее в своих горячих лучах путников, вмиг посуровело, словно накинуло студеное покрывало, и торопливо скатилось за снежную гору; снег поискрился яркой голубизной и померк — густая тихая темень проглотила небо, дальние и ближние хребты, разлилась по долине, а drobный стук копыт стал глуше и таинственней. Мария, ехавшая чуть позади, поторопила коня, догнала Андрея и, подчиняясь неожиданно охватившей её тревоге, сказала негромко:

«— Витю возьми. Поспешим давай».

«— Луна взойдет — тогда поднажмём», — ответил Андрей.

«— Береженого, Андрюша, бог бережёт».

«— Ладно, — согласился Андрей, взял на руки сонного сына и сказал жене: — Витькиного коня в поводу поведи, чтобы не отстал».

Подождав, пока Мария перекинула через голову лошади повод и привязала его к руке, прищпорил своего коня. Конь рванулся в галоп, но, подчиняясь поводу, размашисто зарысил по едва различимой в темноте дороге.

Осадил коня Андрей минут через пятнадцать. Дождался Марию, немного отставшую от него, и спросил:

«— Не устала?»

«— Нет. Ты зря остановился».

«— Коней беречь нужно. Километра через два подъем начнется. Теперь мы... — сказал и осёкся. — Не шевели коня!»

Привстал на стремянах, подался вперёд и замер. Мария тоже напряглась, но ничего не могла услышать, только видела, что кони запрядали ушами и, повернув головы вправо, насторожились.

«— Точно, — ответил сам себе Андрей, словно рубанул шашкой. — Скачут».

Передал сына Марии, спрыгнул с коня, отвязал от вьючного седла карабины и ремни с подсумками, перекинул карабин за спину и, подав второй карабин Марии, снова прыгнул в седло. Взял у неё ребенка и поторопил:

«— Снаряжайся быстрее».

Пока она торопливо затягивала ремень, Андрей говорил тихо и спокойно:

«— Нам до подъёма проскочить бы раньше их, тогда уйдём. Ты не отставай. Если мешать будет, бросай Витькиного коня. Поняла?»

«— Да. Поскакали».

Постаралась сказать спокойно, чтобы не подумал Андрей, что она боится.

Лошади, хотя и уставшие, почувствовали тревогу хозяев и понеслись во весь опор без понуканий. Высоко в темноте засветилось жёлтое пятнышко окна, оно словно повисло в чёрном воздухе, сквозь который перевал не был виден. Вот рядом с первым пятном вспыхнуло второе, потом третье. Но до этих светящихся ламповым светом окон оставалось ещё несколько километров крутой, карабкающейся вверх дороги. Там, в посёлке, их спасение.

Справа всё отчётливей доносился гулкий топот, словно скакал по долине большой дикий табун лошадей.

Из-за ближней горы выкатилась луна — и сразу же мёртвый свет заколыхался над равниной, над перевалом, притушив тусклые оконные огоньки посёлка дорожников. Теперь Андрей и Мария увидели скакавшую им наперерез большую тёмную группу всадников. До подъёма на перевал оставалось около двухсот метров, до банды — полкилометра.

«Успеем!» — обрадовался Андрей и оглянулся назад. Мария отставала совсем на немного. Второй конь скакал на полголовы впереди неё.

«Успеем!»

Басмачи начали стрелять. Это обрадовало и удивило Андрея. Он даже проговорил вслух:

«— Дурачьё!»

Басмачи не могли не знать, что на перевале — дорожники, а у них — оружие. Услышав стрельбу, те поспешат вниз, и тогда басмачам самим придётся отбиваться. Видно, отчаянная злоба затуманила им головы.

Начался подъём. Дорога запетляла. Лошади, добрые пограничные лошади, привыкшие к многокилометровым переходам, начали все же сдавать. Разноголосое гиканье басмачей ближе и ближе. Пули свистят уже совсем рядом.

Андрей пришпорил коня, прижимая к груди притихшего, перепуганного сына. Но Мария отставала всё больше и больше.

«— Придётся принять бой».

За очередным поворотом остановился, а когда подскакала Мария, сказал, сдерживая прерывистое дыхание:

«— Батуюем коней. Без боя не уйти».

Он быстро уложил Витю в гнёздышко, попросив его: «Лежи смирно. Не бойся, мы с мамой вон за тем камнем будем», начал вместе с Марией батовать лошадей. Крепко привязав повод к седлу, достав из перемётной сумки гранаты, позвал Марию, уже заканчивавшую вязать повод.

«— Полезли скорей».

Метрах в двадцати выше дороги Андрей приметил удобную для укрытия скалу и теперь ловко и быстро карабкался вверх. Мария не отставала.

Площадка, куда они вскоре поднялись, оказалась действительно очень удобной. Валун — хорошее укрытие от пуль. Обзор что надо: видна и дорога, и скалы, по которым басмачи (Андрей прекрасно знал их тактику) обязательно начнут их окружать.

Из-за поворота выскочило сразу несколько басмачей. Мария начала целиться, но Андрей остановил её: «Я гранатами их».

Теперь басмачи скакали молча. Карабины держали наготове. Бандиты могли стрелять на скаку, мгновенно и точно, поэтому он выжидал удобный момент, чтобы бросить первую гранату неожиданно, не слишком рано, но и не опоздать: прорвись три-четыре басмача к сбатованным лошадям — положение станет безвыходным.

«— Кидай, Андрюша! — прошептала Мария, но Андрей даже не пошевелился. — Кидай!»

Первую гранату он бросил на дорогу перед всадниками метрах в трёх. Басмачи, увидев гранату, натянули поводья, разрывая удилами лошадиные губы; разгорячённые кони взвизгивали на дыбы; граната рванула, калеча коням ноги, пропарывая животы; а в наседавших сзади всадников полетела следующая, и сразу же ударили о камни басмаческие пули. Стон, ржание и крики не заглушали ни тупого клецания пуль, ни визга рикошета.

«— Огонь!» — крикнул Андрей, и, опешившая было от взрывов, криков, визга пуль, Мария начала спокойно стрелять по всадникам и даже увидела, как один из басмачей после её выстрела склонился и сполз с седла, а испуганная лошадь шарахнулась и покатила в обрыв.

Заплакал Витя. Он встал на ножки и, ухватившись ручонками за край своего короба, кричал:

«— Мама! Мама!»

Мария рванулась было вниз, но Андрей, придавив её, прохрипел зло: «Куда?! Убьют!» — потом крикнул сыну: «Не бойся. Мы здесь!»

Басмачи в это время скакали к повороту, стреляя и гикая. А те, которые потеряли лошадей, укрылись за камнями и непрерывно палили. Андрей швырнул гранату. Но слишком поздно: два басмача проскочили к повороту.

«— Гранаты, Маня! Гранаты!» — крикнул Андрей и, вскинув карабин, выстрелил в первого басмача. Тот грузно осел, а конь, сделав несколько скачков, остановился у сбатованных лошадей, прижался к ним. Виктор ещё громче и испуганней закричал: «Ма-ма-а!» Второй басмач выстрелил в ребёнка, и крик его, тонкий, пронзительный, оборвался на последнем слоге.

«— Гранаты!» — заорал Андрей, и Мария снова обрела спокойствие. Она бросила одну, за ней другую гранату. Взрывы остановили атаку басмачей. Андрей же в это время подбил лошадь под стрелявшим в Виктора басмачом, а потом и его самого, пытавшегося высвободить ногу из стремени.

Басмачи спешили за нижним поворотом и, укрываясь за камнями, начали наступать справа и слева от дороги. Стреляли редко, но все пули ударялись в валун, разбрызгивая гранитные осколки.

«— Не высовывайся, Маня. Убьют сразу».

Сам Андрей тоже стрелял редко. Бил только наверняка. Басмачи приближались.

«— Долго нет дорожников, — спокойно, чуть-чуть удивлённо проговорил Андрей, достал пистолет и, положив его у камня, сказал: — Если ранен буду, застрели. Потом себя. Живой не давайся, истерзают».

«— Вити нет у нас! Ребёнка убили!»

«— Молчи. Поближе подползут — стреляй в них. И гранатами».

Больше они не разговаривали. Андрей бил всё так же расчетливо, всё так же клецали вражеские пули вокруг них, обсыпая колючей каменной крошкой. Мария лежала за валуном, ждала, когда Андрей разрешит ей стрелять.

«— Гранатой давай. Чуть выше дороги», — скомандовал Андрей, и Мария, чуть-чуть привстав, бросила гранату. Андрей швырнул вторую, затем крикнул:

«— Огонь!»

Осталось только три гранаты, и они берегли их на самый критический момент боя, а по басмачам, перебегавшим от камня к камню, били из карабинов.

То один, то другой басмач боднёт головой камень и останется лежать, но их было слишком много, и они перебежали, переползали и стреляли, стреляли. За этой стрельбой ни Мария, ни Андрей не слышали скачущих на помощь дорожников, а когда увидели первых всадников, Мария тяжело ткнулась лицом в ладони, а Андрей бросил одну за другой две гранаты, чтобы басмачи не встретили дорожников губительным огнём.

Шёл ещё бой, басмачи ещё отстреливались, а Мария, обдирая руки об острые камни, торопилась вниз. Подбежала к лошади, взяла сына и засмеялась и зарыдала от радости: Витя застонал, Витя был живой!

Кто-то из дорожных рабочих расстелил на камнях халат, Мария положила на него Витю, быстро достав бинты из перемётной сумки, опустилась на колени, разорвала обёртку бинта и только было собралась приложить бинт к ране, как её отстранил пожилой мужчина в полосатом ватном халате и тюбетейке, из-под которой выбивался льняной чуб:

«— Позвольте. Я — врач».

Он приложил к ране смоченный йодом тампон и, ловко подхватив ребенка под спину, приподнял его и попросил Марию:

«— Вот так поддержите, пожалуйста».

Мария подставила обе руки, Витя застонал, а потом, едва шевеля запёкшимися губами, начал шептать: «Мама... Мама...»

Мария едва сдерживала рыдание.

Вскоре бой утих, и Андрей, возбуждённый и радостный от того, что жив сын, что живы они с Марией, а от банды остался всего лишь десяток сумевших ускакать басмачей, присел на корточки рядом с Виктором и сказал немного торжественно:

«— Первое революционное крещение».

«— Андрюша, поехали домой».

«— Наоборот, вниз нужно. В комендатурский медпункт».

«— Домой, Андрюша. Я его выхожу сама».

«— Да, да, — вмешался в разговор доктор дорожной бригады, — вниз очень рискованно. Подумайте только: четыре тысячи метров — огромный перепад. Адаптация и без того очень сложна для ребёнка, а тут ещё потеряно много крови. Я бы не рискнул. И примите совет: прикладывайте к ране мумиё. Можно, пожалуй, и попить. Три раза в день. Растворять не больше рисового зернышка. На несколько дней я вам дам, а там у пастухов разжиться сможете».

«— Есть у нас мумиё. Дедушка Ормон принёс».

«— Вот и прекрасно. Поезжайте на заставу. Мы проводим вас».

Десять дорожников и врач проводили их до заставы. С тех пор Мария и слушать не хотела о поездке в отпуск, хотя уже провели через Памир дорогу, а про басмачей начали даже забывать. И вот только сейчас они простились со своей горной заставой насовсем. Андрея перевели в Прибалтику, ставшую советской.

Теперь машина с трудом ползла вверх, и Мария ждала, когда появится тот поворот, за которым басмач ранил Витю, та скала и тот валун, из-за которого они с Андреем бросали гранаты и стреляли по бандитам; но она так и не узнала места боя. Показал его Андрей. Сидел задумавшийся, безразличный ко всему, а тут вдруг встрепенулся:

— Смотрите, вот здесь Виктора в плечо ранило. Оттуда сверху мы с мамой отстреливались от басмачей.

— А валун где, Андрюша? Дорога тоже словно иная какая-то? — спросила Мария.

— Сколько лет прошло. Взрывали здесь всё, расширяли. Сейчас две машины свободно разъедутся. А тогда? Тропа широкая была — и всё.

— Витька тоже пулял, да? — с восторгом спросил Женя, поворачивая голову то на высившиеся справа скалы, то на отца. — Останови, папа! Останови!

Андрей улыбнулся и сказал спокойно:

— Где ж на крутизне такой остановиться. Вот на перевал поднимемся, там постоим. — Посерьёзнел сразу: — У памятника...

Утомительно медленно ползла на Талдык полуторка. Марии казалось, что мотор, напрягшийся до тоскливого звона, вот-вот надорвётся и тогда останется одно — лететь в зияющую слева пропасть. Все холодело внутри у Марии от этой мысли, она старалась смотреть на громоздившиеся справа голые скалы, но нет-нет да и взглянет вниз — и замрёт, оцепенеет. Но поворот за поворотом оставались позади, а мотор продолжал петь свою натужную песню на самой высокой ноте. Вершина перевала приближалась. Вот наконец выехали на небольшую площадку, на краю которой над братской могилой стоял обелиск. Остановились. Шофёр трижды длинно просигналил. Так было заведено: прохожий снимал шапку, всадник слезал с коня, машины сигналили. Памирцы чтили тех, кто пробивал дорогу в новую жизнь.

Для местных богачей дорога была как кость поперёк горла. Они поклялись не пускать её дальше перевала Талдык; они грозили своим сородичам, которые, вопреки воле старейшин, толпами шли на стройку; главари банд объединились, забыв на время междоусобные распри, чтобы неожиданным налётом уничтожить посёлок строителей, поубивать всех: приезжих инженеров и мастеров и своих непослушных сородичей. Но замыслу басмачей не суждено было сбыться — пастухи сообщили начальнику заставы о готовящемся налёте, и Андрей ночью привёл почти всю заставу на перевал. Успели подняться сюда два взвода маневренной группы, пришли добровольцы-пастухи с берданками и ружьями. Сил собралось достаточно, чтобы встретить объединённые басмаческие банды.

До рассвета затянулся тот ночной бой. Басмачей разбили. Погибших инженера, врача, дорожных мастеров, пастухов и пограничников похоронили в братской могиле, динамитом взорвав гранит. С тоской в сердце прощался тогда Андрей с теми, кто всего несколько месяцев назад спас Марию, сына и его самого от смерти; поклонился им низко и сказал:

«— Память о вас будет вечной! Даю слово, пощады басмачам не будет! Не дам себе покоя, пока хоть один из них будет жив!»

Сейчас, стоя у обелиска с опущенной головой, Андрей повторял вновь слова той клятвы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

И вот наконец начался последний и самый крутой спуск. У Марии снова, как и на подъёме, сжималось сердце и холодело в груди, когда она смотрела вниз, на тонкую змейку реки, на мост, похожий отсюда на спичечную коробку; но чем меньше оставалось до моста, тем неудержимей радовалась она: «Всё! Позади Памир! Позади!»

Примерно через час они сделают небольшую остановку в комендатуре, а потом — Ферганская долина, Ташкент, Москва, Рига. С волнением она мысленно произносила эти названия.

— Мама, у меня уши чем-то заткнулись, — захныкал Женя.

— А ты рот раскрой. И воздух жуй. Вот так, — показал сыну Андрей, и Женя, а вслед за ним и Витя смешно задвигали челюстями, словно набили рты чем-то вкусным и теперь старались разжевать, но никак не могли это сделать. Мария, глядя на них, улыбалась, тоже время от времени глотала воздух, широко открывая рот, чтобы избавиться от неприятного давления в ушах, а сама не переставала думать о том, что скоро-скоро всё это останется только в воспоминаниях.

Машина въехала на мост, перекинутый через шумную пенистую речку.

— Ух ты! — зажмурился Витя. А Женя прижался к матери. Но через минуту оба, увидев впервые настоящее деревце на берегу реки, закричали в восторге:

— Папа! Мама! Смотрите, как на картинке!

И тут же Женя своим грудным, как у матери, голосом пробасил:

— Почему листочки спокойно не сидят на веточках?

Этот вопрос рассмешил Марию с Андреем, и они долго не могли успокоиться. Женя даже обиделся. Тогда они начали объяснять, почему трепыхаются листики, почему речка так шумит и пенится, как мыльная, почему на берегу гладкие-прегладкие камни, и не заметили, как въехали в кишлак, в районный центр, на окраине которого стояла комендатура.

— Ух, домов сколько! — визгливо крикнул Виктор. — Жень, смотри! Смотри сколько!

— Они друг к другу прилипли, — пробасил Женя.

— Не шумите, дети, неудобно, — попросила их Мария, но они не унимались. Восторгались всем, что видели первый раз в жизни: сквером, стройными пирамидальными тополями, похожими на огромные головки сахара в зелёной обертке, виноградником, опутавшим зеленью невысокие глинобитные домики, зелёными комендатурскими воротами, которые быстро распахнулись, когда к ним подъехала и посигналила полуторка. Затихли лишь во дворе комендатуры, где всё им было привычно: спортивный городок, курилка, строй куда-то идущих красноармейцев, приземистые конюшни с подслеповатыми окошками, побелённые уголки кирпича, словно зубья толстой пилы, протянувшиеся вдоль дорожек, — все, как на заставе, только побольше. Возбуждение сменилось усталостью. В столовой дети почти ничего не стали есть, а Женя прижался к матери и пожаловался:

— Мама, глазки сами закрываются.

— Давай, Мария, уложим их, пусть поспят часок, а мы с квартирой твоей простимся.

— С нашей, Андрюша.

— К памятнику тоже ходим. А там — и в путь.

Квартиру, о которой они сейчас вспоминали, Марии дали в доме комсостава комендатуры, когда она приехала на комсомольскую работу в этот утонувший в зелени предгорный кишлак, отрезанный от всего мира бурной речкой, через которую с трудом проезжали лишь арбы и опытные всадники. Одноэтажный длинный дом, сделанный из кирпича-сырца, стоял недалеко от штаба комендатуры. Стены его были старательно выбелены, а ставни, двери квартир, столбы, поддерживавшие козырьки над крылечками, выкрашены в зелёный — пограничный цвет. Как только Мария вселилась в крайнюю квартиру, к дому сразу же начали пристраивать следующую. Вскоре были пристроены ещё три квартиры. И тогда кто-то назвал дом лежачим небоскребом. За домом начинались манежи, а дальше — стрельбище. Мария тогда вместе с жёнами командиров училась ездить на коне, прыгать через «канаву», «шлагбаум», «изгородь», рубить лозу, вольтижировать, стрелять из карабина, револьвера и даже из «максима». Потом начала приводить на эти занятия девушек из кишлака, а под дверью её квартиры стали появляться записки с угрозой, что рука аллаха покарает неверную.

Можно ли забыть те чувства, которые Мария испытывала тогда: удовлетворённость тем, что потянулись к ней кишлачные девчата, а за ними и парни, жуткая радость от того, что её влияние на бедняцкую молодежь выводит из себя врагов Советской власти и националистов, — всё это вспоминалось ей сейчас, пока они с Андреем шли к лежачему небоскрёбу. Когда же подошли к крыльцу её бывшей квартиры, нахлынули воспоминания о том первом вечере, той ночи, которая стала началом их новой жизни.

«— Мария, будь моей женой. Сегодня. Сейчас», — говорил Андрей.

«— Вы сошли с ума. Мы только познакомились. Мы совсем не знаем друг друга».

«— И можем не узнать. Потом будем жалеть всю жизнь. Через три дня я уезжаю на заставу. Решай».

«— А как без регистрации?»

«— У нас три дня. Успеем всё. На свадьбу созовем друзей».

И она решила...

Сейчас, стоя у крыльца, Мария вспомнила весь тот разговор так подробно, будто происходил он не много лет назад, а только-только; Марии даже казалось, что она слышит его голос, необычно тонкий, видит его спокойные добрые глаза, чувствует его руки, крепко стиснувшие её — Мария даже сейчас задержала дыхание, затем улыбнулась спокойно и радостно и поцеловала Андрея.

— Не жалеешь? — спросил, улыбаясь, Андрей. — А? Может, о другой жизни мечтала?

— Глупый ты, глупый...

Они так и не зашли в квартиру. Постояли, прильнув друг к другу, не думая о том, что кто-то может их увидеть и осудить за такую вольность, поцеловались и направились к центру кишлака, где рядом с райкомами партии и комсомола, в сквере, в кольце пирамидальных тополей, стоял памятник пограничникам: солдат в кавалерийской бекеше и будёновке. В одной руке он держал бинокль, в другой — поводок напружинившейся, готовой к броску собаки. Памятник построили комсомольцы района. Они собрали деньги, нашли и привезли скульптора, разбили сквер. Делали всё это под пристальными взглядами стариков в огромных

белых чалмах, с утра до вечера сидевших рядком под тенью такого же ветхого, как и они, карагача.

Старики эти как будто никогда отсюда не уходили. Только не было среди них тех, двоих, особенно ненавистных. Они, когда Мария спешила на работу рано утром или поздно вечером возвращалась домой, смотрели на неё насмешливо и похотливо, словно ощупывали высокую грудь и стройные ноги. её пугали эти взгляды, она боялась надменных стариков, ей всегда хотелось съёжиться или убежать от них, но она смотрела на них с гордым вызовом, не обходила их, хотя могла это сделать. Сколько раз пыталась доказать она секретарю райкома партии, что именно те двое аксакалов, в особенно пышных чалмах, главные организаторы борьбы с новым, за сохранение покорности законам шариата.

«— Это, Мария, — эмоции. А они для привлечения к уголовной ответственности, сама понимаешь, не документ. Факты нужны. Факты, — и неизменно спрашивал: — Ну, арестуем их, а дальше что? Нарушим соцзаконность, и только. Всю цепочку проследить нужно. Всю и вытянуть».

«— Давайте я парней подключу, — предложила однажды Мария, — возьмём под комсомольское наблюдение...»

«— Дело, — согласился секретарь райкома партии. — Давно бы так. Только вот что: верные должны быть ребята. Верные. И с пограничниками связь наладьте».

Мария надеялась на всех. И они не подвели. Это они первыми кинулись на помощь молодой женщине Гульсаре Тохтаевой, которую хотел убить муж за то, что та, сняв паранджу, пришла на собрание комсомольской ячейки. Спасли тогда юную Гульсару, хотя озверевший муж успел несколько раз ударить её ножом. В тот день молодёжь кишлака, возмущённая зверством приверженца корана, собралась на митинг.

С первого дня, как приехала в Среднюю Азию, Мария не могла без сострадания смотреть на женщин, одетых либо в бархатные, шитые золотом, либо из домотканого шёлка заношенные до дыр паранджи. Лица женщин были закрыты плетёнными из конских волос сетками, хотя летом нещадное солнце так накаливало воздух, что Мария готова была иной раз сбросить лёгкое ситцевое платье и никак не могла представить себя в парандже в такую жару. Довольно часто она вспоминала напутственные слова секретаря фабричной партячейки: «Женщины и девушки советского Востока ждут вашей помощи! Я верю: огонь ваших комсомольских сердец озарит светом свободы и разума тех, кто ещё не может пробиться сквозь мрак религии и вековых предрассудков». Мария делала всё, чтобы выполнить тот наказ. Она смогла убедить почти всех девушек кишлака не надевать паранджи. А вот осмелилась сделать это замужняя женщина. Первая. И едва не поплатилась жизнью. С болью и гневом Мария обратилась к собравшимся на митинге:

«— До каких пор мы будем подчиняться диким предрассудкам прошлого?! До каких пор они, — Мария показала рукой на надменных стариков, всё так же молчаливо сидевших под карагачом, и все повернули в их сторону головы, — будут навязывать нам законы вчерашнего дня, законы мракобесия?! Они — вдохновители этой жестокости!»

Эти слова, впервые, быть может, высказанные так смело и так громко, будто подхлестнули комсомольцев и дехкан кишлака. Они развели костёр, и многие женщины подходили и бросали в него свои паранджи, потом, пугливо озираясь, ёжились, но побеждали себя, и только одна молодая женщина, с которой сорвал паранджу собственный муж и швырнул в костёр, закрыла лицо подолом и с визгом убежала домой. Женщинам трудно ещё было перешагнуть

через вековые обычаи. И всё-таки первый шаг был сделан. Наперекор угрозам и жестокостям служителей корана.

На следующий вечер она увидела под дверью сразу две записки. Ещё через два дня в неё стреляли.

Вспоминая всё это, Мария внутренне напряглась и невольно сжала руку Андрея. Он удивлённо посмотрел на нее и спросил:

— Что с тобой?

— Я их всегда боялась.

— Но ты же знаешь, взяли мы тех двоих. Твои же комсомольцы помогли клубочек размотать.

— Верно. Боролась с ними, а сама трусила. Трусиха я, Андрюша.

Это признание для Андрея было совершенно неожиданным. Он никогда даже не думал, что она может кого-то бояться. Впервые увидев её на открытии памятника и услышав её смелую речь (Андрей насмотрелся на то, как басмачи расправляются со своими врагами), он подумал: «Боец. Настоящий боец», а когда узнал, что она приехала в этот кишлак добровольно, по путёвке комсомола, решил: «Отчаянной смелости девушка».

— И гор я, Андрюша, боялась...

— Полно на себя напраслину...

— Правда. Дело ведь прошлое.

— Какое счастье, что я встретил тебя.

— Я сама подошла к тебе, Андрюша. Забыл?

В тот день пограничники на открытие памятника шли повзводно. Каждый взвод пел свою песню, и, задорное разноголосье, перемешанное с густой пылью, звенело над кишлаком. Немного приотстав, шли командиры из штаба комендатуры, и среди них он — Андрей. Почти на голову выше всех. Раньше Мария его не встречала.

Он встал в первом ряду, почти напротив Марии, стоявшей у трибуны, одёрнул гимнастёрку, поправил клинок — и замер. Выгоревшая фуражка с посеревшим козырьком надета была немного набок и очень гармонировала с почти черным от загара лицом, облезлым носом и густыми, побелевшими от солнца бровями. Гимнастёрка обтянула широкую грудь и, казалось, если бы не ремни, жёлтыми полосками врезавшиеся в плечи и грудь, давно бы лопнула по швам. Мария с любопытством смотрела на этого незнакомого ей молодого командира и, сама ещё не понимая отчего, всё больше и больше робела. Она то и дело поправляла волосы, раза два даже одернула рукавчики голубого крепдешинового платья, надетого по случаю такого большого праздника, хотя и понимала, что делать этого не нужно: волосы хорошо забраны двумя гребёнками и рукава были в порядке. И только когда поднялась на трибуну, привычное спокойствие вернулось к ней. Она заговорила о погибших в схватках с басмачами пограничниках, дехканах и чабанах, чья героическая смерть должна быть отмщена, и тут увидела, что молодой незнакомый командир смотрит на неё удивлённо и восторженно. Мария даже запнулась на полуслове, но справилась с собой, и вряд ли кто-либо, кроме него, заметил это её волнение.

Окончив выступление, она подошла к нему и встала рядом. Голова её оказалась чуть выше его плеча.

«— Андрей», — ласково посмотрев на неё, назвал он свое имя.

Голос его был удивительно тонким для его солидного роста и атлетической фигуры. Она даже улыбнулась, глянула на него весело и ответила:

«— Мария».

До конца митинга они стояли рядом и молчали, а после того как прогремел салют и все начали расходиться, Андрей предложил:

«— Пойдёмте погуляем».

«— Куда?»

«— Не всё ли равно».

Они вышли на берег бурливой реки. Бросали в неё камушки и рассказывали друг другу о себе. Он о боях с басмачами, она о том, как недавно из соседнего кишлака приехала дочь муллы и просила принять её в комсомол. Потом он пошёл проводить её до дома...

Вспоминая всё это, Мария и Андрей миновали рядок белобородых старцев, подошли к памятнику и остановились перед ним.

— Сколько тревог! Сколько горячих споров! И даже — крови? И вот он — памятник. На многие годы, — задумчиво, словно для себя, сказала Мария.

Через полчаса полуторка юрко бежала по ущелью под уклон. До города осталось всего пятьдесят километров и один перевал, через который, судя по названию (Чигирчик), может свободно перелететь даже скворец. Легко поднялась на него и машина, затем, тарахтя кузовом, покатила вниз.

Дорога здесь была ухожена лучше, чем в горах. По обочинам, словно нескончаемые шеренги солдат, стояли тутовые деревья, а базарные площади чистеньких кишлаков, хорошо видных с дороги, бугрились жёлтыми, зелёными и полосатыми холмиками дынь и арбузов, хозяева которых дремали в ожидании покупателей под тенью распряженных арб. Каждый раз, когда дети видели дынные и арбузные холмы, они восторженно кричали:

— Ой-ой-ой сколько!

Андрей и Мария словно не замечали их криков. Он думал свою грустную прощальную думу, она радовалась, стараясь скрыть свою радость. Лишь время от времени Мария одёргивала детей:

— Да тише вы. Угломонитесь.

Когда они подъехали к железнодорожному вокзалу — длинному двухэтажному зданию из серого кирпича и Витя закричал: «Смотри, Женька, вот это дом!», а Женья, с любопытством рассматривавший притиснутые друг к другу привокзальные ларьки, добавил: «Ого, сельпов сколько!» — Мария не сдержалась:

— Ну что горланите?! Люди скажут: откуда такие дикари. Постыдитесь!

— Не обижай детей, Маня, — спокойно сказал Андрей. — А главное, не учи стыдиться того, чем нужно гордиться. Иной за всю жизнь столько не переживёт, сколько Витёк с Женькой за детство своё. А что на витрину с удивлением смотрят, разве это беда? — Помолчал немного и сказал решительно: — Вот что... На базар свожу я вас. Такой базар, как здесь, в Азии, где ещё дети увидят? — Улыбнулся Марии и спросил: — Ты тоже, наверное, не была?

— Нет.

Ещё тогда, когда Мария ехала сюда и добралась до города со странным названием Ош (в русском переводе равнозначно нашему звуку «тпру», который произносит возница, чтобы остановить лошадь), ей предлагали отдохнуть несколько дней, побывать на базаре, но она отказалась. Спешила добраться до места и начать работать. Теперь же предложение Андрея приняла охотно, но предупредила детей:

— Если будете шуметь — сразу же вернёмся. — Нет, мамочка, не будем, — согласился Витя. Дети и в самом деле изо всех сил старались выполнить обещание, но чем ближе подходили они к базару, тем больше и больше интересного попадалось им на глаза. Удивлённо смотрели они на неторопливо шагавших, похожих в полосатых халатах на зебр мужчин, на головах которых чудом держались огромные плетёные корзины, тарелки с виноградом, лепёшками, грушами. Ребята жалели маленьких осликов, торопливо семенивших под тяжестью большущих тюков и мешков. С интересом разглядывали арбы с огромными скрипучими колёсами и возниц, которые сидели не на арбах, а на лошадях, почему-то оседланных, и беспрерывно помахивали коротенькими плётками. Удары плёток чаще приходились не по бокам лошади, а по оглобле, и это смешило ребят, но они сдерживались, лишь тихо перешёптывались. А когда встретилось им какое-то непонятное существо с волосяной сеткой вместо лица, Витя наконец не выдержал и спросил громко:

— Пап, вот это самая паранджа? Да?

— Витя, мы же договорились. Потихше можно? — недовольно проговорила Мария, а Андрей ответил:

— Да, Витёк. Под ней женщина прячет - лицо. Но мама права: если что непонятно, тихонько спрашивайте. Ладно?

Ребята согласно закивали, но тут же Женя, увидевший на оглобле одной из арб связку висевших кур и петухов, толкнул брата в бок и, показав пальцем в сторону арбы, воскликнул:

— Витя! Куры вниз головами!

— Нет, просто невозможно с вами, дети! — возмутилась Мария, но Андрей вновь — уже в который раз — успокоил её:

— Ну что, Мария, поделаешь? Дети же. То ли ещё будет, как на базар зайдем.

Однако когда они, пройдя по узенькому мостику через мутный широкий арык, вошли вместе с толпой в ворота — дети растерялись, опешили от этого многоголосого шума, от скопления людей, стиснутых со всех сторон глиняным дувалом. Детям, да и Марии, казалось, что сейчас эта говорливая толпа затянет и сомнёт их, и, если бы не Андрей, они прижались бы к дувалу сразу же у ворот и не осмелились сделать и шага. Но Андрей спросил:

— Начнем с инжира? — и, не получив ответа, сказал: — Давай-ка руку, Жень. А ты, Витя, держись за маму.

Долго они пробивались сквозь снующую взад и вперед пёструю толпу. На каждом шагу им попадались торговцы водой с огромными глиняными кувшинами и старенькими, во многих местах склёпанными медными скобами пиалами, в которые продавцы наливали воду до краёв все равно за пятак или за гривенник, но вот толпа внезапно поредела, и они оказались будто в другом царстве: разговоры неторопливые, движения, полные достоинства, во всём спокойствие и учтивость. Мария остановилась в нерешительности. Ей вдруг показалось, что

тот рядок стариков аксакалов, молчаливо сидевших под карагачом, оказался здесь и уместился на цветных вытертых ковриках у высоких узких корзин и у эмалированных вёдер с аккуратно уложенным в них инжиром, очень похожим на пухленькие румяные беляши; и только один из продавцов инжира был чернобород, и он-то особенно поразил Марию сходством с главарём банды, которого однажды приконвоировал Андрей с пограничниками на заставу: та же цветная чалма, те же тщательно выбритые усы и половина подбородка, отчего борода походила на чёрный кокошник, надетый на лицо снизу, тот же орлиный нос и презрительный взгляд... Мария даже испугалась и попросила Андрея:

— Уйдём отсюда.

Он посмотрел на неё удивлённо, спросил: «Что с тобой?», оглядел продавцов инжира и, поняв её, ответил вполголоса:

— Нельзя, Маня, путать добро и зло. Ты посмотри только, как они торгуют. Священнодействуют.

И в самом деле, те, к кому подходили покупатели, бережно брали виноградные листья, которыми были переложены слои инжира, и так же бережно и аккуратно укладывали на них ягоды и, приложив правую руку к сердцу, левой подавали покупку, а покупатель принимал инжир двумя руками, как хрупкую драгоценность, благодарил хозяина и, отойдя чуть-чуть в сторонку, присаживался на корточки и неторопливо, с благоговением отправлял в рот одну инжирину за другой. Окончив трапезу, сначала старательно вытирал руки виноградным листом, затем ладонью обтирал губы, потом, благословляя аллаха, проводил руками по щекам и бороде и только после этого поднимался и смешивался с бурливой толпой.

Появление пограничника с семьёй в инжирном ряду на какое-то время внесло замешательство в привычный ритм торговли: старики приветливо закивали, а чернобородый показал рукой на старика с окладистой белой бородой и, коверкая русские слова, сообщил, что у того старика самый лучший инжир. Андрей, знавший и узбекский и киргизский языки, поблагодарил чернобородого, а старики, услышавшие, что русский говорит на их родном языке, ещё приветливей закивали и наперебой стали хвалить красоту его жены и сыновей. Мария, тоже немного понимавшая язык, покраснела от удовольствия.

— Вот видишь, с каким уважением относятся, — негромко сказал Марии Андрей и, подойдя к аксакалу с лучшим инжиром, попросил четыре десятка.

Детям инжир очень понравился. Они жевали старательно и долго, улыбались от удовольствия, а когда у Жени виноградный лист опустел, он попросил:

— Пап, ещё.

— И мне, — поддержал брата Виктор.

— Нет, дети. Мне не жалко, но другого тогда не попробуем. Давайте всего понемножку, ещё и на дорогу купим. Корзину целую. Договорились?

Вите и Жене такой уговор не особенно понравился. Они думали, что ничего вкусней этих небольших сладких ягод нет, но что поделаешь, когда просит отец? «Договорились», — ответили они, а сами не отрывали глаз от корзин и вёдер с инжиром.

— Ну, мальцы! Не вешать носа. То ли ещё попробуете! — весело сказал Андрей и, взяв обоих сыновей за руки, повел через толпу в дальний угол базара, где продавали кувшины, плетёные

корзины, самодельные бумажные мешочки для фруктов и ремонтировали битую фарфоровую и фаянсовую посуду.

Кувшины, корзины и мешочки не привлекли внимания детей, а вот ремонт посуды их удивил; Мария тоже не видела ничего подобного. Пока Андрей выбирал корзину попрочней и побольше, они неотрывно наблюдали за тем, как из нескольких осколков возрождается чайник. Мастер сидел с поджатыми ногами на толстой войлочной подстилке, на коленях у него лежала небольшая, обитая войлоком дощечка, в руках был маленький лук, в тетиве которого петлёй удерживался похожий на стрелу стержень со сверлом на конце. Примостив на доске осколок чайника, мастер устанавливал чуть подале от края стержень со сверлом и, прижимая его одной рукой, другой быстро начинал вращать его с помощью лука. Несколько секунд — и готово узенькое отверстие. Просверлив таким образом несколько отверстий в обломках, мастер плотно прикладывал их друг к другу, скреплял медными скобочками и аккуратно заклепывал молоточком. Делал мастер все быстро и ловко. Женя не выдержал и воскликнул:

— Ух ты! Крутит как!

Мария хотела было одёрнуть его, но мастер, услышав возглас ребёнка и увидев восторг мальчиков, жестом пригласил их поближе к себе и даже дал подержать только что склёпанные осколки. Он приветливо улыбался, а когда Мария поблагодарила его за внимание, он, думая, что и дети понимают по-узбекски, начал хвалить их за внимательность и советовать, что главное в жизни — быть мастером.

— Обязательно станут, — пообещал за своих сыновей Андрей, который уже купил корзину и подошёл к ним.

Фруктовые ряды располагались под длинным, почти через весь базар, навесом. Здесь воздух, казалось, был пропитан ароматом самых тонких духов, наполнен негромким протяжным гулом, жёлтыми осаами и пузатыми красными шмелями. Осы и шмели летали между людьми, ползали по янтарным с нежной пыльцой гроздьям винограда, уложенным в огромные плетёные корзины-подносы, по налитым кровью земли гранатовым зёрнам, по жёлтым пушистым персикам, похожим на сложенных в кучки только что вылупившихся цыплят. Но никто не обращал внимания ни на ос, ни на шмелей, и только Вите с Женей, когда они вошли под навес, показалось, что эти страшные летучие существа специально слетелись сюда, чтобы искушать их. Витя и Женя отмахивались, отчего осы и шмели действительно стали кружиться перед их лицами.

— Не машите руками, а то кусают! — разъяснил сыновьям Андрей. — Их не тревожь — они тоже не тронут.

Дети перестали отмахиваться, продолжали лишь недоверчиво следить за полётом ос и шмелей. Однако прижались на всякий случай поплотней к отцу.

Продавцы настойчиво, иногда даже хватая покупателей за рукав, предлагали попробовать росный, в пыльце виноград, кроваво-красную дольку граната. Увидя пустую корзину у Андрея, они начали наперебой кричать:

— Попробудит!..

— Попробуй!..

— Папробуди!..

У одного из подносов с самым лучшим, как показалось Андрею, виноградом он остановился. Не рядился. Вынул и отдал рубль за четыре килограмма, и соседи справа и слева, видя такую щедрость, ещё громче стали просить:

— Попробудит, начольник!

Андрей, словно не слыша этих настойчивых просьб, выбрал две самые большие грозди и подал детям. Те схватили их и принялись с аппетитом есть.

— Зачем же ты им немытый даёшь? — недовольно спросила Мария.

Но Андрей уже выбрал кисть для неё и, подавая, успокоил:

— С ветки же. Видишь, с пыльцой ещё.

Она взяла виноград, с недоверием оглядела его, но он был действительно чистый, с девственной пыльцой, налитый солнечным соком. Она попробовала одну ягоду и воскликнула:

— Вкусный какой! А ты, Андрюша?

— И я тоже съем, — ответил он, доставая из корзины гроздь и для себя.

Потом они покупали гранаты, персики, груши, и когда корзина наполнилась, Андрей предложил:

— Теперь — к шашлыкам.

Они прошли в мясной ряд, увешанный жирными бараньими тушами, по которым ползали сытые ленивые шмели. И сразу же, как вышли из-под безлюдного навеса, почувствовали аппетитный запах жареного мяса и увидели мангалы, выстроившиеся в длинный ряд в метре от дувала.

У мангалов стояли небольшие очереди. Покупатели ожидали, когда шашлычник отложит в сторону фанерный флажок, вращая которым раздувает угли, и спросит первого: «Сколько?»

— потом ловко подхватит нужное количество шампуров и, раскинув их веером, побрызгает из бутылки через дырявую пробку настоящим на перце уксусом и подаст этот горячий ароматный веер истомившемуся покупателю. Осчастливит двух-трёх человек — и снова укладывает на мангал новые шампуры с кусками сочной баранины, пахнущей уксусом, перцем и луком; а очередь будет терпеливо ждать, торопить не станет, чтобы не обидеть лишним словом шашлычника.

Встал в очередь у одного из мангалов и Андрей, но шашлычник, увидев пограничника, спросил его, старательно выговаривая русские слова:

— Товарищ командир, скажи, сколько надо?

Андрей ответил по-узбекски, что неудобно опережать ждущих, но очередь охотно пропустила Андрея вперёд, и он уже не отказывался. Взял шашлык, подойдя к столику (квадратный лист фанеры, закрепленный на толстом столбике), где ждала его Мария с детьми, подал им шампуры и сказал, продолжая тот, возникший у инжирного ряда разговор:

— Видишь, Маня, с уважением каким относятся. А что внешне будто бы схожи, так ведь и русские на первый взгляд друг от друга мало чем отличаются.

Мария, словно не слыша мужа, спросила детей: — Ну как шашлык?

— Вкуснятина!

Детям очень хотелось ещё по шампурине шашлыка, но Андрей повёл их вдоль мангалов к рядку низеньких, притулившихся к дувалу глинобитных избушек с широкими проёмами, похожими на большое чело русской печи. В проёмах стояли огромные подносы, в ярких цветах, с горками румяной самсы, внешне очень похожей на русские подовые пирожки.

— Разрешаю по две штучки. Больше мясного не будет, — сказал Андрей и начал подавать самсу Марии и детям.

Женя, надкусив, обрызгал рубашку жирным соком и с удивлением смотрел на пятна: дома пирожки никогда не брызгались. Мария недовольно нахмурилась, но Андрей пояснил:

— Для сочности специально кусочек курдючного сала добавляют. Хотите посмотреть? — и, не дожидаясь ответа, спросил пекаря: — Можно зайти?

Пекарь — молодой с бритой головой мужчина в домотканой белой рубашке — приветливо распахнул маленькую боковую дверь и пригласил их в пекарню. В ней оказалось жарче, чем на улице: в дальнем углу топились тандыр (большой без дна кувшин, сделанный из глины, перемешанной с конским волосом, и обложенный кирпичом); воздух пекарни был настоян на печёном тесте, луке, от которого ело глаза, и перце. И Мария даже дёрнула Андрея за рукав и шепнула:

— Зачем ты? Пошли.

А пекарь, не обращая внимания на гостей, раскатывал тонкие лепешки пресного теста, запускал пятерню в стоявший на полу огромный котел, захватывал пригоршню мяса, нарезанного мелкими-мелкими кусочками и перемешанного с луком, раскладывал его по лепёшечкам, добавив по кусочку курдючного сала, ловко собирал края лепешечки и сжимал их. Отрывался от этой работы только для того, чтобы подбросить сухие, тонко нарубленные дрова в тандыр.

Прошло несколько минут, Женя уже начал тереть кулаком слезившиеся глаза, засопел и Виктор, и тут пекарь, заглянув в побелевший от жары тандыр, проговорил:

— Пора.

Дети и Мария забыли и о жаре, и о едком луке. С любопытством наблюдали теперь за пекарем, который быстро натянул на правую руку толстую стеганую рукавицу и, укладывая на нее попарно четыре самсы, стал пришлепывать их к стенкам тандыра. Через несколько минут снял рукавицу, ею же отер с лица пот и сразу же начал готовить самсу для следующей выпечки.

— А теперь, как поспеют, вон той поварёшкой, — Андрей показал на цилиндрическую, как большая консервная банка, поварёшку, закреплённую на длинной обуглившейся палке, — станет снимать со стенок. Вот так, люди!

Рассчитавшись и поблагодарив пекаря, Андрей повёл детей к вкусным, как он назвал, вещам, которые продавались в фанерных ларёчках, примостившихся у высокого дувала. На ярких, как альпийские луга в цвету, подносах лежали горки жёлтых льдинок восточного сахара — новата, высились сугробами больших снежинок кукурузные зёрна, жаренные в песке и соли и оттого словно взорванные изнутри; лежали брикеты белой халвы, похожей на спрессованный снег, нарочно привезённый с памирских вершин; громоздились красные, розовые, жёлтые леденцовые петушки, зайцы и пистолеты; полуметровые, в ярких обёртках конфеты — у детей

разбежались глаза от такого разнообразия сладостей, и отец покупал для пробы всё, что они просили.

— Но главное впереди, — говорил он. — Вон в конце ларьков.

Там стояло два тандыра для лепешек, а рядом с тандырами, на больших самодельных столах, источали аппетитный аромат стопки горячих лепёшек, поджаренных до коричневости. Сразу же за этими столами, прямо на пыльной земле, стоял чугунный котёл ведер на девять, наполненный белой пеной, очень похожей на мыльную. У котла на пыльном коврик сидел небольшой, круглый, как арбуз, человечек с одутловатыми лоснящимися щеками, добродушно улыбался, помешивая деревянной лопаточкой мыльную пену, и весело покрикивал:

— Нишаллы... Нишаллы...

Справа от него на таком же пыльном коврик у такого же чёрного котла сидел тощий старикашка и, надрубая ножом куриные яйца, сцеживал белок в котел. Потом добавлял из большого чайника какой-то зеленовато-жёлтой жидкости, швырял несколько горстей сахарного песка и старательно перемешивал всё это небольшим веником, связанным из толстых прутьев.

— Пока один котёл продадут, другой подоспеет, — пояснил Андрей. — Как ловко размешивает. Поэтому русские прозвали эту сладкую пену мешалдой. — Андрей подал детям по лепёшке и сказал: — Подставляйте.

Человек, похожий на арбуз, подхватывал лопаточкой пену и шлепал её на лепешки; пена растекалась по краям, дети старательно слизывали пену с боков лепешек, а Андрей и Мария с довольной улыбкой наблюдали за ними.

— Давай и мы съедим? — предложил Андрей.

Круглый человечек шлепнул и им на лепёшки по лопаточке пены, и они тоже начали слизывать ее: как и дети, смеясь, а когда нишаллы оставалось мало, подставляли продавцу лепешки и тот добавлял — они ели с удовольствием, весело, шумно.

— Чайку бы сейчас, — проговорила Мария.

— Лучше дыню либо арбуз, — посоветовал Андрей. — Пойдёмте.

Они пересекли тугой людской поток и вышли к центру базара, где продавались дыни и арбузы. Под тенью поднятых вверх оглоблями арб горбились жёлтые и полосатые груды. Некоторые арбы не были распряжены и разгружены, и хозяева их, сидя верхом на лошадях, терпеливо ждали оптового покупателя. Между этими арбами, между грудями дынь и арбузов неторопливо двигались люди, приглядывались, приценивались, брали в руки понравившуюся дыню или арбуз, хлопали по ним ладонями, прислушиваясь к глухому звуку, спрашивали друг у друга: «Как думаешь? Спелый?» — и если большинство авторитетно заявляло, что ошибки не будет, а продавец клялся именем аллаха, что его арбузы и дыни первосортные, показывал на красный, специально для наглядности разрезанный арбуз либо отрезал от дыни, тоже специально разрезанной, кусочек, требовал съесть его, обещая покупателю, если ему не понравится, отдать товар бесплатно, — тогда только покупатель отсчитывал деньги и удалялся довольный и спокойный. А продавец уже уговаривал следующего отведать кусочек арбуза или дыни, горячился, иной даже багровел, если хаяли его товар, размахивал кривым ножом, предлагал разрезать любую дыню, любой арбуз. От этих возбуждённых лиц, от мелькавших в воздухе ножей, очень похожих на те, которые привозил Андрей на заставу после удачной

погони за басмачами, Марии стало не по себе, и, когда Андрей купил наконец арбуз и дыню и позвал их к длинному столу, сооружённому на краю этой своеобразной торговой площадки — базара в базаре, она облегченно вздохнула, но время от времени оглядывалась назад и поторапливала:

— Андрюша, дети, давайте побыстрее. Скоро поезд, а у нас вещи в камере хранения...

— Не спеши. Время есть, — успокаивал её Андрей, отрезал от дыни ровный длинный ломоть, рассекал ножом мякоть и подавал ей зубастый ломоть, похожий на толстую пилу: — Ешь. В Прибалтике таких дынь не будет.

Дыню они осилили, а вот арбуз — не смогли. Первый отказался Женя. Похлопал мокрой и липкой рукой по круглому животу и заявил:

— Барабан.

— И у меня, во, — давнув пальцем в живот, произнёс Виктор.

— Тогда пошли, — сказал Андрей, вытер платком складной нож, убрал его в карман и, прежде чем взять корзину с фруктами, спросил: — Ну как, люди, понравилось?

— Во! — поднял большой палец Виктор. — Шашлык ух! Вкусный! И эта, как её... белая...

— Мишалда, — подсказал Женя.

— А ещё другая, жёсткая?

— Халва, сын. Запомни — халва.

За разговорами не заметили, как подошли к вокзалу. До посадки на поезд оставалось не так уж много времени, и Андрей сразу же провёл сыновей поближе к перрону, а Марию послал к камере хранения занимать очередь. Усадив детей на скамейку в сквере под тенью акаций, поспешил за вещами.

— Я винограда хочу, — сказал Женя. — Вот эту веточку.

— Кто тебе не даёт?! — сердито спросил Виктор и выбрал себе самый большой персик.

Женя съел несколько виноградинок, потом начал вытаскивать из ягод зерна и рассматривать их. Зажал одно зернышко между пальцами, а оно выскользнуло и, стремительно пролетев несколько метров, угодило в красный пион, который цвел на газоне рядом со скамейкой. Жене понравилась эта неожиданная возможность поиграть, и он стал стрелять виноградными зернышками то в пион, то в жёлтые розы.

— Не балуй, — попросил его Витя, но Женя в ответ стрельнул зёрнышком в него. Витя нахмурился и ещё раз предупредил: — Не балуйся.

А Женя не унимался. Наконец Витя принял вызов и тоже стал стрелять зернышками. Разломанные виноградины они бросали на дорожку у скамейки. Они не сразу заметили отца, который пришёл звать их в вагон. Он же, с улыбкой понаблюдав за ними, сказал добродушно:

— Шалить можно, вот сорить — нельзя. Давай подбирай всё.

Дети выстрелили друг в друга по последнему разу и принялись подбирать разломанные ягоды и бросать их в урну, а отец поторапливал:

— Быстрее, быстрее. Два звонка сейчас дадут.

Они вбежали на перрон, а в это время паровоз со свистом выпустил хлёсткую струю пара, и дети остановились, остолбенев, и смотрели на чёрного великана, попыхивавшего паром и дымившего высокой трубой.

— Ух ты! — выдохнул Женя. — Поезд!

— Паровоз, сынок, — поправил Андрей и пообещал: — На первой же большой станции рассмотрим его. А сейчас — в вагон.

Возбуждённые влетели в купе, но мать остановила их:

— Не пачкайте здесь ничего. Пошли умываться. И рубашки сменим.

Пока они умывались и переодевались, поезд миновал город и теперь проносился мимо хлопковых полей, зажатых со всех сторон, как частоколом, тутовыми деревьями; позади оставались небольшие кишлаки с оплётёнными виноградником глинобитными домиками, густая высокая кукуруза, посаженная так близко от полотна, что, казалось, можно схватить из окна вагона её цветущие метелки; вот поезд вырывался в бесконечную, выгоревшую до желтизны степь, и в открытые окна вагона бил тугой волной горячий, сухой воздух, Витя и Женя не отходили от окна, боясь пропустить что-либо интересное. За их спинами стояли Андрей и Мария. Лицо у Андрея было задумчивым и грустным, а лицо Марии светилось счастливой улыбкой.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Ещё не успев просохнуть и успокоиться после купания, они ввалились в квартиру и заполнили её радостными возгласами и смехом. Потом расставляли только что привезённую из комендатуры мебель. Приглядывались, примеряли. И только когда мебель была расставлена, Мария решительно заявила:

— Андрюша, ты — на заставу? И детей возьми. Я буду мыть полы и стряпать. Обед через полтора часа. Хлеба не забудьте.

Но пообедать в новой квартире всем вместе им не пришлось. Мальчики скоро вернулись, и Витя сообщил:

— Папа в кишлак побежал. Кто-то кого-то избил.

— В посёлок, Витя. Здесь кишлаков нет, — поправила сына Мария и начала собирать на стол, не дожидаясь, пока дожарятся котлеты. — Поедим поскорей и тоже в посёлок ходим.

Не думала она в первый же день идти в посёлок, но сообщение сына растревожило ее.

«Если просто драка — Андрюша бы не стал торопиться. Серьёзное что-нибудь», но детям говорила другое:

— Конфет, пряников накупим. Рыбки копчёной. Здесь же море, много рыбы разной.

— Мама, сладкий мячик, как на базаре, купим?

— Непременно, если будут.

— Халвы, мам.

— Ладно, ладно, всего накупим...

После обеда она погладила детям матроски, себе крепдешиновое платье, и, по-праздничному нарядные, они пошли в посёлок по мягкой, устланной сосновыми иглами дороге. Сдавившие дорогу сосны, развесистые, разморенные жарой, заливали воздух тёрпкой удушливостью, но Мария говорила восторженно:

— Воздух-то, воздух! Целительный! Дышите, дети! Глубже...

— Голова, мама, кружится, — ответил Витя.

— С непривычки, сынок. Это вам не Памир.

Первый дом показался неожиданно, будто вынырнула красная черепичная крыша из тесной лесной чащи. Дом, почерневший от времени, обнесён был высоким тёсовым забором, тоже тёмным, в мелких, словно старческие морщины, трещинах.

«Как в Азии, от мира отгораживаются», — с неприязнью подумала Мария. Она, с детства привыкшая жить открыто, не скрывать от людей свои радости и горести, не могла понять, отчего многие люди стараются упрятать себя за забором. В Средней Азии, как ей объяснили, за высокими глинобитными дувалами мужья прячут своих жён от соблазнов, а для чего заборы здесь? Чтобы укрыть своё богатство? Или спрятать нищету?

«Коллективно станут работать — разгородятся. Начали уже в Узбекистане рушить дувалы», — рассуждала она, рассматривая стоящие в небольшом удалении друг от друга дома с глухими заборами — то новыми, окрашенными, то покосившимися, в сетках старческих морщин.

Вот дома расступились, и открылась большая площадь с островерхим домом в центре. Он отличался от всех остальных и своей величиной, и тем, что стоял весь на виду. Забор же, высокий, плотный, с протянутой поверху колючей проволокой, примыкал к нему лишь с одной стороны. Возле крыльца, на утоптанной площадке, толпились мужчины и женщины и, яростно жестикулируя, о чём-то спорили.

— Вот и магазин. Легко так нашли, — удовлетворённо проговорила Мария и повернула к центру площади.

Высокий мужчина в клеенчатой штормовке, стоявший в центре толпы, первым увидел Марию с сыновьями, что-то сказал своим землякам, и те сразу же замолчали, повернулись в её сторону. Когда же Мария подошла ближе, все приветливо заулыбались и расступились, пропуская их в магазин, а мужчина в штормовке снял кепку, тоже клеенчатую, и сказал по-русски, с сильным акцентом:

— Мы рады приветствовать дорогую гостью. Надеемся, что станем друзьями.

— Непременно, — ответила Мария и протянула мужчине руку. — Будем знакомы. Мария Барканова.

— Гунар. Залгалис Гунар. Латышский красный стрелок. Член правления кооператива, — пожимая руку Марии, ответил человек в кепке. Рукопожатие получилось чересчур крепким, и, заметив это, он сказал извиняющимся тоном: — Саблю держала рука. Винтовку. Теперь вот — вёсла. Отвыкла быть нежной.

— Рука мужчины — крепкая рука, — поддержала его Мария.

Рыбаку понравился ответ молодой женщины, и он тут же спросил:

— Вы не бывали в латышском доме? Я приглашаю вас к себе. Паула моя — добрая женщина. Она говорит по-русски. Я её научил. Вы подружитесь.

— Непременно. Только сделаю покупки.

Через несколько минут, нагруженные кулками и свёртками, они шагали через площадь к дому Залгалисов, к тому самому, который прежде, когда они шли в посёлок по лесной дороге, так неожиданно появился среди деревьев и удивил Марию подслеповатыми оконцами и высоким забором, отчего и показался хмурым и нелюдимым. Не меньше удивилась она и войдя через узенькую калитку во двор, маленький, застроенный множеством сараюшек, тесно прижимавшихся к забору. Невольно вырвалось у нее:

— Зачем столько сараев?

— Рыбаку без них нельзя, — пояснил Гунар, — негде будет хранить снасти, вёсла, дрова на зиму, вялить рыбу. А та вон, побольше постройка, — владение Паулы. Кухня летняя.

— Чтобы в доме не топить и не мучиться от жары, в Азии тоже во дворах очаги делают.

— А вот и хозяйка дома, — прервал Марию Залгалис, — моя Паула.

На крыльце стояла полненькая приземистая женщина с удивительно свежим лицом молочной белизны. Женщина по-русски поздоровалась с гостьей, приласкала ребят и пригласила всех в дом.

В хмурой гостиной, свет в которую пробивался через небольшое оконце, стояли старинной работы буфет, такое же старое кресло с высокой деревянной спинкой, стол, покрытый вышитой скатертью, и несколько стульев у стен и вокруг стола. На столе, напротив буфета, висела старенькая картина: девушка с пышными волосами трепетно протянула руки к штормовому морю, словно умоляла его утихнуть и не причинять зла тем, кто в море.

Паула усадила Марию в кресло, пододвинула поближе к ней стулья для мальчиков и Гунара, а сама то подсаживалась, вступая в разговор, то выбегала в кухню. Вскоре она начала накрывать стол к ужину.

Мария расспрашивала Гунара о посёлке, и вскоре она узнала, что рыбаки объединились недавно в кооператив и что власть Адольфа Раагу, бывшего владельца коптильни и гостиницы для курортников, кончилась. Он бежал в Швецию с семьёй на моторной лодке, а в его доме теперь разместился тот самый магазин, в котором они только что были. Адольф Раагу оставил здесь только своего приёмного сына Вилниса, но и тот взял обратно фамилию родного отца — Курземниека.

— Братья Курземниеки и я вначале были стрелками Тукумского полка, — рассказывал Гунар, — Ригу защищали от кайзеровцев. Шесть дней у реки Кекавы лежали под немецкими пулемётами. Остались живы. Уцелели у Малой Юглы. В штыковые сходились. Потом и пули карателей пролетали мимо, когда расстреливали нас во время братания с немцами. А на Острове Смерти погиб брат Юлия Курземниека. С Юлием мы потом сколько фронтов в гражданскую сменили. Юденича гнали, Каховский плацдарм защищали, в Таврии бились. Крым освобождали. А в это время Вилниса усыновил Раагу.

Так племянник красного латышского стрелка стал сыном мироеда.

— Мать Вилниса, когда узнала о смерти мужа, заболела с горя и умерла, куда ж ребёнку деваться, — энергично вмешалась Паула, ставя на стол тарелку с жареной рыбой.

— А когда Юлий вернулся, что он к дяде не пошёл? — с раздражением спросил Гунар.

— Ишь ты, чего захотел. У дяди сидеть без дела не пришлось бы, а Раагу баловали приёмного сына. Адольф из него тоже мироеда готовил.

— Вот-вот. Силой отобрать нужно было, — не сдавался Гунар.

— Сиди уж. Забыл, как вам рот тогда затыкали. Это теперь гордишься, что красный латышский стрелок... А тогда!.. Место для сетей всегда вам с Юлием никудашное доставалось. И сети вам рвали. Спасибо Озолису и Портниеку... Соседи наши, — пояснила Паула Марии, — не жалели рыбы, а то с голоду хоть помирай.

Мария не сразу поняла, отчего вдруг Залгалисы спорят о каком-то Вилнисе, видимо молодом парне, который, как думала Мария, обязательно поймёт, что нельзя же быть мироедом, и станет примерным рыбаком; но чем больше вслушивалась в перепалку, тем понятней ей становилось, что юноша что-то натворил.

— Так что же произошло? — спросила Мария.

— Да разве вы не знаете? — всплеснула руками Паула. — Вот ведь беда, сети кооперативные порезали. Говорят, Вилнис напакостил. Если бы не пограничники, порешили бы его наши мужики.

— Племянник красного латышского стрелка — враг Советской власти. Позор! — сокрушённо произнёс Гунар. — Правду говорил нам комиссар: где нет нас — там есть враг.

— В Средней Азии тоже колхозный хлопок поджигали, людей убивали. И у вас наладится. Поймут все...

— Вот бы послушали наши, как за Советскую власть трудовой люд стоял, — высказал пожелание Гунар и добавил с сожалением: — Только беда — русский знают у нас я, Юлий и наши жёны. Марута, дочь Озолисов, — немного...

— Давайте научим всех... Учебники достанем. Я буду читать, а вы переводить. Пока я не выучу ваш язык. Поговорите, Гунар, Паула, с товарищами, спросите, захотят ли?

— Что тут говорить? Все захотят, — горячо ответила Паула. — У многих словари даже есть. Часто меня спрашивают. В клубе будем собираться. Где гостиница была, — пояснила Паула.

— Просторные комнаты там есть.

— Я на правлении скажу об этом.

— Вот и хорошо. Давайте ужинать, — пригласила Паула и разлила по стаканам домашнее пиво.

Домой Мария с детьми возвратилась довольно поздно. Андрей с беспокойством спросил:

— Где, люди, были?

— С замечательной семьёй подружились! Такие хорошие они! Он был красным латышским стрелком...

— Мария, я тебя не хочу пугать. Не хочу, чтобы, как и на Памире, ты боялась, но будь осторожна. Вилнис Раагу, теперь он прежнюю фамилию взял — Курземниек, был членом мазпульцены. Существовала у них такая детская организация под крылышком кулацко-фашистской партии. Есть подозрение, что сейчас он поддерживает связь с перконкрустовцами. Это — «Крест Перуна». Фашистская погромная организация. Все эти фашиствующие молодчики вольготно жили в буржуазной Латвии, и, думаешь, приняли они Советскую власть? Как раз, жди! В подполье ушли. Озлобились. Связи с заграницей поддерживают. От них всего можно ожидать. Те же басмачи.

— Я пообещала, Андрюша, учить рыбаков русскому языку.

— Молодчина ты какая! — воскликнул Андрей. — Только договоримся: если случится тебе задержаться, я встречать буду.

— Договорились.

На следующий день Паула пришла за Марией и повела её в клуб. Дорогой радостно рассказывала:

— На правлении так порешили: заниматься три раза в неделю. А когда шторм — каждый день. Все хотят знать русский язык. Все, все. Клуб набился полный. Сидеть негде.

Мария, слушая Паулу, думала, что та сильно преувеличивает, но каково же было её удивление, когда она увидела переполненный зал. Люди сидели даже в проходах на

принесённых из дома стульях и табуретках, и Мария с трудом прошла к приготовленному для нее стулу, возле которого уже сидел Гунар, довольный, гордый. В зале кто-то робко захлопал в ладоши, зал подхватил дружно, словно встречали здесь именитого гостя. Мария смутилась.

Когда она работала секретарём райкома комсомола, ей приходилось часто выступать и перед своими сверстниками, и перед пожилыми людьми, однако за годы, которые провела на заставе, отвыкла от таких встреч, тем более от аплодисментов. Мария сразу даже не могла различить лица людей, видела лишь чёрные, серые и цветастые пятна, стояла и смущённо улыбалась этим пятнам. Но вот зал начал затихать, смущение Марии тоже прошло, и она увидела много пожилых рыбаков, ровесников её отца, молодых парней и девушек, по-праздничному нарядно одетых, словно собрались они на танцевальный вечер, а не на занятие кружка. Ни тетрадей, ни карандашей и ручек ни у кого не было, и Мария решила на этом необычном уроке рассказать о себе.

Она начала говорить о жизни в своей рабочей семье, о фабрике, о первых самостоятельных шагах, о решении поехать по путёвке комсомола в Среднюю Азию, а Гунар переводил фразу за фразой её исповедь. Зал настороженно слушал о памятнике пограничникам, построенном молодёжью глухих предгорных кишлаков, о костре, на котором горели паранджи, и басмачах, о безвыездной многолетней жизни на Памире, о погибших на Талдыке строителях дороги, о молодых узбечках, севших, вопреки вековым устоям, на трактор, о разрушенных дувалах и окнах, вставленных в глухие стены домов. Мария рассказывала неторопливо, Гунар переводил, а когда она закончила, в зале долго и громко хлопали.

Первым к ней подошёл Юлий Курземниек, кряжистый мужчина с чёрной окладистой бородой, пожал руку и произнес торжественно:

— Я верил, что бился за святое дело. Разгородим и мы заборы.

Её окружили, пожимали руки, называли свои имена и фамилии, а она счастливо улыбалась, стараясь запомнить непривычные фамилии и лица новых знакомых.

Домой Мария шла вместе с Гунаром и Паулой. Гунар всё больше молчал, а Паула тараторила без умолку, восхищаясь отвагой Марии, добровольно поехавшей на край света.

— А вы же, Паула, не испугались пойти замуж за красного латышского стрелка, за опального? Опорой стали ему. Легко ли?

Паула ничего не ответила. Возбужденность её вдруг сменилась задумчивой грустью.

— Всякого натерпелись мы с Гунаром. Голод, холод. Издевательства, — со вздохом произнесла она, помолчала и добавила: — Без любви на такое не пойдешь.

Дальше шли молча. Хвойные иголки, устилавшие дорогу, мягко пружинили, и, казалось, звук шагов утопал в них, тишина заснувшего леса совсем не нарушалась. Путники словно плыли в тёрпкой душной темноте. Поселок с его редкими жёлтыми огоньками в оконцах остался уже далеко позади. Смолк и говор людей, расходившихся по домам из клуба.

Вдруг рядом, чуть правее дороги, сухо, как холостой выстрел, хрустнула ветка. Мария вздрогнула, остановилась, резко повернула голову вправо и стала всматриваться в темноту чащи. Ей даже показалось, что к одному из стволов прижался человек.

— Вон, Гунар... — начала говорить она, но Гунар сказал:

— Не надо останавливаться, — взял её под руку. — Пойдём.

Она подчинилась спокойной просьбе Гунара, хотя недоумевала, отчего он делает вид, что ничего не слышал.

Слева между деревьями затеплился огонёк.

«Ну вот и дошли», — облегченно вздохнула Мария и прибавила шаг.

Когда подошли к калитке, она пригласила Гунара и Паулу зайти в дом, но Гунар отказался с необычной для него поспешностью:

— Нет, нет. Поздно уже. Не надо беспокоиться.

Молча они пожали друг другу руки, и Гунар с Паулой быстро пошли обратно.

«Да. Был кто-то в лесу. Был!»

Перешагнув порог калитки, которую открыл часовой, Мария неспешно пошла через двор заставы к командирскому домику, ласково светившемуся чистыми окнами. И эта привычная обстановка подействовала успокаивающе. Мария почувствовала себя вновь уверенно и решила не говорить мужу о подозрительно хрустнувшей ветке, чтобы не беспокоить его лишний раз, а рассказать только о том, как много народу было в клубе, как внимательно слушали её, потом долго аплодировали. Мария хотела поделиться лишь своей радостью, своим счастьем, однако разговор получился совсем иным.

Андрей оказался дома не один. Вместе с ним сидел за столом и пил чай незнакомый ей капитан.

— Гость у нас, Маня. Комендант наш, — сказал Андрей, встав навстречу жене и привычно целуя её, как это делал всегда, когда уходил на службу или возвращался домой. — Мы вот тут без тебя...

— Вы уж извините нас. Поговорить хотелось по-домашнему, вот и сообразил Андрей Герасимович чай, — заговорил капитан, выходя из-за стола и протягивая руку Марии. — Капитан Хохлачёв. Денис Тимофеевич.

Мария с удивлением увидела, что капитан — ровесник Андрея и чем-то похож на него: высокий, широкоплечий, как и Андрей, с такой же огрубевшей от ветра и солнца кожей на руках и лице, с обветренными губами (верхняя даже треснула до крови), и волосы у капитана очень походили на волосы Андрея, и только глаза были карие.

— Мария Петровна, — несмело ответила она и удивилась своей несмелости. Затем она сунула руку в карман шерстяной кофточки (она брала её с собой, но так и не надела), чтобы достать платочек, но вместо платочка вынула небольшой листок бумаги, свёрнутый вчетверо. Развернула удивлённо, разобрала только восклицательный знак в конце написанного не по-русски текста и протянула листок мужу.

— Что это, Андрюша?!

— Дай-ка, — попросил у Барканова комендант и начал переводить: — «Сиди дома, красная...», не переводится тут слово... «если не хочешь...», в общем, тут так примерно: муж вдовцом останется, а сыновья сиротами, если, значит, не утихомиришься... Да, угроза серьёзная.

— Не иначе как «Крест Перуна» сработал, — высказал свое мнение Андрей. — Я говорил тебе об этой организации, Маня. От них всё можно ждать.

— Но что делать? Вы бы видели, как внимательно слушали меня люди. Они хотят знать больше, чем знают. Они русскому хотят научиться. А записка... Для меня она не первая. Я их под дверью не раз находила. Одинаковые, оказывается, враги, что там, что здесь. Трусливо, из-за угла пугают.

— И убивают, Маня. Ты же знаешь.

— Андрюша, — удивленно посмотрела на мужа Мария, — ты зачем это говоришь? Меня испугать?

— Но ты мать двоих детей!

Мария вдруг поникла, села на стул, сложила на колени руки и долго рассматривала их. Неловкая пауза затянулась. Нарушил её Андрей.

— Если бы каждая женщина сделала столько, сколько ты...

— Неужели, Андрюша, это ты говоришь. Невероятно. В революцию тоже убивали! До революции вешали и расстреливали! Убивали в Испании! Убивают и сейчас. Вас, пограничников, сколько погибло? И сейчас ты не застрахован от пули! Так почему же ты здесь, почему не бежишь в спокойный городишко и не устраиваешься завхозом в детсад?! Давайте бросим всё, закроем ставни, потушим свет и будем сидеть и дрожать! Ты подумал, как я Пауле в глаза буду смотреть?! Другим женщинам. Гунару, рыбакам?!

— Ты не так поняла меня. Помнишь, ты мне призналась, что боялась стариков у карагача, боялась гор... Вот я теперь хочу...

— Не выпускать со двора заставы? Я и сегодня боялась, когда шла домой. Чего? Ветка хрустнула. Крался за нами кто-то. А я буду учить всех, кто хочет учиться. Буду!

— Храбрая ты моя трусиха, — примирительно сказал Андрей и погладил Марию по голове.

— Ну вот и помирились, — обрадовался капитан Хохлачёв. Добавил после паузы: — Завидую я тебе, Андрей Герасимович. Завидую.

— Нашумела на мужа не ко времени и в примерные вошла, — с улыбкой ответила Мария. — Посидите, я сейчас чай подогрею.

Долго они сидели за чаем, говорили о границе, об Испании, о фашизме. Потом Мария и Андрей рассказывали о себе, Денис Хохлачёв о своей службе в Забайкалье, о погонях за лазутчиками бывшего атамана Семёнова, о схватках с кулацкими бандами, о новом совхозе, названном по просьбе жителей «Пограничный», — они говорили обо всём и не знали, что в это время в дом Залгалисов влетел через окно кирпич.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мария проснулась, посмотрела на часы и почувствовала что-то неладное: пора уже было приносить роженицам детей, но в коридоре не слышалось привычного для этого утреннего часа требовательного плача, за дверью лишь беспрестанно сновали, приглушённо и тревожно переговаривались. Обе соседки Марии по палате, как обычно, спокойно посапывали. Мария всегда просыпалась заранее и ждала, когда принесут кормить дочь, а соседок няня каждый раз, подавая детей, будила. Женщины, ещё как следует не проснувшись, давали детям грудь, а как только няня уносила их, вновь засыпали. Мария завидовала их спокойствию, тоже старалась больше спать, но ей не спалось. То она тревожилась о дочке. Не голодна ли? Перепелената ли? То думала об оставленных у Паулы и Гунара сыновьях, то об Андрее, который приехал к ней на второй день после родов, привёз букет цветов и непривычно виновато попросил:

«— Не обижайся, Маня, если больше не смогу навестить. Поправляйся. Галчонка нашего (они договорились заранее дочь назвать Галей) корми хорошенько. Приеду в день выписки».

Сейчас Мария, с завистью слушая мерное посапывание соседок, тоже думала о муже и детях и вместе с тем пыталась понять, что произошло в роддоме, почему не несут кормить детей? Но, как Мария ни напрягала слух, разобрать, о чём переговаривались в коридоре, не могла. Время шло, дочь не несли, тревога, царившая в коридоре, начала передаваться Марии.

«Что такое? Отчего все бегают?!»

Она слышала грубые мужские шаги. Мужчины шли молча, потом заговорили. Один — резко, требовательно, другой — мягко, спокойно.

— Подсчитали, сколько нужно машин?

— Да, определили потребность транспорта для рожениц, обслуживающего персонала и имущества.

— Имущество уничтожить! Эвакуировать только женщин и детей.

— Как вы считаете, если кто из местных не захочет уезжать, стоит ли принуждать?

— В первую очередь вывезти жён комсостава и партийного актива. Принуждать никого не будем. Как подойдут машины, немедленно приступайте к эвакуации.

«Эвакуация?»

Недобрым предчувствием сдавило сердце Марии от этого непривычного, едва знакомого ей слова. Она ещё не могла осознать, сколько горя и страдания, сколько смертей от бомб и снарядов, от голода и болезней скрывается за этим словом, она не могла даже себе представить, что скоро это слово станет одинаково известно и ребёнку, и старику, а люди разделятся на эвакуированных и неэвакуированных, что российские избы распахнут свои двери для беженцев, а русские женщины, разливая по мискам пустые щи, для эвакуированных станут черпать половником чуть-чуть побольше; она не знала, да и не могла знать, что её тоже будут называть эвакуированной и для неё сердобольная хозяйка сиротливой хатёнки выделит уголок. Мария не знала, что началась война и первые толпы беженцев уже потянулись по приграничным дорогам. Сейчас она задавала тревожный вопрос: «Неужели Андрюша был прав?!»

Несколько раз Андрей предлагал ей уехать с детьми к своим родителям, говорил о возможной войне, но она каждый раз отвечала ему одним и тем же вопросом:

«— Кто ж тебя обогреет? — И добавляла: — Никуда я не поеду».

Она понимала заботу Андрея о детях, о ней. Знала, что застава почти каждый день задерживает нарушителей границы, вооружённых, с портативными радиопередатчиками и картами. Слышала, как

Андрей и капитан Хохлачёв (он, приезжая на заставу, всегда заходил к ним) говорили, что фашисты пытаются создать «пятую колонну» в приграничных районах, и делали вывод: скоро быть войне.

Происходили перемены, не понятные Марии, и в посёлке. Если она встречала рыбака или рыбачку, приветствовали они Марию так же радостно, как и прежде, а в магазине, принародно, те же люди здоровались сдержанно. Да и на занятия ходить с весны многие рыбаки стали реже. Ссылались на занятость, мол, путина начинается, забот столько, но Мария видела, что они чего-то побаиваются, выжидают. Она рассказывала о своих наблюдениях Андрею и Хохлачёву, и они соглашались.

«— Верно. Мутит кто-то. Запугивает».

Домой после занятий провожали её последнее время несколько мужчин.

Стала избегать встреч с Марией и соседка Залгалисов Марута Озолис, полная, как уточка, девушка. Прежде она всегда ждала Марию у входа в клуб и, здороваясь, обычно гладила своей пухлой щекой ладонь Марии. Теперь, наоборот, дежурили у крыльца Вилнис Курземниек и ещё два-три парня, и стоило только Гунару или другим мужчинам задержаться, они обзывали Марию «пузатой шлюхой», грозили ей, но, как только кто-либо из её учеников появлялся на крыльце, сразу же замолкали. А один раз эти парни кинулись было на неё с кулаками, но новый шофёр кооператива Роберт Эрземберг, молодой толстоногий мужчина с интеллигентным лицом, разогнал хулиганов. Эрземберг носил галифе, плотно обтягивающие его мясистые икры, и белые шерстяные чулки и этим был похож на айзсаргов, подражавших немецкой моде, но работал в кооперативе хорошо, поэтому многие рыбаки относились к нему уважительно.

На следующий же день по приезде в посёлок Эрземберг пришел на занятия кружка и вскоре стал самым активным и успевающим учеником. Мария восторгалась им, но ни Андрей, ни Гунар не разделяли её восторгов. И даже после того как он защитил её от Вилниса, Андрей сказал задумчиво:

«— Хорошо, конечно. Но не верю я ему. Не верю, — и сразу перевёл разговор на то, что лучше уехать ей на лето к родителям. — К осени, Маня, если не начнётся, вернешься», — говорил он, пытаясь убедить её.

Она прижалась к нему, обняла, заглянула в глаза и сказала упрямо:

«— Не оставлю одного! — поцеловала его и спросила с надеждой: — Может, Андрюша, и не будет никакой войны?»

Она пыталась, вопреки фактам, убедить себя и Андрея, что война необязательно должна начаться этим летом, что, возможно, её не будет вовсе и что не стоит заранее паниковать, но он не соглашался с ней. Убеждал:

«— Мне, Маня, видней. Очень сложная обстановка».

Сейчас Мария особенно ясно вспоминала тот последний разговор перед её отъездом в роддом. Детей они уже отвезли к Залгалисам, кооперативный грузовик стоял у калитки заставы, всё необходимое было уложено в чемодан, и она предложила:

«— Присядем перед дорогой».

«— Давай».

Молча посидели минутку, встали, он поцеловал её и, взяв чемодан, сказал со вздохом:

«— Так всё не вовремя».

«— Андрюша, ты о чём? — с обидой спросила она. — Ты же хотел сам дочку...»

«— Ты понимаешь, о чём я говорю, — ответил он, потом добавил примирительно: — Ладно, не буду больше. Тебе сейчас нельзя волноваться. Поезжай спокойно. Всё, возможно, будет в порядке».

«Вот тебе — будет в порядке, — думала сейчас Мария. — Эвакуация! Да это же — война!»

Коридор наполнился детским плачем, захлопали двери палат: детей начали разносить матерям на утреннее кормление. Вот наконец вошла старушка няня и, подавая Галинку Марии, сказала необычно грустно:

— Сейчас, доченька, вещицы тебе подадут. Собирайся скоренько.

— А что происходит?

— Война, доченька. Гитлер полез. За тобой, сказали, муж машину направил. Крошку корми свою, а чемоданчик да одежонку твою сейчас принесут.

В самом деле, одежду и чемодан с детскими вещами сестра-хозяйка принесла очень скоро. Бросила одежду на стул, поставила чемодан к кровати и торопливо сказала:

— Сама одевайся. Помогать некому. Эвакуация. Машина ваша уже во дворе. Торопитесь. — И поспешно вышла из палаты.

Необычная резкость не удивила Марию, она даже не заметила этого. С тоской задавала себе вопрос: «Что же будет?! Что же будет теперь?!»

Запричитали, всхлипывая, соседки:

— Таких крошек везти! Что делается?! Может, не ехать, Мария? Детей загубим. Немцев сюда не пустят. А если придут — они тоже люди. Маленьких разве тронут?

— Помогите лучше мне, чем слёзы лить. Не могу я остаться. Сыновья ждут. Муж на заставе.

Говорила спокойно, словно не ныло тоскливо сердце, не переполнялась душа тревогой.

Соседки, продолжая причитать и всхлипывать, поднялись и стали помогать Марии. Через несколько минут она и Галинка были собраны, Мария попрощалась с женщинами и направилась по длинному коридору к выходу.

Во дворе у машины ждал её Эрземберг. Он стоял неподвижно и смотрел вдаль. Лицо его было злым. Мария, всегда видевшая шофёра приветливым, улыбающимся, подумала: «Вот она — война!» — и окликнула его.

Эрзембер повернулся, посмотрел на неё зло, отчего Марии стало не по себе, но тут же взгляд его потеплел, на лице появилась улыбка.

— Давно жду вас, Мария Петровна. Спешить нужно!

Голос непривычно жёсткий, неприятный. Марии стало зябко, её охватила ещё большая тревога, она даже подумала, не вернуться ли назад, вспомнила, словно наяву, слова Андрея: «Не верю я ему. Не верю!» Она уже хотела повернуть к корпусу, но Эрземберг взял у неё чемодан, легко запрыгнул в кузов, поставил чемодан поближе к кабине и, спрыгнув, открыл дверцу кабины. Приветливо пригласил:

— Прошу. Давайте ребёночка подержу.

Мария ничего не могла понять. Такие моментальные перемены и в лице и в тоне... Она села в кабину, взяла поданную Эрзембергом дочку и, укладывая её поудобней на коленях, пыталась успокоить себя: «Нельзя так подозрительно к людям относиться. Не нужно».

Но спокойствие не приходило, предчувствие чего-то недоброго сжимало сердце.

Предчувствие это было совсем не случайным. Всё то время, пока Эрземберг ехал до города, а потом ждал Марию во дворе роддома, он решал, как поступить с ней. Он решал её судьбу. Поездка в роддом была для него неожиданной и никак не входила в его планы.

Роберт Эрземберг был перконкрустовец. Послал его в приграничный поселок сам Густав Целминь — главарь фашистской организации «Перконкруст», действовавшей в Латвии после прихода Советской власти подпольно. Эрземберг должен был добросовестно работать, стать активным членом кооператива и в то же время тайно настраивать рыбаков против Советской власти, а когда настанет долгожданный час — убивать, убивать, убивать.

Всё у Эрземберга, как ему казалось, шло хорошо. За добросовестную работу его несколько раз премировали, с ним члены правления иногда даже советовались; его хвалила жена начальника заставы за успехи (знала бы она, что он прекрасно говорит по-русски!), ему доверяли; а он в это время, используя Вилниса Курземниека, распространял слухи, что скоро при помощи немцев вернётся старое правительство Латвии и тем, кто идёт за большевиками, не поздоровится. Эрземберг был уверен, что, как только начнётся война, он повезёт ценности кооператива, с ним поедут председатель правления и партийный секретарь (Эрземберг считал, что только они побоятся немцев и побегут из посёлка); он уже заранее обдумывал, как лучше уничтожить этих руководителей, деньги упрятать в лесу и, вернувшись в Ригу, доложить о выполнении задания. Эрземберг считал, что, когда в Ригу придут немцы, получит за это приличный пост и заживёт припеваючи. Но все планы неожиданно изменились. Его вызвал председатель правления и сказал:

«— Начальник заставы просит эвакуировать семью. Привезти из роддома Марию Петровну».

«— А как же с эвакуацией кооператива?» — едва сдерживая недовольство, спросил Эрземберг.

«— Приезжай быстрее. Мы подождём тебя».

Эрзембергу казалось, что председатель хитрит, не хочет давать важного поручения и отправляет его из посёлка специально, хотя мог бы послать старенький грузовик. Эрземберг готов был сейчас же выхватить пистолет и стрелять, стрелять, стрелять, но понимал, что это равносильно самоубийству. Поэтому, согласно кивнув, он поспешил к своей машине.

Сразу же за посёлком он выжал из своего ЗИСа предельную скорость. Бетонная дорога стремительно набегала, разрезая густые рощи, пшеничные поля, уже заколосившиеся, но Эрземберг не замечал ни деревьев, ни пшеницы, ни осанистых усадеб среди этих полей — он

машинально крутил баранку, делая повороты на изгибах дороги, а сам думал с гневом: «Уйдут! Выскользнут! Но с ней я расправлюсь! Завезу в лес!»

Он даже представлял, как испуганно будет смотреть на него молодая русская женщина, молить о пощаде ради ребёнка, но он останется неумолим. Его возбужденное воображение рисовало картины того, что произойдет в лесу; он отбросит ребенка, сорвёт с неё платье, а она будет рваться к ребёнку. Ему сейчас показалось, что он слышит и истошный крик ребёнка, и крик матери. Он распалял себя гневом и злобно крутил баранку.

«Нет! Коммунистка! Нет!»

Однако чем дальше от поселка отъезжал Эрземберг, тем больше успокаивался, трезво оценивал сложившееся положение.

«Нужно успеть к эвакуации правления, — думал он. — Председателя и её взять. Вот тогда — в лес. И всех сразу!»

Стоя во дворе роддома, он мысленно торопил жену начальника заставы. Ему казалось, что она медлит специально, словно знает его замыслы. Он снова начал распаляться и оттого таким гневным взглядом встретил её.

А Мария ехала в кабине врага, пытаясь успокоить себя, и бережно держала на руках спящую дочурку. На Эрземберга не смотрела. Лицо же его вновь наливалось гневом.

Вдруг Эрземберг подумал, что может опоздать и уже не застанет ни председателя, ни партийного секретаря, ни кассы и так тщательно готовившаяся расправа не свершится; а его, Эрземберга, кому поручено нести крест Перуна, встретит начальник заставы и станет благодарить за оказанную услугу — Эрземберг не мог смириться с такой ролью и думал: «Не выйдет! Смерть им! Смерть!»

Дорога втягивалась в густой лес, и он уже собрался было остановить машину, но в это время из-за поворота показалась колонна танков и ЗИСов с красноармейцами. Эрземберг сбавил скорость и повёл свой грузовик у самой обочины, а сам считал танки и машины.

В душу его вкралось сомнение: все ли будет так, как обещали ему в Риге? А если немцев не пустят?

«Что, девицей стал, Роберт?! — ругнул он себя, когда колонна прошла. — Что ты ответишь Густаву Целминю? Он нерешительных людей не любит».

Но появившееся сомнение не уходило, а по дороге почти одна за одной шли встречные машины с грузом и людьми. Он боялся, что, стоит только свернуть в лес, жена начальника поднимет крик и тогда ему не выкрутиться.

Пристрелить здесь, в кабине, и выбросить. Тоже нужно время, а вот они — машины. Беспредостанно идут. Да в крови все выпачкается. Есть ли время смывать. А с кровью нельзя, поймёт председатель правления. Конец тогда.

На дороге появилась новая колонна красноармейцев.

«А! Высажу её. Пусть идёт куда хочет. Сдохнет всё равно! — решил он. — А не сдохнет — не я спаситель!»

Выждав, пока встречных машин не стало близко, Эрземберг резко затормозил и крикнул зло: — А ну вылазь!

Мария вздрогнула и, испуганно глянув на шофера, поняла, что сейчас свершится что-то ужасное. А Эрземберг крикнул ещё грубей:

— Быстро вылазь! Моли бога, что так отпускаю!

Мария торопливо открыла дверку, прижала дочь к груди и выпрыгнула на обочину. Грузовик рванулся, обдав её пылью. Галинка заплакала, и Мария, присев на траву у обочины, дала дочери грудь. Слушала довольное гульканье дочери, а сама думала, вновь переживая свой испуг: «Он мог убить. Меня. Девочку. За что?»

И сама же удивилась этому наивному вопросу. За что убивают фашисты невинных людей?

Нудно проскрипев тормозами, остановился возле неё грузовик со свёртками, сундуками, ящиками, поверх которых сидели люди. Эвакуированные. Шофёр, открыв дверцу, позвал:

— Мы едем в Ригу. Можем подвезти.

Не спросил, что произошло, почему женщина с ребенком осталась одна на дороге. Мария поднялась, подошла к машине и сказала:

— Меня высадил фашист. Он может причинить много горя людям. Его нужно догнать.

— Новый ЗИС?

— Да.

— Это нам не под силу. Мотор старенький. И вдруг оружие у него. А у нас тоже дети, видишь.

— Поезжайте тогда. Я не могу в Ригу. Меня ждут дети. Ждёт муж.

Проводив машину, Мария перепеленала косынкой дочурку, мокрую пеленку повязала на плечи, чтобы подсушить, и пошла по обочине к дому, не думая, осилит ли почти пятьдесят километров.

А Эрземберг тем временем, оставив машину в лесу перед посёлком, пошел, стараясь быть незамеченным, к дому Вилниса Курземниека, чтобы расспросить, что происходит в посёлке.

— Застава ушла вся. Куда — не знаю, — рассказал Вилнис. — Председатель уехал.

— Давно?

— Минуты пятнадцать назад.

— Вот что, иди к машине. Я к Залгалисам. Рассчитаюсь с ними. Потом попробую догнать начальство кооперативное. Тоже поговорю по душам. Объясню им, кто такой Роберт Эрземберг.

Через тыльную калитку вышли они в лес и там разошлись.

— Я скоро. Жди! — предупредил ещё раз Вилниса Эрземберг и широко зашагал между деревьями.

Обогнув лесом посёлок, подошёл к дому Залгалисов. Калитка оказалась открытой. Вошёл во двор, вбежал на крыльцо и толкнул дверь в сенцы. Она с шумом распахнулась. Эрземберг постоял немного, привыкая к полумраку, потом постучал в обитую войлоком дверь. Хотел открыть, не дожидаясь ответа, но она оказалась запертой изнутри. Постучал ещё раз, настойчивей.

— Кто? — спросил Гунар.

— Я, Роберт Эрземберг. По поручению Марии Петровны. Она отказалась ехать на грузовике. Говорит, боится, грудной ребёнок. Просила сыновей привезти. С ними оттуда, из роддома, уедет в Ригу.

— Ох ты! — запричитала Паула. — Что ж это такое?! Сейчас, сейчас. Заходи...

— Назад, Паула! Не смей открывать! — властно остановил её Гунар.

— Ты что, Гунар, не веришь латышу?! — раздражённо спросил Эрземберг.

— Никому не верю.

— Открой.

— Уезжай!

— Открой, говорю! — уже не сдерживая себя, крикнул Эрземберг и, выхватив пистолет, патрон за патроном выпустил всю обойму в дверь. Слышал, как жалобно вскрикнула Паула, подумал злобно: «А! Зацепило!» — и, заорав: «Лей свою кровь за русских змеёньшей!», выбежал к машине. Руки его нервно вздрагивали. На молчаливый вопрос Вилниса ответил, криво усмехаясь:

— Заперлись. Кажется, преданной жене красного стрелка всадил я пулю. — Открыл дверцу кабины и, поставив ногу на подножку, сказал повелительно: — Детей начальника изведёшь сам. Немцы придут, дай им знать. Я наведуясь сюда. Помни, что ты сын Раагу, владельца магазина. Тебе вернут его, если заслужишь. Всё. Я спешу. До встречи. Какой она будет, зависит от тебя.

Усаживаясь на сиденье, ругал себя: «Кретин! Хоть бы с женой начальника расправился!»

Над лесом низко пролетели два самолёта с крестами на крыльях. Справа и слева от машины рванулись бомбы.

— Своих зачем же?! — крикнул Эрземберг и, увидев, что самолеты разворачиваются, сорвал с себя рубашку, прыгнул на капот и стал размахивать ею над головой. Самолеты пролетели ещё ниже, взвихрила дорожную пыль пулемётная очередь чуть левее машины, рванула в нескольких десятках метров бомба. Эрземберг скатился на землю и прижался к ней. Самолёты больше не вернулись.

— Слава богу, — проговорил облегчённо Эрземберг и торопливо полез в кабину. Рубашку не надел. Бросил рядом на сиденье. Крикнул прижавшемуся к дереву Вилнису: — До встречи!

— Подожди! — закричал Вилнис и побежал к машине. — Тебе председатель записку оставил. Я совсем забыл. В правлении, у уборщицы. Она должна ждать тебя.

— О, щенок! — выругался Эрземберг и, развернув машину, поехал к правлению.

Там действительно никого, кроме уборщицы, не было. Она подала записку Эрзембергу и торопливо зашаркала домой.

«Выехали раньше, чтобы похлопотать о месте в поезде. Тебя с семьёй начальника заставы ждём на станции», — прочитал Эрземберг и скрипнул зубами: «Ускользнули и эти! В Ригу скорей! В Ригу! Там будет где развернуться! Я им покажу, на что способен Роберт Эрземберг».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пограничники работали с озлоблённой решительностью, лейтенант Барканов теперь уже никого не поторапливал. Ничего не требовалось больше разьяснять. Только что закончившийся короткий бой, в котором застава потеряла двух человек, убедил бойцов, что действительно началась война, хотя ещё четверть часа назад этому просто не хотелось верить.

Когда заставу подняли в ружьё, пограничники собрались, как обычно, без суеты и уже через минуту были готовы выполнять любую команду, преследовать нарушителей, вести бой с диверсантами, которых последние месяцы стало намного больше, лежать в засаде или секрете, но начальник заставы сказал негромко:

— Война, товарищи! Фашистские войска перешли Государственную границу Советского Союза. Враг захватил Кретингу и Палангу. Сухопутные заставы ведут бой. Потери большие. Нам приказано форсированным маршем выдвинуться к Руцаве в распоряжение коменданта. Вопросы?

Все молчали. Переступали с ноги на ногу, поправляли карабины, ставшие почему-то заметно тяжелей. Кто-то спросил, будто цепляясь за последнюю надежду:

— Ученье, что ли?

Андрей ничего не ответил. Помолчав немного, приказал:

— Все боеприпасы взять с собой. Часть — на бричку, часть — в вещмешки. Вторая бричка — продукты и лопаты. Для сбора к выходу — десять минут. Разойдись!

Вернувшись в канцелярию, он позвонил председателю кооператива. Попросил эвакуировать жену и детей. Проститься с Витей и Женей времени не оставалось. Отделённые уже подавали команды: «Приготовиться к построению». Андрей достал из сейфа патроны и документы, запер пустой сейф и по привычке опечатал его. Сел за стол, разгладил для чего-то зелёное сукно, разорвал промокашку, пропитанную чернилами, и бросил её в корзину, стоявшую у стола, и, пристукнув кулаком по столу, решительно встал и направился к выходу.

Во дворе заставы уже стояли в строю пограничники, то и дело поправлявшие скатки. Пароконные брички тоже были нагружены. Солнце поднялось над лесом, но воздух ещё не успел прогреться. Он казался густым от лёгкого тумана, цеплявшегося за ветки, от хмельного запаха хвои и нежного аромата цветов. На живой зелёной изгороди бриллиантами искрились росинки. В лесу, совсем рядом с заставой, ласково посвистывала какая-то птица, а далеко в небе слышался глухой прерывистый рокот. Андрей посмотрел вверх, пытаясь увидеть самолёты, но небо казалось безмятежно чистым. Одернув гимнастёрку и поправив скатку, он скомандовал: «За мной! Не растягиваться!» — и, выведя пограничников на лесную дорогу, побежал.

Через час он сделал короткий привал и с удивлением заметил, что пограничники, которым не раз приходилось преследовать нарушителей по несколько часов без отдыха, — эти привыкшие к большим переходам парни, устало опускались на мягкую хвою и вытирали платками мокрые шеи. Видно, слишком велик и непривычен был груз.

— Скатки — в повозки. Боеприпасов оставить один боекомплект, остальное — в повозки! — скомандовал Андрей и заметил, как повеселели бойцы.

— Противогазы бы ещё снять, тогда хоть сто верст. А, товарищ лейтенант? — спросил один из пограничников.

— Ещё и карабинчик бы. Вот уж тогда... — в тон ему ответил Андрей и громче, чтобы слышали все, приказал: — Побыстрой, люди, ещё две минуты и — вперёд.

Когда застава прибыла к месту сбора, капитан Хохлачёв приказал Барканову:

— Вот что, Андрей, самый важный участок обороны доверяю тебе. Оседлать дорогу у опушки леса. По ней фашисты наступают. Направление Руцава, Лиепая. К Руцаве фашисты могут подойти примерно к семнадцати часам. В твоём распоряжении более шести часов. Зарывайся. Но учти, разведка может появиться раньше. Прими меры. Остальные заставы будут справа и слева от тебя. Они вот-вот подойдут. Резерв — на окраине Руцавы. Пункт боеприпасов и медпункт — в комендатуре. Штаб отряда — на месте. Если нет вопросов, действуй.

— Ясно, — ответил Барканов. — Разрешите выполнять?

— Выполняй. Да, скажи, как семья?

— Дети у Залгалисов. За Марией председатель правления послал машину. Новую, Эрземберга.

— Эрземберга?!

— Я ему тоже советовал другую, но он говорит, что та может сломаться дорогой. Он верит Эрзембергу.

— Верит, говоришь. Ну, ладно. Возможно, что всё будет в порядке... — И добавил уже другим тоном: —

Обороняться приказано нам вместе с батальоном шестьдесят седьмой дивизии. Он скоро подойдет. Ну, ни пуха тебе, Андрей Герасимович!

Оставшийся лесной километр прошли быстро. У опушки остановились, и, пока составляли в козлы оружие и разбирали лопаты, Барканов изучал местность. Перед лесом — луг. Трава — в пояс. Почти посредине луга — неглубокий овраг с крутыми берегами. За лугом — пшеничное поле, а вдали, километрах в двух, — большая каменная усадьба. Мимо неё проходит дорога, тянется тёмной полосой по пшеничному полю, по лугу, ныряет в овраг и подходит к лесу.

У Барканова возник такой план. Открыть окопы, как и приказано, у опушки, но вместе с тем подготовить оборонительный рубеж и на скате оврага. К видневшейся впереди усадьбе выслать часа через два засаду, чтобы она встречала и уничтожала мелкие разведывательные группы врага, а при появлении его главных сил отошла бы, не ввязываясь в бой, через оборонительную линию заставы на скате оврага к опушке леса, чтобы ввести в заблуждение противника.

— Командиров отделений ко мне! — крикнул Андрей и, дождавшись всех, объяснил свой замысел.

Переходя от отделения к отделению, Андрей советовал, как лучше оборудовать площадку для пулемёта, как рыть ниши для патронов и гранат, сам брал лопату, поторапливал, и работа спорилась. Скоро уже можно было переводить заставу в овраг, оставив здесь лишь по одному человеку от отделения. Пора и засаду высылать. Барканов позвал старшину, чтобы проинструктировать, как действовать в засаде, но в это время наблюдатель доложил:

— Товарищ лейтенант, на дороге шесть фашистских мотоциклов. Двигаются от усадьбы в нашем направлении.

— Отходить в лес! Всё взять с собой! — крикнул Андрей.

Он решил пропустить мотоциклистов в лес и там уничтожить. Ни одного не выпустить.

— За мной! Бегом!

Оставил большую часть заставы в ельнике, густо сдавившем дорогу. Знал, что главная тяжесть боя ляжет на них: враг примет все меры, чтобы вырваться из кольца. Остальных солдат разместил вдоль дороги. Через несколько секунд пограничники растворились в лесу. Маскироваться они умели.

Треск мотоциклов приближался и вот уже гулко рассыпался по лесу. У окопов приглож на минуту, затем снова набрал силу. Всё шло, как и рассчитывал лейтенант: немцев удивили брошенные окопы, но не остановили. Теперь, правда, они двигались медленней, с большим интервалом. Но и это предусмотрел Барканов. Застава была растянута вдоль дороги так, что дозор, держи он любой интервал, все равно весь окажется в мешке.

Не спеша, словно на ощупь, движутся мотоциклы, настороженно смотрят в лес стволы автоматов и пулемётов. Вот уже последний мотоцикл проехал ельник, в котором замаскировались пограничники. Пора. Лейтенант крикнул: «Огонь!» — и бросил гранату. Она ещё не успела взорваться, а из лесу затрещали меткие выстрелы, и в ответ заторопились, захлёбываясь, немецкие автоматы и пулемёты, полетели гранаты. Мотоциклы, кроме первого, искалеченного гранатой, вздыбились, как по команде, и, круто развернувшись, начали набирать скорость. Из люлек фашисты беспрерывно стреляли. Казалось, что несколько мотоциклов всё же вырвутся, но, вот один, за ним второй, третий, свернув с дороги, уткнулись в деревья и затихли. Чья-то меткая граната угодила под один из мотоциклов, он взорвался и загородил дорогу остальным. Торопливо, взхлёб проговорил автомат, ему ответили карабины сухими щелчками, и всё смолкло. Тишина наступила неожиданно, до звона в ушах. И тут издали донесся залиvistый голос соловья. Андрей поднялся, вышел на дорогу, привычно одернул гимнастёрку и крикнул:

— Застава! Ко мне!

Пограничники выбирались из укрытий и бежали к своему командиру. Лишь в двух местах произошла заминка: красноармейцы выносили из ельника убитых товарищей и бережно укладывали на мягкую хвою у дороги. Барканов скомандовал старшине: «Стройте заставу!» — а сам поспешил к убитым. Снял фуражку, склонил голову.

Подошёл и остановился строй. Красноармейцы без команды сняли фуражки. Ждали, что скажет командир. Он повернулся к строю и, вздохнув, сказал:

— По одному человеку от отделений останется похоронить товарищей. Прощальный салют дадим по врагу! В засаду — двенадцать добровольцев на исправных мотоциклах. Взять немецкие автоматы. Для ближнего боя сгодятся.

Отправив засаду к усадьбе, Андрей вывел заставу к оврагу и, указав огневые позиции отделениям, тоже взялся за лопату. Работал без остановки, и пот, поначалу задерживавшийся в густых бровях, начал пробиваться через них и щипать глаза. Андрей вытирал рукавом лицо и продолжал копать.

К опушке, подковой охватившей луг за оврагом, стали подходить справа и слева соседние заставы, и Барканов начал согласовывать с соседями систему огня на флангах. Затем пришлось показать инженерному взводу, где лучше установить противотанковые и противопехотные мины, где оставить проходы для возвращения засады. Когда же, как казалось Андрею, всё было согласовано и утрясено, он вновь взялся за лопату, но тут же услышал:

— Товарищ лейтенант, машина коменданта.

Пошёл встречать. Хотел было подать команду: «Смирно!» — как положено поступать на ученьях, но передумал. Приложил руку к козырьку фуражки и отрапортовал:

— По вашему приказанию застава готовит оборонительный рубеж.

— Ишь ты, и на опушке отрыл окопы. И здесь успел, хорошее место выбрал.

— Я посчитал, что, если овраг не занять, противник будет здесь накапливать силы для атаки.

— Правильно. Я сюда пару отделений из резерва подброшу. Дотемна тебе тут выстоять нужно. Должен. Потом оставишь пулемёты на обратных скатах, а заставу — на опушку. Имитация отхода. Набьются фашисты в овраг, мы с фланга ударим. И пулемёты — в упор. Кинжальным огнём. Понимаешь, Андрей, что тут произойдёт?!

— Да. Много их здесь уложить можно.

— Вот-вот. А там, глядишь, и армейцы подойдут.

Погоним тогда фашистов. Ох, погоним! — со злорадством сказал Хохлачёв. Обнял лейтенанта.

— Держись, Андрей! Держись!

Повернулся к машине, открыл дверцу и замер: от усадьбы донёсся взрыв гранаты, а вслед за ним заработали автоматы и пулемёты. Бой стих так же неожиданно, как и возник. На дороге никто не появлялся.

— Разведгруппа, — сделал заключение Хохлачёв. — Зарывайся, Андрей Герасимович. Танкам ловушки понаделай. Инженерный взвод пусть у тебя останется. Вот-вот главные силы фашистов могут подойти.

И в самом деле, застава вместе с инженерным взводом и присланной комендантом подмогой ещё только начала маскировать ловушки, а по усадьбе уже ударила фашистская артиллерия, старшина с пограничниками пронёсся на мотоциклах через овраг к лесу. На дорогу у усадьбы выползли три самоходки и принялись обстреливать окопы у опушки.

Трещали изувеченные деревья, звонко ломались сучья, глухо рвались снаряды, расшвыривая мягкую хвою и землю.

Бойцы, занявшие оборону на гребне оврага, притихли. Андрей же думал с удовлетворением: «Хорошо. Ключнули». Но угнетало его то, что нечем было подавить огонь артиллерии фашистов, размеренно и прицельно стрелявшей по опушке.

«По снаряду бы в бок этим самоходкам! Завертелись бы!»

Но никакой артиллерии у пограничников не имелось, а о стрелковом батальоне пока ничего не было слышно. Оставалось одно: ждать. Ждать, когда самоходки подойдут на расстояние броска связки гранат.

Самоходки примолкли, посторонились, пропуская танки, и снова начали бить по опушке. А танковая колонна змеей поползла от усадьбы.

«Шесть, семь, восемь...» — считал лейтенант. Крикнул во весь голос:

— Приготовить связки гранат! — и снова продолжал считать.

Головной танк притормозил, звучно выплюнул в лес снаряд — и колонна начала веером расползаться по лугу, наполняя воздух грозным рыком. Но вот в этот рык вмешался другой звук — монотонный, мощный. Он доносился сверху и стремительно приближался.

— Воздух!

И тут же, вслед за этой тревожной командой, взметнулось радостное:

— Наши! Ура!

Летели пограничные самолёты. Их нельзя было не узнать: металлические, необычно стройные для того времени, они совсем недавно поступили на вооружение авиаэскадрильи и сразу стали гордостью пограничников. Когда самолёты поднимались в воздух нести патрульную службу над морем и по берегу, бойцы махали им фуражками. А Женя и Витя всякий раз прыгали и восторженно кричали невесть где услышанную считалку: «Самолёт, самолёт, посади меня в полёт...»

«Где они, сынки мои? Как Маня с Галинкой? — снова — в какой раз — вспомнил Андрей о семье, и тревогой наполнилось сердце. Но попытался успокоить себя: — В Риге уже должны быть».

Самолёты словно выбрали специально время для атаки, потому что танки, начавшие развёртываться из походной колонны для атаки, образовали плотный треугольник и стали хорошей мишенью. Первые бомбы почти все попали в цель. В бинокль было видно, как вспыхнули несколько танков, загорелись, а один остановился с перебитой гусеницей, расстелив её узкой дорожкой по густой траве. Неповреждённые танки, грызя траву зубьями траков, расшвыривая комья земли, рванулись вперёд. Второй заход с воздуха оказался уже менее удачным: остановились, загорелись только два танка. Ещё два танка задымили на лугу после третьего захода. На заставу теперь двигались шесть танков.

— Не демаскировать себя! — крикнул Андрей. — Танки пропустить, потом — гранатами!

Он рассчитал, что если танкисты не заметят обороны заставы, то не снизят скорости перед неглубоким оврагом и попадут в ловушки, и расчёт его оправдался: два первых танка ухнули в глубокие ямы, заложенные жердями и дерном. Один, двигавшийся по дороге, подорвался на mine, три оставшихся танка поползли, отстреливаясь, назад.

Первый бой выигран. Лейтенант теперь видел, как приободрились красноармейцы, слышал, с каким восторгом говорили они о лётчиках, мастерски разгромивших вражескую колонну; пограничники поочерёдно подходили к танкам, попавшим в западню и беспомощно уткнувшимся длинными стволами в землю, и довольно похлопывали по их маслянистой жёсткой броне. Андрей и сам было хотел подойти к танкам, но увидел, что из-за усадьбы неспешно выехали тупорылые грузовики с пехотой. Грузовики, как и танки, начали перестраиваться в линию, а когда до оврага оставалось метров четыреста, пехотинцы высыпались из кузовов и торопливой цепью начали приближаться к заставе. Развернулись и отступившие танки.

— Без команды не стрелять. Танки пропустить. Пехоту отсекай, — распорядился Андрей, и его команда быстро передавалась по окопам.

Немецкая цепь приближалась, оставляя за собой густые смятые полосы, будто луг прочёсывали огромным частым гребнем. Лейтенант ждал. Он испытывал такое же чувство, как и на охоте: хочется вскинуть ружье, но терпишь, подпускаешь табунок уток поближе, чтобы

различить лапки, иначе выстрел прозвучит бесполезно. Андрей, сжимая автомат, не спускал глаз с высокого худого офицера и ждал, когда станут видны его пальцы.

«Пора!» — подумал Андрей, навёл автомат на длинного немца, но, прежде чем он нажал на спусковой крючок, высокий немец крикнул что-то, и цепь фашистов упала как скошенная в траву и исчезла в ней. Стремительно приближались лишь танки. Всё это было так неожиданно, что Андрей растерялся. Он смотрел на пустынный луг с торчавшими поодаль машинами, похожими на старые осевшие копны сена, и не знал, какую команду подать, хотя чувствовал, что люди ждут его слова, его решения. Он винил себя в том, что бой теперь может быть проигран; по безмолвию, наступившему в окопах, он определил, что никто не ожидал такого начала, — Андрей понимал, что только его команда выведет заставу из оцепенения, и торопился найти решение.

Полоски примятой травы приближались. Можно было определить, где ползут гитлеровцы, а раз можно, значит, нужно бить их.

— Огонь!

Дружно ударили пулемёты и карабины в промежутки между танками.

А танки, стреляя по оврагу из орудий и пулемётов, неудержимо и грозно надвигались, переваливаясь на воронках. Казалось, ничем их не остановишь.

— Связки гранат под гусеницы! — крикнул Андрей и сам бросил связку. Танк загорелся. Второй, на правом фланге, ткнулся носом в ловушку, и только одному танку удалось спуститься в овраг. Развернувшись, он пополз было по оврагу, стреляя из пулемёта, но тут же в него полетели несколько связок гранат.

— Гранатами по пехоте! — крикнул Андрей, хотя пограничники уже сами встречали гитлеровцев гранатами, и вздрагивала земля, бутрилась черно-зелёными фонтанами.

Андрей вновь обрёл уверенность, ту, которая выработалась ещё на Памире, в стычках с басмачами; он видел, что атака фашистов уже захлебнулась, но понимал, что окончательно переломить ход боя в свою пользу можно только решительными действиями, только контратакой.

— Вперёд! За мной! — крикнул он, как кричал десятки раз, поднимая пограничников навстречу басмаческим бандам, и выпрыгнул из окопа. Выстрелил в немца, вскинувшего на него автомат, и побежал вперёд, сминая траву и стреляя в упор.

Вот уже взрыхлённая гранатами полоска земли рядом, оставшиеся в живых фашисты пересекают её и бегут к машинам, кажется, что можно преследовать и добить врага полностью, захватить даже машины, но Андрей заметил, что на кабинах машин появились пулемёты.

«Не стреляют, ждут удобного момента», — метнулась мысль у Андрея, и он крикнул:

— Стой! Ложись! Назад!

Упал сам в траву и пополз к оврагу.

Едва пограничники спустились в овраг и стали перебинтовывать раны, как на них посыпались мины. Вскоре начали рваться снаряды тяжелых гаубиц. В довершение всего над оврагом появились вражеские пикирующие бомбардировщики. Пограничники прижались к стенкам окопов, попрятались за попавшими в ловушку танками, и только два человека (наблюдатель и

лейтенант) не спускали глаз с противника, чтобы вовремя предупредить заставу, если враг вновь начнет атаку.

К усадьбе подошло ещё несколько грузовиков с пехотой. Солдаты сидели в кузовах, ждали, должно быть, когда окончатся бомбежка и обстрел, чтобы беспрепятственно двигаться вперед. И в самом деле, стоило только улететь самолетам, как грузовики, взвывая моторами, покатали по дороге.

«Из орудий бы сейчас, — вновь подумал Андрей. — В морды им! В морды!»

А немцы, уверенные, что в овраге почти никого не осталось, смело ехали походной колонной. Только автоматы и пулемёты держали наготове. Пограничники же в это время спешно переносили пулемёты с флангов к дороге, связывали гранаты.

Прижались к земле бойцы, притихли, чтобы неожиданно ударить по первым машинам. Уже отчётливо был слышен возбуждённый говор солдат, и пограничникам казалось, что начальник заставы медлит зря, но все терпеливо ждали команды. Вот он, как и в лесу, привстал, швырнул под колеса первой машины связку гранат и упал, будто вдавился в землю. Взметнулся мощный взрыв, в него вшлелись вопли, а вслед за этим взрывом прогрехотал второй — такой же мощный: следующая машина наехала на мину.

— Огонь! — крикнул Барканов и начал бить из трофейного автомата по вражеским машинам.

Немцы выпрыгивали из кузовов. Многие падали, не успев укрыться в траве, но с задних машин уже ударили автоматы и пулемёты, а высадившаяся пехота плотной цепью, растекаясь веером по лугу, бежала в атаку.

Всё повторилось: гранаты, выстрелы в упор, рукопашная. Немцы отступили. В овраг полетели снаряды и мины.

«Где же батальон? — прижимаясь к земле, спрашивал у самого себя Андрей, — ещё две такие атаки — и от заставы ничего не останется?»

Лейтенант подумал, что фашисты сразу же повторят атаку, но уже приближалась ночь, а признаков того, что готовится атака, не было.

«В темноте хотят, — решил Андрей. — Что ж, встретим». Сам он останется с пулемётчиками, а заставу отведет на опушку старшина. Знал, что комендант обязательно упрекнёт его потом: «Командовать заставой начальнику положено, а не лихачить. А ты что, Андрей Герасимович?!», но знал и другое: здесь будет очень трудно. А если кто дрогнет, поплатится вся комендатура.

В овраг скатился посыльный от капитана Хохлачёва. Колени, грудь и локти его были густо перепачканы зеленью.

— Товарищ лейтенант, комендант приказал имитировать отход, — доложил посыльный. — Разрешите возвратиться?

— Да. Передайте коменданту: я остаюсь здесь.

Подождав, пока связной выберется из оврага и уползёт в траву, лейтенант созвал командиров отделений и старшину.

— Главное, чтобы враг поверил, — пояснил Барканов, — что мы отступаем. Маскировать отход обязательно. Но с умом, чтобы фашисты увидели, а обмана не заподозрили. Начало отхода через пять минут.

Отход начался дружно. Пограничники быстро поднимались по склону оврага и скрывались в высокой траве; и лишь в нескольких местах мелькнули то ствол пулемёта, то взваленный на спину станок «максима», то карабин, то зелёная фуражка. Немцы заметили и сразу же перенесли миномётный огонь на луг за оврагом.

Перед самой опушкой пограничники вскакивали, бежали в лес, перепрыгивали через окопы. Всё это тоже казалось естественным: люди спешили укрыться за деревьями от мин и снарядов, поэтому у немцев никаких подозрений не возникало.

— Пора, люди! — обратился лейтенант к оставшимся с ним бойцам. — Пошли.

Сам направился к пулемёту, замаскированному рядом с дорогой. Он не сомневался, что немцы начнут наступление сразу, чтобы «на плечах» отступающих ворваться в Руцаву, но понимал и то, что на рожон больше не полезут, осторожно пойдут. Могут послать впереди разведку.

«Пропустим, — думал Барканов. — Не должны нас обнаружить. Не должны. Иначе все планы полетят».

Опасения лейтенанта оказались напрасными. Немцы начали наступление без разведки. Колонна машин рванула по дороге, спустилась в овраг и расползлась по нему вправо и влево. Грузовики глушили моторы, солдаты спрыгивали на землю и, подчиняясь негромким командам, строились.

«Сейчас, сейчас. Пусть от машин отойдут немного, — сдерживал себя Андрей. — Сейчас, сейчас!»

Когда немцы начали подниматься на склон оврага, Андрей нажал на гашетку и увидел, как сразу же упали несколько фашистов, а остальные остановились.

«Что! Опешили!» — злорадно думал Андрей и неторопливо вёл пулемёт по фашистской цепи. Он не слышал, как начали стрелять другие пулемёты, а слева и справа в овраг стремительно ворвалось раскатистое «ура!»; Андрей стрелял и стрелял из «максима», а когда кончилась лента, крикнул второму номеру: «Давай!», передёрнул замок и снова нажал на гашетку. Остановился, когда вдруг увидел бегущих пограничников с карабинами наперевес: Хохлачёв вёл комендатуру в атаку. О точности Хохлачёва ходила поговорка в отряде. И на этот раз комендант не изменил себе.

Ещё несколько минут длился рукопашный бой — и овраг был очищен от немецких солдат.

— Немедленно вывезти грузовики в лес, — приказал Хохлачёв. — Скорей! — И он, тяжело дыша, опустился на траву рядом с Андреем.

Но можно было и не спешить: немцы почему-то не стали обстреливать овраг артиллерией и миномётами. Это удивило и обрадовало пограничников. Хохлачёв приказал восстановить разрушенные огневые позиции, вырыть новые огневые точки для пулемётов.

Перед рассветом работу прекратили и, привалившись к стенкам окопов, расслабились, закурили. Подходила к концу первая военная ночь, минули первые военные сутки.

— Ещё одну-две атаки отобьём, — говорил, затягиваясь папиросным дымом, Хохлачёв, — а там и армейские части подойдут. Возвратимся на заставы. Мария твоя с детьми вернется...

— Верно. Только отчего-то не начинают гады?

— Чем начинать? Вон сколько их вокруг уложено. С духом собираются, не иначе, — уверенно ответил Хохлачёв. Но Андрей возразил:

— А вдруг что другое? Если во фланг выйдут?

— Ты думаешь, где-нибудь легче фашистам? — ответил вопросом на вопрос Хохлачёв и, помолчав немного, добавил: — Ты, Андрей, не паникуй.

Андрей и не паниковал. Он тоже был почти уверен, что части Красной Армии уже идут к границе, что немцы никак не смогут выдержать их стремительного контрудара и уберутся восвояси. Откуда он мог знать, что фронтовые сутки пойдут теперь бесконечной чередой и конца их он так и не увидит. А пока Андрей предполагал, что немцы, возможно, получили данные о подходе наших армейских полков и дивизий и готовятся к обороне, поэтому не обстреливают овраг и не атакуют.

На самом же деле фашисты ночью пробились через оборону соседней комендатуры и вырвались на липайскую дорогу. Хохлачёв и Барканов узнают об этом только через полтора часа, когда прискачет на взмыленной лошади посыльный от начальника отряда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Четвёртый день Мария плелась в колонне таких же грязных, обессиленных от голода людей, ничего не воспринимая, ничего не чувствуя. Она так похудела, что платье болталось на ней, как мешок, надетый на доску. Со вчерашнего вечера во рту её не было ни крошки. Но она не хотела ни есть, ни пить. Ей всё слышался беззвучный крик дочери, обессиленной от голода. Ей виделось дерево, возле которого двое мужчин разгребли руками прелую хвою и трухлявые сосновые шишки, положили в неглубокую ямку мёртвую Галинку и, прикрыв лицо одеяльцем, торопливо засыпали её хвоей. Мария хотела броситься на этот мягкий серый холмик, но мужчины удержали её, а когда конвоиры, два откормленных эсэсовца и несколько айзсаргов, начали прикладами поднимать сидевших в изнеможении женщин и мужчин, кто-то помог подняться и Марии и втиснул её в толпу. Она даже не заметила, кто это сделал, всё время останавливалась, поворачивала голову назад, но мужчины крепко держали её под руки и вели. Молчали. Боялись поплатиться за разговоры жизнью. Да и не думали, что она может понять по-латышски.

Вечером толпу пленных втолкнули в открытый загон для овец. Овец уже давно не было, поэтому толстый слой навоза пересох и затвердел, как камень, но запах, едкий и дурманящий, сохранился.

— Вот и в скотину превратились, — отрешенно проговорила стоявшая возле Марии пожилая женщина с обветренным, в сетке морщин лицом и припухшими в суставах пальцами, какие бывают у рыбаков. — Говорила мужу, не бери землю кулаков. Не послушал. Теперь вот...

— Молчать! — заорал конвоир.

Женщина, тяжело вздохнув, опустилась на жёсткий навоз и дернула за руку Марию, указав ей место рядом с собой.

Мария села, поджав ноги, уткнулась лицом в колени. Она не слышала, как конвоиры приказали троим пленным пойти в усадьбу, стоявшую недалеко, среди зелёных кукурузных и начавших цвести пшеничных полей, и попросить еду.

— Мы будем ужинать! — грубо пробасил один из конвоиров. — Всё, что после нас останется, делите на... трудодни! — Он раскатисто рассмеялся, довольный своей шуткой, потом снова грубо бросил: — Если кто не вернётся, расстреляем всех. Всю коммунию!

Мария не видела, как ото всех усадеб, кроме одной, самой большой, потянулись к овечьему загону крестьяне с мешками и ведрами, а из большой усадьбы выехала подвода и остановилась на краю поля, на котором тянулся вверх овёс, оплетённый зелёным горохом; с подводы прыгнул кряжистый сытый мужчина, начал косить по краю поля и бросать в бричку охапки зеленого гороха и овса. Мария не видела ничего этого, сидела, уткнувшись лицом в колени и думала свою горькую думу. Ей то виделся холмик из прелой хвои с трухлявой сосновой шишкой наверху, словно специально туда положенной, то старинный буфет в доме Залгалисов, а возле него сыновей; то она слышала надрывный плач Галинки, то слова Паулы: «Не беспокойся, Мария. Я пригляжу за детьми», то сказанное Андреем с грустью: «Так всё не вовремя». Все, что происходило в овечьем загоне, Мария не воспринимала. Из этого оцепенения вывели её негромкие слова:

— Русской дайте. Русской.

Она почувствовала на своем плече чью-то руку, подняла голову и увидела, что ей подають ломтик хлеба с кусочком домашней колбасы и ведро с несколькими глотками молока на дне. Спазмы сдавили горло, она судорожно глотнула слюну, вдруг наполнившую пересохший рот, взяла хлеб, откусила немного и заплакала. Долго и судорожно всхлипывала и, лишь немного успокоившись, принялась за еду.

Съев хлеб с колбасой и выпив молока, Мария почувствовала нестерпимый голод и обрадовалась, когда к загону подъехала бричка и овёс с горохом полетели через изгородь. Один пучок упал совсем недалеко, Мария хотела подняться, чтобы оторвать стручки от плетей гороха, но снова услышала: «Русской дайте» — и увидела, что из пригоршни в пригоршню передают для нее зелёные пухлые стручки.

— Спасибо, добрые люди! Спасибо, друзья! — порывисто поблагодарила Мария по-латышски, и многие с удивлением на неё посмотрели.

— Ты кто? — спросила пожилая женщина с узловатыми пальцами. — Латышка?

— Нет. Русская. Жена пограничника.

— Тише вы! — оборвал их мужчина. — Услышат...

— Они и так знают, кто мы, — спокойно проговорил бородатый мужчина. — Мы не айзсарги. Пощады всё равно не будет, таись не таись.

Все согласились с этим, но интересоваться Марией перестали. Заговорили о другом: почему их ведут в сторону Риги. Боялись сказать слова: «Рига захвачена» — и отгоняли даже тревожные мысли об этом, хотя все знали, что Рига совсем недалеко. Только Мария, не знавшая местность, не понимала, куда их гонят. Думала она о том, за что арестовали эсэсовцы мирных крестьян и крестьянок, многие из которых наверняка даже не коммунисты? За то, что поддерживали Советскую власть в Латвии и пахали землю, отобранную у мироедов? Хотят запугать народ? Так же, как басмачи пытались зверством держать в страхе и подчинении дехкан? А что из этого вышло? Даже те, кто поначалу поддерживал басмачей, стали бороться с ними. Словом «басмач» матери пугали непослушных детей. Народ зверством не покоришь, не запугаешь. Наоборот, скорее поднимет он голову и возьмётся за оружие. От мала до велика. Так думала Мария, сидевшая на жёстком навозе в овечьем загоне.

Фашисты действительно собирались жестоко расправиться с коммунистами и комсомольцами, со всеми сторонниками Советской власти в Прибалтике. Они намеревались огнём и мечом покорить народ, как покоряли его ещё рыцари-крестоносцы, захватившие прибалтийские земли славян, как солдаты кайзеровской Германии в первую мировую войну; но фашисты знали, что их предкам пришлось убираться с захваченных земель, поэтому они, неся огонь и меч, хотели скрыть свою жестокость. Место для лагеря смерти, который станет известным всему миру под названием Саласпилс, они выбрали в глухом лесу. Сейчас они сгоняли туда толпы советских людей со всех концов захваченной латвийской территории. Им-то и предстояло строить бараки, тянуть колючую проволоку, чтобы потом умереть за этим высоким тройным колючим забором.

Мария тоже была на пороге Саласпилса. Но не перешагнула его. Ночью приткнувшихся друг к другу и спавших чутким сном пленников поднял на ноги приглушённый предсмертный хрип. Те, кто был возле изгороди, разглядели, что какой-то высокий мужчина навалился на конвоира. Не понимая, что происходит, стоявшие у изгороди пленники молчали, а остальные поднимались на носочки и вытягивали шеи, всматриваясь в темноту, тревожно шептали:

— Что? Что случилось?!

А тот большой мужчина, швырнув айзсарга на землю, распрямился и подошёл вплотную к загону. Теперь все увидели, что это командир-пограничник. Многие женщины запричитали и, всхлипывая от радости, потянули к нему руки.

— Спаситель наш! Спаситель!

— Успокойтесь, — негромко сказал по-латышски командир. — Где остальной конвой?

— Андрюша! — вскрикнула Мария и кинулась, расталкивая толпу, к изгороди. — Андрюша!

— Маня, ты? Тише только. Тише. Где конвоиры?

— Вон там, — показала Мария на темневшую недалеко усадьбу. — Туда ушли спать.

— Ясно, — ответил Андрей и, сказав появившемуся рядом с ним сержанту: «Действуйте», обратился к людям, запертым в загоне: — Свободны все. Мужчины, готовые драться, останьтесь. Оружие мы дадим.

А Мария лезла через изгородь к нему, и Андрей поднял её на руки и прижал к себе.

— Какая ты худая!

Он хотел спросить о дочери и сыновьях, но побоялся. Он ждал, что скажет Мария. А она, уткнувшись ему в грудь, пахнущую порохом, пылью, потом и ружейным маслом, подавляла в себе рыдания.

Загон редел. Освобождённые один за другим исчезали в темноте, и только десятка два мужчин столпились на лужайке, ожидая приказа пограничника. А Барканов никак не решался поставить на землю Марию. Ждал, когда она заговорит. В это время подошёл капитан Хохлачёв. Увидев Марию, воскликнул:

— Мария Петровна?! Вы?! Как же так? А дети?

Мария зарыдала. Хохлачёв, смущенно проговорив: «Да, дела», направился к добровольцам. Он предупредил их, что предстоит тяжёлая борьба и кто не готов к ней, может уйти. Тем, кто остался, выдавал оружие, расспрашивая, кто откуда эвакуировался, — делал он все, как положено делать командиру, принимавшему пополнение, но нет-нет да и оглядывался на Андрея и Марию.

Мария всё ещё не могла осмелиться заговорить о детях. Все эти дни она проклинала себя за то, что не послушала Андрея и не уехала к родителям; в гибели сыновей и дочери (она теперь почти не надеялась, что Витя и Женя остались невредимы) винила только себя и сейчас страшилась упрёка мужа. Она была бы рада, сжавшись вот так в комочек, забыться. Но трудно было молчать, и Мария попросила:

— Пусти меня, Андрюша.

А когда он поставил её на землю, опустилась на колени и припала губами к его руке:

— Прости, Андрюша, меня! Нет детей у нас! Нет!

— Ты что, Маня?! — воскликнул Андрей, подхватив её на руки, — Ты что? — прижал её, рыдающую, к груди и попросил: — Успокойся. Расскажи всё, как было.

С трудом подавив рыдание, Мария почти шёпотом рассказала о том, как бросил её на дороге Эрземберг, как шла она, шла долго, пока не обессилела совсем, и тогда её, почти потерявшую

сознание, подобрал грузовик. её накормили, но молоко больше не появлялось. Женщины, ехавшие в кузове, сделали соску из хлебного мякиша и попросили шофера завернуть в какую-нибудь усадьбу за молоком, но достать молока не удалось: машину остановили немцы и айзсарги и приказали вылезать. Водителя, который, ударив фашиста заводной ручкой, пытался скрыться в лесу, застрелили.

— Два дня мучилась Галочка, — всхлипывая, говорила Мария. — Два дня! Похоронили её у дерева, под иголками! — снова зарыдала, но, пересилив себя, продолжила: — А Эрземберг уехал в посёлок. Нет у нас детей, Андрюша! Нет! Я виновата!

У Андрея разрывалось сердце от жалости к обессиленной, исстрадавшейся Марии, с отчаянием думал он о погибших детях своих, был подавлен вот так неожиданно навалившимся горем, по щекам его катились слезы, но в темноте их не было видно, а говорить Андрей заставлял себя как можно спокойней.

— Варвары. По всей стране горе, Маня. — В голосе его появился металл. — Я буду мстить за твои слёзы. За смерть детей! Жестокая будет месть! Ох, жестокая!

— Верно, Андрей! Кровь за кровь! — поддержал капитан Хохлачёв, который, подходя к ним, слышал конец разговора. — Утешать вас, дорогие, не буду. Да и чем утетишь? Одно скажу: мстить будем этим извергам беспощадно.

— В Ригу пробьёмся, уедешь, Маня, к своим. Поживёшь там, пока прогоним фашистов...

— Нет, Андрюша! Я останусь с тобой. Буду убивать фашистов! Я сумею... Сумею... — повторяла она, как во сне.

— Пойдёмте к машинам. Надо соснуть часок, — проговорил хрипло Хохлачёв.

Но ни Мария, ни Андрей так и не уснули, хотя тихо лежали на разостланных шинелях, притворяясь спящими. А как только прозвучала команда «Подъём» — Мария вновь зарыдалась. Андрей обнял её, поцеловал и сказал твёрдо:

— Если, Маня, ты решила бить врагов, зажми нервы в кулак. Договорились?

Она вытерла уголком косынки глаза и лицо и, сдерживая рыдания, пообещала:

— Я постараюсь, Андрюша. Я смогу.

Когда сажались в немецкие грузовики, она уже казалась спокойной. Села в кабину рядом с Андреем и молча стала смотреть на дорогу, которая вначале медленно, потом все быстрее и быстрее побежала навстречу. Автомат Мария держала на коленях.

До рассвета ехали по лесному просёлку, ухабистому, узкому. Двигались медленно — не автострада, — но зато было больше вероятности не встретиться с крупными фашистскими силами.

Едва забрезжил рассвет, машины свернули в лес, подальше от дороги. Остановку Хохлачёв сделал для того, чтобы разведать подходы к реке, до которой, судя по карте, оставалось километра два, выяснить, есть ли мост или брод и нет ли фашистов. От заставы к заставе передали команду Хохлачёва:

— Дозарядить магазины, рожки и ленты патронами, потом — отдыхать.

Взошло солнце, и на смену ночной прохладе пришла жара. Воздух в лесу стал душный, просмоленный. Андрею хотелось развалиться на тёплой хвойной подстилке и лежать, ничего

не замечая вокруг, кроме клочков видневшегося сквозь ветки светлого неба, но он только на минутку позволил себе расслабиться. Поцеловал Марию, которая тоже, казалось, разглядывала клочки неба, сказал ей: «Лежи. Отдыхай. Дорога впереди трудная» — и встал. Стряхнув с брюк и гимнастёрки прилипшие иголки, пошёл к бойцам, которые, плотным кругом уютившись под развесистой сосной, уже заряжали магазины. Андрей тоже сел у дерева рядом с раскрытым цинком, холодно поблёскивающим промасленной латуной гильз, и попросил:

— Давайте и я помогу.

Работал вместе со всеми до тех пор, пока не набили последний магазин, не снарядили последнюю ленту «максима».

— Ну вот и всё, до отказа зарядились, теперь и поспать часок не грех, — с наслаждением потягиваясь, проговорил Андрей, постоял немного, подождал, пока бойцы уберут оставшиеся цинки и улягутся тут же, под сосной, затем направился к Марии.

Она спала. Худая, жалкая. Андрей обессиленно опустился рядом с ней на мягкую хвою и вытер тыльной стороной ладони повлажневшие глаза. Там, под развесистой сосной, он, увлечённый работой, забыл на какое-то время своё горе, теперь же, увидев измождённую Марию, он вновь, как бы заново, почувствовал весь трагизм случившегося, осмысливал всё, что так неожиданно и жестоко навалилось на них. Он думал о детях, которых он, мужчина, отец, не смог уберечь; он пытался понять, отчего приходится отступать и отступать, хотя, и он видел это не раз, так ожесточённо сражались пограничники и бойцы Красной Армии, отступали только по приказу, — каждый раз он надеялся, что это последний оборонительный бой, после которого начнется наступление, но всякий раз следовал приказ об отходе. Война началась непонятно и жестоко. И что их ждет в Риге, куда они получили приказ отходить? Что ждёт через час?

Не знал, да и не мог знать Андрей (несколько дней комендатура не имела связи с отрядом, не встречала ни одного армейского подразделения), что крупные силы фашистов уже блокировали Ригу с севера и северо-запада, чтобы не пропустить отступающие части Красной Армии на помощь обороняющемуся гарнизону, и что комендатуре придётся столкнуться с этими силами.

Едва только пограничники с боем форсировали реку, как попали в окружение. Несколько раз попытались прорвать кольцо то в одном, то в другом месте, но не смогли этого сделать и, загнанные в небольшой лес, весь следующий день отбивали атаки фашистов, а в перерывах между атаками укрывались в воронках от осколков мин и снарядов, задыхаясь в удушливой пороховой гари, которая всё гуще и гуще наполняла безветренный знойный лес.

К концу дня Хохлачёв собрал начальников застав.

— Давайте обсудим положение и решим, что предпринять. Прошу, какие есть мнения?

— Пойдут гитлеровцы ещё в одну атаку, отобьём и — на прорыв. На пятках у врага до их окопов, — высказал свое мнение Андрей.

— Верная мысль, — поддержали Андрея другие начальники застав. Но Хохлачёв не согласился:

— Ночью ударим. Одновременно и в разных направлениях...

Последние слова заглушили треск ломавшихся сучьев и взрыв, взметнувший в нескольких метрах от собравшихся командиров трухлявую хвою, рваные корни и комья сухой земли. Над

головами прижавшихся к земле людей просвистели осколки. Вслед за первым рванул второй снаряд, но уже чуть подальше, потом третий, четвёртый...

— В воронки! — крикнул Хохлачёв и перебежал в первую воронку.

Андрей прыгнул в ту же воронку, остальные начальники застав укрылись в соседних. Взрывы начали уходить вправо.

— Ты, Андрей, за плугом ходил? — спросил вдруг Хохлачёв.

— Нет, — ответил Андрей, удивлённый столь неожиданным вопросом.

— Дух от развороченной земли голову кружит. Вот и тут дышит она. Чувствуешь, землёй пахнет. Даже гарь удушливую одолевает. Вот где силища. её снарядами, а она пахаря зовет. Брось только семя — взрастит.

Хохлачёв взял горсть земли, помял ее, начал сыпать струйкой, будто провеивал. Отряхнул ладонь, встал и проговорил, словно убеждая самого себя:

— За дело пора.

Выбрался из воронки, сел у сосны и достал карту. Подождав, пока подойдут и сядут в кружок начальники застав, начал вместе с ними определять маршруты для каждой заставы и место сбора для комендатуры. Давно уже не было у Хохлачёва ни начальника штаба, ни его помощника: на второй день войны погибли замполит и секретарь комсомольской организации комендатуры; под Лиепайей, прикрывая отход, погиб парторг. Давно уже по одному командиру осталось на заставах, некого было взять в помощники, и Хохлачёву приходилось всё решать самому. Вот и теперь он думал за всех — за начальника штаба, за замполита, за парторга. Сейчас людям нужен был не только приказ, но и добрый совет.

— Я так думаю: ударим от леса, а как только прорвёмся через кольцо окружения, повернём сюда, в сторону шоссе, — Хохлачёв показал на карте направление. — За ним — наше спасение. Бескрайние леса там начинаются. Через них пойдём на Псков. Вопросы? — Подождал немного и сказал тихо: — Встретимся в лесу.

Хохлачёв принялся сворачивать карту, но никто не поднялся. Закуривали молча. Все понимали, что вряд ли удастся им всем снова собраться вот в такой тесный кружок. Каждый бой вырывал кого-то из их рядов. Командиров в комендатуре осталось совсем немного. Кому из них удастся дойти до своих?

Хохлачёв, понимая их состояние, не торопил. Только тогда, когда начальники застав принялись гасить о каблуки окурки, сказал:

— Что ж, друзья, за дело.

Дел-то, собственно, почти никаких. Перебегай между деревьями, когда начинают рваться снаряды, меняй спешно место и вновь набивай остатки патронов в магазины, проверяй (в какой уже раз) оружие своё и трофейное, жди ночи. А день, как назло, тянется бесконечно, уныло, морит застоялой духотой. Першит в горле от пороховой гари, а надрывный кашель болью отдаётся в голове. Выбежать бы из этого леса, подставить вспотевшее лицо свежему ветру, набрать его полную грудь и дышать, дышать... Но нужно ждать ночи. Даже из фляжки воды не глотнешь: «максим» без неё откажет. Только для Марии выделили фляжку, чтобы смачивала она сложенный в несколько слоев бинт и дышала через него. Мария поначалу отказывалась от воды, но, когда Андрей сказал: «Не дело, Маня, отказываться. Нехорошо», согласилась.

Но кончился наконец день. Неспешно, но укутала всё же темень пропитанный зноем и гарью лес. Реже стали рваться снаряды и мины, потом стало совсем тихо. Пограничники ждали команду. А Хохлачёв медлил. Он пошёл к заставе лейтенанта Барканова.

Она была у южной опушки, и вскоре Хохлачёв увидел пограничников, кружком стоявших возле лейтенанта и о чём-то тихо говоривших, а чуть правее их — Марию. Она одиноко стояла возле старой сосны и рядом с толстым стволом казалась жердочкой. Хохлачёв с жалостью смотрел на неё, не решаясь подойти. Наконец повернул к ней. Она не слышала его шагов, стояла неподвижно, с низко опущенной головой, и только руки её гладили ствол автомата.

— Мария, — тихо окликнул её Хохлачёв, подойдя почти вплотную, и поправился: — Мария Петровна, как настроение?

Она посмотрела на коменданта пристально, словно пытаясь разобраться, кто и зачем спрашивает её.

— С людьми нужно, Мария Петровна. Перед боем особенно. Пойдём-ка.

Но к ним подошли Андрей и несколько бойцов.

— Долгонько что-то, товарищ капитан, не начинаем, — обратился к Хохлачёву Жилягин, крепкий разбитной боец из старослужащих. — Ночь-то коротка, что штанишки у подростка. Вот-вот солнце покажется. Что ж, тогда весь день опять будем, как зайчишки, от снарядов бегать?

— Назначь тебя начальником штаба, вот бы развернулся... — пошутил кто-то из пограничников.

— Я дело, а вы... — обиделся Жилягин на остролова. — Чего сам-то мыслишь? Небось рад, что под сосенки упрятался?

— Что ж вы, друзья, ссоритесь. В полночь начнём, — вмешался в разговор Хохлачёв. — Сейчас нельзя. Кто-кто, а ты, Жилягин, изучил тактику врага, не один год на границе провёл. Когда вражеская агентура нарушала границу? Вечером. Или на рассвете. Фашисты считают, что и мы так же поступим. От своей тактики они пляшут. А мы — в полночь. — Помолчав немного, приказал Барканову: — Пошли посыльных к начальникам застав. Прорыв в двадцать четыре ноль-ноль. Я — с твоей заставой.

К полуночи пограничники бесшумно миновали лес и приостановились на опушке. Подождали, когда наступит условленное время, затем бесшумно, как призраки, заскользили через пшеничное поле.

Мария оказалась в центре клина. Впереди Андрей и Хохлачёв, справа и слева — пограничники. Мария не сразу заметила это; она, когда слушала в лесу Хохлачёва, мысленно уже стреляла в немцев длинными очередями, даже представляла, как они падали, и радовалась: «Так вам! Так». Это же ощущение мести владело ею всё время, пока шли к опушке леса, пока ждали начала атаки, — Мария хотела первой ворваться в окопы, но вдруг поняла, что бойцы оберегают её.

«Нет. Не выйдет!» — возмутилась она, прибавила шагу и, догнав Хохлачёва и мужа, вклинилась между ними.

Андрей жестом приказал ей, чтобы она отстала, но Мария в ответ на это пошла ещё быстрее и опередила их. Андрей придержал её за руку, и они пошли рядом.

Справа, где шла соседняя застава, ударили автоматы. И почти сразу же в небо, по-змеиному шипя, поползли ракеты и, брызгая звёздочками, падали вниз, освещая лес, поле перед ним, журавлиный клин пограничников, немецкие окопы перед этим клином.

— Вперёд! — крикнул Хохлачёв и побежал, опередив Марию.

Андрей тоже рванулся, но и его, и Хохлачёва уже обогнали бойцы, охватывая их плотным полукругом; Мария бежала в этом стреляющем, бросающемся гранатами полукруге и даже забыла, что ей нужно стрелять самой; она боялась оступиться в окоп и упасть, отстать от своих, потеряться в этой грохочущей, ослепительно вспыхивающей тьме — она даже не видела, что падали бежавшие рядом парни; она прыгала через окопы, бежала по полю. И только через несколько минут, когда полукруг, теперь не такой большой и плотный, сбавил скорость и начал перестраиваться в клин, углом назад, она поняла, что застава прорвалась через оборону фашистов и теперь те стреляют вдогонку.

Бежали долго, и постепенно сильная усталость налила свинцом ноги и руки Марии, сдавила дыхание, и Мария с большим трудом заставляла себя бежать. Ей казалось, что следующий шаг будет последним, но свинцовые ноги как будто сами топали и топали по густой высокой пшенице, даже не цепляясь за нее.

— Берись за ремень, — приказал ей Андрей. — Крепче хватайся.

Мария вцепилась в ремень. Бежать стало легче. Но через сотню метров дыхание снова перехватило.

«Скорей бы конец! Какой угодно! Упаду сейчас — и будь что будет», — думала Мария, но продолжала бежать.

Впереди всё отчётливей и отчётливей слышался гул машин. Вскоре пограничники подбежали к чаще и растеклись быстро между густыми высокими кустами и деревьями.

— Оставить заслон? — спросил Андрей Хохлачёва, но тот возразил:

— Нет. Задерживаться здесь нельзя.

Шоссе — а оно было уже метрах в двадцати — гудело и лязгало; за деревьями мелькали притушённые пучки света — машины шли вплотную друг к другу без перерыва.

— Ждать будем, пока пройдёт колонна? Как, Андрей Герасимович?

— Придётся. Не полезешь же на рожон.

Они лежали в кустарнике в нескольких метрах от дороги и ждали, когда появится разрыв между колоннами машин и танков, но время неслось, а движение на шоссе не прекращалось. Подползли один за другим связные от застав. Ждут команды. И светать начинает. Дальше оставаться в этой придорожной лесной полоске опасно: днём боя они здесь выдержать не смогут.

— Придётся, Андрей Герасимович, нам нанести первый удар, чтобы остальным заставам облегчить прорыв. Как думаешь?

— Поддерживаю.

— Тогда так, — негромко скомандовал Хохлачёв связным. — Пулемёты первой и второй застав — на правый фланг. Остальные — на левый. Огнем пулемётов и гранатами рассечь колонну и под прикрытием огня идти на прорыв. Начало — взрыв гранаты. Сбор — в лесу.

Все понимали, как важно начать прорыв, пока ещё не совсем рассвело, и приказ Хохлачёва был выполнен уже через десять минут. Значит, пора. Барканов передал по цепи: «Приготовиться!» — подождал, пока бойцы повывёртывают чеки, и, крикнув: «Давай!» — метнул гранату в ползущий по шоссе грузовик.

Горели машины, выпрыгивали из них фашисты и встречали пограничников автоматными очередями, но остановить их не смогли — пограничники, стреляя в упор, пробивали себе путь между машинами. Мария тоже стреляла. Она даже видела, как падали немцы после её очередей; на этот раз она делала всё сознательно, всё замечала, видела Андрея, Хохлачёва, пограничников заставы, бегущих рядом с ней и стрелявших почти без остановок. Потом, когда она станет вспоминать этот прорыв через шоссе, то её память будет воспроизводить все детали этого короткого броска сквозь плотную вражескую стену; через многие годы она пронесёт в памяти эти злые лица дорогих сердцу парней, ей по ночам будет слышаться их тяжёлое дыхание, хлёсткие удары прикладов о каски — она никогда не сможет забыть того, что пережила сейчас.

Вслед за Хохлачёвым Мария перепрыгнула через кювет, пробежала несколько метров и вдруг почувствовала, что Андрей, который всё время бежал сбоку, остановился. Она тоже резко остановилась, повернулась к Андрею и удивилась, отчего он стоит неподвижно и смотрит на лес, до которого осталось всего метров десять, а не бежит в этот лес, который укрывает их от вражеских пуль.

— Андрюша?!

Андрей покачнулся, словно дрогнула под ним земля, и медленно осел в густую траву.

— Андрюша-а-а?!

Мария, забыв обо всём на свете, встала перед ним на колени и начала поднимать голову, шепча сквозь слезы:

— Андрюша, родной. Встань! Встань!

Ее подхватил Хохлачёв, она начала было вырываться, но тот прижал её к себе так, что она не могла вздохнуть, и побежал. Несколько бойцов подняли Андрея и понесли его к лесу. На опушке остались четыре пограничника с ручными пулемётами и автоматами, чтобы задержать фашистов и дать возможность унести подальше в лес раненого командира.

Долго бежали по лесу пограничники, Хохлачёв вёл за руку, как ребёнка-несмышлёныша, Марию, остальные, сменяя друг друга, несли Андрея. Бой на опушке постепенно стихал, и вскоре выстрелы смолкли совсем. Значит, погибли боевые товарищи. Нет в живых ещё четырёх героев. А может, догонят?

Впереди — овраг. Заросший, глухой. На дне — хрустальная змейка студёной воды.

— Подождём здесь остальных, — сказал Хохлачёв, выбирая взглядом удобное для спуска место.

Мария кинулась к Андрею, которого солдаты положили на мягкую хвою, и, вскрикнув, упала. Хохлачёв поднял её и вместе с ней начал спускаться в овраг. Там безопасней. В густом кустарнике можно укрыть не только остатки заставы, а целый отряд. Там же можно похоронить и Андрея.

Бойцы уже давно видели, что лейтенант Барканов мертв, но продолжали нести его осторожно, словно боясь причинить боль. А Хохлачёв, выбрав ровную сухую площадку, посадил возле молоденькой сосенки Марию и жестом показал пограничникам место у её ног — они бережно

опустили на землю своего командира и, сняв фуражки, постояли в молчании несколько минут, потом так же молча начали рыть могилу.

— Жилигин, давай наверх. Пост наблюдения, — приказал Хохлачёв.

Жилигин кивнул, отёр о гимнастёрку финку, которой рыл могилу, вставил её в ножны, взял автомат, подошёл к лейтенанту и, опустившись на колени, поцеловал его в лоб. Вздохнул глубоко и сказал, будто обратился к живому:

— Земля вам, товарищ лейтенант, пусть будет пухом.

Мария слышала эти слова и с недоумением думала: «Какой пух? Какой?» Она сквозь пелену слёз смотрела не отрываясь на обветренное, загоревшее, в чёрных ссадинах лицо Андрея, на его густые брови, загнутые вверх, как карнизы буддийских храмов, на непривычную щетину на щеках и на подбородке, словно всё это видела впервые и хотела запомнить навсегда...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Марута Озолис вбежала во двор Залгалисов и остановилась удивлённая: ставни закрыты, на дверях кладовых — замки.

«Уехали? Что ж тогда сени не закрыли? Да и отец говорит, что дома они».

Марута поднялась на крыльцо, решительно перешагнула порог и, немного привыкнув к полумраку узких длинных сеней, постучала пухлым кулачком в дверь.

— Тётя Паула, дядя Гунар, вы дома? Откройте!

Услышала приглушённый говор за дверью и ещё больше удивилась: «Дома, а замкнулись» — и постучала в дверь настойчивей.

— Скорей, дядя Гунар. Откройте!

— Ты одна? — спросил Гунар.

— Вилнис идет сюда. Вилнис и его дружки.

Щёлкнула задвижка, дверь отворилась, и Марута оказалась в тёмной комнате. Лишь через разошедшуюся ставню пробивалась единственная, узенькая, как лезвие ножа, полоска света. Марута стояла у порога, не решаясь сделать шаг вперед.

— Засвети лампу, Паула, — попросил жену Гунар, потом спросил: — Ты бежала?..

— Да, да! От самого магазина. Вилнис там разоряется: это, мол, мой дом. Кричит: пришло мое время, теперь я рассчитаюсь кое с кем за отца. Все, кричит, у меня в ногах ползать будете. А Залгалисы, кричит, в первую очередь поплатятся. Сегодня же изведём детей начальника заставы. Это он штыком ограждал власть голодранцев. Так и сказал. — Марута заплакала и сквозь слёзы причитала: — А он меня сдобной булочкой называл. Он Раагу, а не Курземниек! Пусть теперь только тронет меня — по щекам отстегаю!

— Успокойся, дочка! Я уже не раз видел, как спадают с людей маски. Так всегда, когда Родине тяжело. Враги правды и свободы в такое время всегда звереют. В такое время трудно верить даже тому, с кем делил корку хлеба и последний кусок рыбы...

— Какой уж была Мария, — в тон ему заговорила Паула, — трудно пришлось — детей бросила. Легковую, видишь ли, машину ей подавай, и только...

— Не болтай, Паула, — прервал её Гунар. — Я же тебе говорил: нет в нашем посёлке ничего, кроме грузовиков. Она знала об этом. Да ты что, забыла, какие слова говорил Эрземберг? Над простреленным буфетом кто причитал? Вместе же дырки конопатили. Ясно, Эрземберг приходил, чтобы убить детей.

— А председатель артели тоже выманивать приезжал? Почему ты ему не отдал? Он же хотел их увезти в Ригу.

— Может быть, Паула. Я не могу его ни в чём подозревать, но мы детей взяли у Марии и Андрея, им мы и должны их вернуть. Ты хочешь, чтобы в нас плевали честные люди? Залгалисы никогда не были подлецами.

— Я же не спорю. Мы ни за что детей не выгоним. Но почему Мария всё же не приехала? За ней же послали машину.

— Эрземберга! Эрземберга послали! Как твоя голова это в толк не возьмёт?!

Витя и Женя слушали возбуждённую перепалку Залгалисов, пытаясь понять, о чём они спорят, но Женя, совсем не знавший по-латышски, только видел, что тетя Паула чем-то очень недовольна. Витя же, который знал немного латышских слов, улавливал смысл разговора, понимал, что эта тревога из-за них. Он даже с испугом думал, что сейчас им скажут, чтобы они уходили искать отца и мать. Но где они сейчас? Как их можно найти? Тоскливо сжималось сердце мальчика. Несмело подошёл Витя к Пауле, прижался к ней и, удерживая слёзы, проговорил умоляюще:

— Не выгоняйте нас, тетя Паула. Я буду для вас всё делать: пол подметать, печку топить, дрова рубить...

— Глупый ты, глупый, — ласково ответила Паула уже по-русски и погладила его по головке. — Кто ж вас выгонит?

— Вот что, Виктор! Ты уже не такой маленький. Я в твои годы один выходил в море за рыбой. Ты тоже многое можешь сейчас понять. Нам будет трудно. Очень трудно. Может быть самое худшее. Только запомни одно: Залгалисы никогда не были подлецами. Запомни это. Твёрдо запомни, мальчик!

Женя, слушая Гунара, захныкал и прижался к нему:

— Мы не будем больше кататься на лодке? Да, дядя Гунар? Скажите, не будем?

— Подрастёшь, пойдём ловить рыбу, — ответил Гунар и погладил мальчика по голове, — а пока научу тебя, как вязать сети. Чинить их научу. — И, не отпуская ребёнка с рук, заговорил с Марутой: — Вот что, соседка, давай-ка побыстрее к Юлию Курземниеку. Расскажи ему всё. Только задами иди. Не стоит тебе с Вилнисом встречаться. Беги, дочка. Беги. — Прикрыв за Марутой дверь, сказал жене: — Сегодня, Паула, станет ясно, кому открывать дверь. А сейчас давайте пить чай. Я только в сенях дверь запру.

Гунар вышел в сени и, взяв стоявший в тёмном углу толстый деревянный засов, протолкнул его через железные скобы. Подёргал дверь, проверяя, надёжно ли закрыта, и, пробормотав одобрительно: «Вот так-то верней будет», вернулся в комнату, где Паула уже накрывала на стол. Она старалась казаться спокойной, но движения её были необычно скованны, посуду ставила она осторожно, чтобы не греметь.

— Ты что? Или струсила? Никогда такой не была. Не забывай, Паула, ты ведь жена красного латышского стрелка! Плюгавым ли щенкам запугать нас!

— Они фашистам донесут.

— Они всё могут. Но зачем раньше времени бросать вёсла. Будем грести до конца. Я не верю, что в посёлке не осталось честных рыбаков. Не думаю, что перевелись мужчины. Сегодня мы увидим их на нашем дворе.

— От фашистов никто нас не спасёт...

— Ты что, Паула, мелешь?! — вспыхнул Гунар. — Предлагаешь умыть руки?! Да, если узнают гитлеровцы о детях — нам смерть. Но я лучше умру человеком, чем стану жить подлецом!

— Ты не понял меня, Гунар. Я предлагаю уехать на хутор к моей двоюродной сестре. Там никто не узнает, чьи дети Витя и Женя. Для соседей они будут латышами.

— Не совсем это разумно, Паула, — вновь спокойно заговорил Гунар. — Ребята по-латышски не умеют говорить. Учить их будем. Только по-латышски с ними говорить. Учти и другое: четыре рта прокормить нужно. Или ты думаешь, земли вволю у них будет? А здесь море, как-нибудь перебьёмся.

— Боюсь я, Гунар. Донесёт Вилнис, паршивец этот. Обязательно донесёт.

— Доносить-то пока некому. Не нагрянули ещё фашисты. По главным дорогам прут. Успеем уйти.

— А если не успеем?

— Ну что ты заладила: кар-кар! Давай побежим! Ты со двора, а Вилнис с друзьями у калитки кланяется тебе, шляпу снимает! — Помолчав немного, Гунар, сказал уже более спокойно: — Подождем.

Взяв из рук жены свою большую белую кружку, налитую, как обычно, до краёв, он положил в рот большой кусок сахара и стал отхлёбывать чай, сладко причмокивая.

В дверь громко постучали. Паула вздрогнула, дети съёжились, а Гунар продолжал отхлёбывать чай глоток за глотком, словно ничего не происходило. Только когда увесистый камень ударил по ставне и стекла со звоном посыпались на пол, Гунар поставил кружку и сказал:

— Давайте перенесём стол сюда, к глухой стенке.

Стол переставили, и Гунар вновь взял кружку. Как будто не слышал жалобного звона бьющихся стекол и злобных криков со двора.

— Если хочешь жить, выбрось нам большевистских щенят!

Паула причитала: «О господи! Изверги! Как их земля носит?» — дети жались друг к другу, а Гунар спокойно говорил:

— Кладовые сейчас ломать начнут. Трубу заткнут. Давай-ка, Паула, зальём огонь в плите.

Он встал, не спеша прошагал на кухню. Зачерпнул ковш воды и, сдвинув конфорки, тщательно залил

уже почти догоравшие дрова. В кухне запахло сырыми углями. Гунар поставил конфорки на место, проверил, плотно ли прикрыта дверца, и, подождав немного, пока пар вытянуло в трубу, закрыл заслонку и вернулся к столу.

— Пусть теперь бросают в трубу что хотят. Вынем над заслонкой кирпич-другой и вычистим. Не как тот раз...

И осёкся. Посмотрел на Паулу, совсем притихшую. Ругнул себя: «Дёрнул чёрт за язык!» — и почесал затылок.

Они старались не вспоминать первую их брачную ночь. Гостей на свадьбе не было. Родные Паулы отказались переступить порог «красного безбожника», подруги побоялись, рыбакам вдруг приспичило обязательно идти в море, только Юлий Курземниек, боевой товарищ Гунара, оказался свободным и пришёл на свадебный ужин. Весь вечер мужчины вспоминали о боях за Ригу в первую мировую войну, об обороне укреплений у Икшиле, которые латышские стрелки окрестили Островом Смерти, где от осколка снаряда погиб брат Юлия. Они вспоминали о листовках, ходивших тогда по рукам: «Только рабочие и крестьяне — братья друг другу»; вспоминали о первых братаниях с немецкими солдатами и первых расстрелах

революционеров, о митингах и демонстрациях. Но больше всего говорили о бое у Спендияровки, где окружённые красные латышские стрелки, сомкнув ряды, отбивали атаки белогвардейских кавалерийских сотен и броневиков. Тот бой ещё крепче сдружил Гунара и Юлия. Увлечённые воспоминаниями, они не слышали, как кто-то забрался на крышу, и только когда в трубу полетели один за другим кирпичи и из кухни пополз по комнатам едкий дым, а вслед за этим булыжник разворотил оконную раму, они поняли, что кому-то не хочется, чтобы красный латышский стрелок жил так, как живут все люди. Они поняли: первая брачная ночь испорчена. И только ли она? Хотя и не опускал голову Гунар Залгалис, а Паула на насмешки бывших подружек отвечала презрением, они жили в постоянном напряжении: то вдруг обнаружат в море порезанные сети, то увидят пробоину в лодке, то камень влетит через окно в комнату. Знали они: всё это дело рук Раагу. Но кому пойдешь жаловаться на владельца магазина? Многие рыбаки за стаканом вина ворчали недовольно: «Чего честной семье жить не дают», но открыто за Гунара с Паулой не вступались.

А как теперь будет? Останутся ли они в одиночестве? Гунар ждал, что Юлий Курземниек, если Марута известила его, придёт обязательно; надеялся и на то, что поспешат на помощь и другие рыбаки, которые не могли растерять так быстро то, что приобрели за год Советской власти: право быть свободным, право уважать себя. Гунар верил, что не останутся они, Залгалисы, одни, и всё время прислушивался, не зазвучит ли во дворе зычный голос старого Курземниека. Но со двора доносился лишь треск ломаемых досок и злобные выкрики: «Большевистский прихвостень! Вот тебе! Вот тебе! Вот!» Потом через щели в ставнях в дом начал пробиваться едкий дым.

— Сети жгут, Гунар! Сети! Как мы без них теперь? А?! — застонала Паула.

— Если рыбаки не поспешат, нам сети вряд ли будут нужны, — ответил со вздохом Гунар. «Спасать сети нужно! Спасать!» — думал он, из-за стола, однако, не поднимался. Если бы не было детей начальника заставы, он не усидел бы в доме и, как тогда, в тот свадебный вечер, выскочил бы во двор. Тогда пакостники убежали в ночной лес, теперь же эти разбушевавшиеся молодчики не побегут, кинутся на него, Гунара, и вряд ли он одолеет их. Гунар даже представил себе, как ворвутся они в дом, оттолкнут Паулу и, схватив Виктора и Женю, станут избивать их. Нет, этого он допустить не мог, не имел права рисковать, поэтому продолжал сидеть и пить чай.

— А ну, подсади! — донёсся со двора повелительный голос Вилниса, и вскоре стало слышно, как он, ломая черепицу, двинулся по крыше к трубе.

— Ну вот, теперь всё! — простонала Паула.

В доме стало особенно тихо. Никто не шевелился, все затаили дыхание. И, словно разрывая эту оцепенелую тишину, рывкнул во дворе Юлий Курземниек:

— А ну вниз, сатанинский выкормыш!

Гунар вскочил, опрокинул стул, кинулся к двери, торопливо откинул крючок, выскочил в сени и начал так же торопливо вытаскивать засов. Предполагая, что, возможно, Юлий пришёл один и дружки Вилниса сейчас кинутся на него и начнут избивать, Гунар спешил на помощь другу, но когда вытянул наконец засов и, не выпуская его из рук, шагнул на крыльцо, то остановился обрадованный: дюжина рыбаков с кусками якорных цепей и вёслами в руках сжимала кольцо вокруг парней, сбившихся в кучу возле дымившегося костра. Сила и уверенность чувствовались в медленных движениях молчаливых рыбаков. А парни, в перепачканных белых шерстяных чулках и чёрных рубашках, с засученными рукавами, ссутулившиеся,

испуганно и зло смотрели слезившимися от дыма глазами на приближавшихся рыбаков. Дым от догоравших сетей, казалось, безразлично проползал между ними.

«Пакостники трусливые», — с презрением подумал о них Гунар и, повернув голову к стоявшему рядом с крыльцом Юлию Курземниеку, сказал негромко:

— Ты всегда вовремя ко мне на помощь приходишь.

Юлий Курземниек будто не слышал слов друга, он, казалось, даже не видел Гунара, стоял и зло смотрел на племянника, который нехотя спускался с крыши дома.

— Живей слазь, кому говорю! — крикнул Юлий. — Живей!

Вилнис спрыгнул на землю, и Юлий Курземниек тяжело двинулся на него. Сжатые кулаки Юлия, казалось, оттягивали руки, словно пудовые гири.

Ткнувшись спиной в стену, Вилнис остановился. Юлий подошёл почти вплотную: стоило бы теперь ему взмахнуть кулаками-гирями — и племянник его влип бы в стенку.

— Ты знаешь, кто убил твоего отца?! — сурово спросил старый Курземниек.

— Вы убили его! От вас он бежал в море, когда хороший хозяин собаку из дому не выгонит! — надрывно крикнул Вилнис. — Вы убили Раагу и отобрали магазин. Теперь я верну своё! Возьму. Я не Курземниек, я — Раагу! Не тот родитель, кто родит, а тот, кто вырастил и воспитал! Вы убили моего отца! Вы! Вы!

— Замолчи, выкормыш сатаны! — рявкнул Юлий и, схватив племянника за грудь, приподнял его и придавил к стенке. — Замолчи! Ты отрёкся от своего родного отца, защищавшего Родину от поработителей. Пусть будет так — ты Раагу, немецкий лизоблюд! Что ты хочешь?! Чтобы немцы, рабами которых латыши были многие века и всё время лили кровь за свободу, — чтобы теперь немцы фашистской Германии сделали из нас своих послушных слуг?! Ты этого хочешь?! Не будет такого. Запомни: не будет! И заруби себе на носу, крепко заруби: если с Гунаром и Паулой Залгилисами и их детьми, да-да, теперь русские мальчики — их дети, что-либо случится, ты будешь иметь дело с нами. — Юлий кивнул в сторону рыбаков, плотно стоявших вокруг перепуганных парней. — Со мной будешь иметь дело! С братом твоего отца, убитого немцами на Острове Смерти! Иди.

Юлий отшвырнул Вилниса и вытер руки о штаны, облеплённые рыбьей чешуей. Рыбаки расступились, кто-то прикрикнул: «Вон отсюда, пока живы!» — и парни затрусили к калитке. Рыбаки, кто достав трубки, кто скрутив козы ножки, закурили. От костра, в котором дотлевали сети, не отходили. Арнольд Озолис, такой же невысокий и пухлый, как и его дочь Марута, сказал со вздохом:

— Опоздали. Рыбак без сетей...

— Вздохами не поможешь, — прервал его подошедший к костру Юлий Курземниек. — Если бы не твоя дочь, поклон ей низкий от всех честных рыбаков, сучье отродье это могло и дом спалить.

— Так-то оно так, — подтвердил Озолис, — только я говорю: как рыбаку без сетей? Кооператива теперь не будет. Всяк по себе теперь, как прежде. С нуждой мыкается.

— Не те слова говоришь, не те, Арнольд Озолис, — вновь прервал его Юлий Курземниек. — Раньше мы с Гунаром всё больше одни с Раагу и его холуями бились, а теперь — вот сколько

нас. А кооператив? Отчего же ему не быть? Все, кто пожелают, останутся членами кооператива. Изберём новое правление...

— А фашисты что скажут? — с усмешкой спросил Янис Портниек, молодой рыбак, тоже сосед Гунара. Оглядел всех, словно изучая, какое впечатление произвели его слова, потом сам же ответил: — Выведут в дюны и — пулю в лоб.

— Пуля для тебя и так припасена. Узнают фашисты, что ты детей коммунистов защищал, в ножки тебе, думаешь, кланяться станут?

— Сравнил одно с другим.

— За что бы ни получать пулю, она ведь всё равно — пуля.

Гунар слушал незлобивую перебранку рыбаков, но не вдумывался в смысл спора: он то смотрел на дотлевающие сети, то переводил взгляд на сорванные с петель и разбитые двери кладовых, на пробитые стены, на мелкие щепки, оставшиеся от досок, которые он долго и тщательно (чтобы не было ни одного сучка) собирал для своей новой лодки, — Гунар смотрел на разрушенное хозяйство и думал: «Как жить дальше? Детей же кормить нужно».

А у костра словно подслушали его мысли. Арнольд Озолис остановил спорщиков:

— Довольно вам в пустой воде невод таскать. Кому что суждено, тот своё и получит. А вот как человеку жить, Гунару как теперь с детьми, давайте об этом подумаем.

— Я смотрю, сосед, — усмехнулся Янис Портниек, — голова-то у тебя как пустая мотня. О чём же мы разговоры ведем? О жизни. Как теперь быть?

— Верно, — поддержал Яниса Юлий Курземниек, — о жизни нашей спор. Так я предлагаю: сейчас, прямо здесь, выберем правление. Оно раздаст всё имущество кооператива на сохранение рыбакам. Возьмёт под опеку стариков, чьи дети ушли на войну. Гунару предлагаю выделить безвозмездно сети и новую лодку. Ту, что недавно кооператив купил. Ещё предложение: детей начальника заставы взять под свою защиту. Всем нам. Мы обязаны спасти их. Иначе, как мы станем смотреть в глаза Марии Петровне и Андрею Герасимовичу, когда они вернутся? И потом, мы же люди!

— Верно, Юлий. Верно! — подхватили все рыбаки. — Не смыть нам позора, если не убережём мальчиков.

— Ну вот и хорошо, — проговорил Юлий Курземниек. — Разрешите тогда собрание кооператива считать открытым. Если согласны, поднимите руки.

Паула, которая вышла на крыльцо и слышала конец разговора рыбаков, тоже подняла руку. Слёзы радости, катившиеся по щекам, не вытирала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Осенние сумерки медленно, смешиваясь с туманом, поднимались со дна оврага. Кусты и невысокие сосенки на склонах зябко кутались в белесые мглистые хлопья, задерживая их своими ветками, словно спешили прикрыться серой мутной пеленой от холода, который, чем сумеречней становилось в лесу, тем сильнее входил в свои права. Глубокий сырой овраг будто дышал промозглой сыростью. Мария, давно уже сидевшая у обрыва на полусгнившем пенёке, казалось, не видела ни тумана, который приближался к ней, ни деревьев, ни оврага. Перед её взором стояло лицо Эрземберга, бледное, злое, в ушах её звучал его жестокий выкрик:

« — Нет у тебя детей! Вот этими руками!.. — Эрземберг поднял кулаки. — Вот этими!..»

Хлестко ударили два автомата, Эрземберг ткнулся головой в мягкий мох. Как сквозь сон, Мария услышала приказ Хохлачёва:

« — В болото его, пададь эту!»

И машинально, не думая ни о чём, ничего не чувствуя, пошла сюда, в свой любимый уголок этого глухого безлюдного леса.

Первый раз пришла Мария к этому глубокому оврагу прошлым летом, чтобы посоветоваться, как она потом сказала, с Андреем.

...Когда опускали Андрея в неглубокую могилу, Хохлачёв стоял рядом с ней. Не утешал. Только крепко, до боли, сдавил ей руку. А потом несколько дней после похорон Андрея Хохлачёв не отходил от Марии. Когда брели по лесу на восток, чтобы догнать свои части, шагал всё время рядом, а если попадали в густые заросли сосняка, пробивал для неё дорогу, ломая колючие деревца. При остановках на ночлег сооружал ей шалаш, отбирал мягкие ветки и устилал ими пол шалаша, а сам ложился у входа.

После нескольких неудачных попыток прорваться без боя в псковские леса, чтобы дальше двигаться к фронту, Хохлачёв собрал на лесной поляне пограничников.

« — Есть два выхода из нашего положения, — заговорил он. — Один — пробиваться с боями к своим. Далеко они уже, и мало кто из нас останется в живых. Второй — обосновать здесь партизанский отряд. Земля же наша, советская. Не дадим на ней покоя захватчикам. А через фронт пошлём несколько мелких групп. Хоть одна, да пробьется. Наладим связь с частями Красной Армии. И здесь войдём в контакт с населением, с подпольем советским. Вместе будем бороться с фашистами. Прошу, товарищи бойцы, высказать свое мнение».

У всех мнение одно — фашистов нужно бить. Только вот где? Одни предлагали остаться, чтобы пускать под откос поезда, взрывать мосты, минировать шоссе, собирать разведанные и тем самым помогать фронту; другие утверждали, что место бойцов в строю регулярных войск, а партизанские отряды создадут местные жители, и, значит, нужно пробиваться к своим. Они даже предлагалиделиться на мелкие группы, чтобы легче было незамеченными проскользнуть до линии фронта и через фронт. Но они оказались в меньшинстве.

« — Так, стало быть, поступим, — подвел итог Хохлачёв. — Здесь останемся. Будем бить гитлеровцев и поможем местному населению создавать партизанские отряды».

Повернули на запад, чтобы поближе к Риге найти удобное место в лесной глухомани для главной базы отряда. В пути Хохлачёв всё так же опекал Марию. Она принимала эту заботу безразлично, но иногда ей хотелось побыть одной. Однажды, на привале, она сказала ему:

« — Денис Тимофеевич, вы всё со мной и со мной. Будто у вас других забот нет».

— «Забот вот так! — Хохлачёв рубанул ребром ладони по горлу. — Отряд создавать — не фунт изюму съесть. Легко ли?! Только, Мария, тебе нельзя сейчас одной. Не в том ты настроении. Всё может случиться».

Неприятно стало Марии от этих слов. У неё даже никогда не возникала мысль о самоубийстве, только о мести думала она, хотела как можно скорее пойти на боевое задание, убивать и убивать фашистов и вдруг — такое о ней мнение.

« — Плохо вы меня знаете, Денис Тимофеевич, — с грустью в голосе ответила она. — Меня только фашисты могут убить. Только они. Но прежде... — Она погладила автомат. — Пусть попробуют. Давайте так, Денис Тимофеевич, договоримся, я, как и все члены отряда, ваш боец, готовый выполнить любой приказ. Хорошо?»

« — Хорошо, — ответил Хохлачёв. — Так и буду считать».

Опекать, однако, Марию не перестал. После того как они отыскивали удобное для обороны и наблюдения место, он, указав на край небольшой полянки, укрытой густым старым сосновым лесом, распорядился:

« — Здесь будет штабная землянка, а рядом с ней — землянка для женщин. Ну а пока у нас нет лопат и топоров, соорудим шалаши», — и принялся сам, как обычно, вязать шалаш для Марии.

На следующий день капитан Хохлачёв собрался вместе со Славой Жилигиным и ещё несколькими пограничниками на разведку. Перед уходом заглянул к Марии в шалаш.

« — Не спишь, Мария? Можно к тебе?»

« — Залезайте, — пригласила она и отодвинулась вглубь, освободив ему место.

« — Уходим. С местным населением нужно связь налаживать. Засаду сделаем. Имуществом, оружием и боеприпасами подзапасёмся. Может, рацию раздобудем. Оставить за себя хочу Петра Мушникова. А тебя назначить комиссаром».

« — По плечу ли ноша?»

« — Думаю, да».

Они вылезли из шалаша, и Хохлачёв объявил свое решение всем бойцам, собравшимся на поляне:

« — За меня остается Петр Мушников. Комиссаром отряда назначаю Марию Петровну. До нашего возвращения никаких активных действий не предпринимать».

Мария и Мушников проводили группу разведчиков до болотистого перешейка, который отделял этот охваченный глубоким оврагом глухой закуток от основного лесного массива. У перешейка Хохлачёв пожал им руки и сказал:

« — Если через пять дней не вернёмся — действуйте по обстановке». — Кивнув на прощание, размеренно зашагал по хлюпкой трясине.

Потянулись тягучие дни ожидания. Особенно тягостными для Марии были ночи. Она даже боялась сойти с ума от того, что постоянно ей виделись могилы Андрея и Галинки, а порой даже слышались то надрывный голодный плач дочурки, то восторженный голос Жени: «Дядя Гунар, на лодке меня покатаете?», то суровые слова Андрея: «Я буду мстить! За твои слёзы! За смерть детей! Жестокая будет месть! Ох, жестокая!» Мария сжимала виски, чувствуя, как упруго пульсирует кровь в сдавленных сосудах, и боль немного утихала. С трудом она засыпала и почти тут же вскакивала в холодном поту: сны её были ещё страшней.

Днём она забывалась в работе. Убирала в шалашах, стирала обмундирование пограничников, оставшихся на базе, обжигая руки студёной ключевой водой и до крови обдирая их песком, который заменял ей мыло, а потом штопала высохшие гимнастёрки и брюки, экономя каждую ниточку.

Вечерами, собираясь в кружок, как на деревенской вечерке, вспоминали они предвоенные годы, и Мария так направляла разговор, чтобы ещё и ещё раз каждый из бойцов почувствовал, какое варварство и вероломство совершили фашисты, начав эту войну.

Говорили и о тех, кто ушел в разведку. Ждали их возвращения, чтобы поскорей начать громить тылы фашистских армий. Но подошли к концу пятые сутки, и тогда впервые громко прозвучали тревожные вопросы: «Не случилось ли беды?!», «Что же делать нам?!»

Ответил Мушников:

« — Капитан Хохлачёв приказал нам с Марией Петровной действовать по обстановке, — сделал паузу, как бы подчёркивая этим, что сейчас он должен сказать самое важное, а для этого нужно собраться с мыслями. — А обстановка, как видите, — неясная. Вот мы с Марией Петровной и посоветоваться с вами хотим: как действовать дальше? Наше мнение — выделить ещё одну группу разведки и послать по следу Хохлачёва. Пойдут добровольцы».

На поляне разгорелся спор. Каждый хотел идти в разведку и пытался убедить, что его кандидатура самая лучшая. Были и такие предложения — послать несколько групп. Раздавались, правда, голоса, что следует пробиваться на Псков, а не сидеть здесь сложа руки.

«Нужно решать. Я же комиссар», — думала Мария, слушая спор, но не могла остановить свой выбор на каком-либо из вариантов. Наконец поднялась:

« — Никуда отсюда не уйдем. Завтра пошлём вторую диверсионно-разведывательную группу. Одну. А теперь — спать. Мы с Петром проверим дозоры».

Вернувшись с проверки нарядов, Мария забралась в шалаш, но всю ночь так и не сомкнула глаз. Давила всё та же тоска по детям и мужу, такая, что хоть вой волчицей; тревожила и мысль о том, правильно ли поступила она, приняв решение о посылке только одной группы. Беспокоила и другая мысль: что делать остальным? Просто ждать? Трудно. Неизвестность гнетёт. А безделье — ещё больше. Да, судьба бойцов оказалась в её руках. И Мария растерялась. Она не боялась ответственности за принимаемые решения, в руководстве людьми у неё имелся опыт, но слишком необычной была обстановка.

Едва лишь забрезжил рассвет, она вылезла из шалаша, пересекла поляну и углубилась в сосновую чащу. Она опасалась, что вот-вот вернутся из ночных дозоров пограничники, поднимутся те, кто спит ещё, нужно будет решать, кого послать в разведку, либо снова может возникнуть разговор об уходе на Псков, а у неё не хватит духа так же уверенно, как вечером, высказаться против. Машинально обходила она толстые стволы сосен, густые поросли сосняка и едва не свалилась в овраг — подняла уже ногу над обрывом, но вовремя отпрянула.

Перевела дух и села на старый пенёк, будто специально врытый в землю у самого обрыва между двумя пушистыми сосенками.

Тихий полумрак, смешанный с серым туманом, укрывал и дно оврага, и противоположный берег, и лес за оврагом — сумеречная тишина угнетала и пугала, и мысли Марии были под стать этому туманному полумраку.

Светало быстро. Туман белел и нехотя сползал в овраг. Из-за дальних вершин выглянул краешек солнца, оранжевый, холодный, и вдруг брызнул лучами, раскинул радугу по сосенкам, заискрился в капельках росы; пробудился птичьим многоголосьем лес, весёлым, неугомонным, — Мария забыла на миг свое горе, мысли её стали спокойней, тоска не столь острой. Вскоре она встала и направилась к шалашам, чтобы обсудить с Мушниковым, кого послать в разведку и по какому маршруту. В это время раздались радостные крики:

« — Идут! Все идут! Вещмешки полные. В руках лопаты. Топоры за поясами».

Мария поспешила им навстречу. Радость видела она в глазах Хохлачёва, Жилягина и других бойцов. Хохлачёв говорил возбужденно:

« — Торопились мы, боялись не застать вас...»

« — Мы не собирались уходить», — с улыбкой ответила Мария.

Хохлачёв принялся рассказывать, как удачно они сделали несколько засад километрах в двадцати отсюда, оружие, гранаты и мины спрятали в лесу, километров на тридцать в округе изучили местность, трое лесничих обещали связать отряд с надёжными людьми и наладить снабжение продуктами. Потом пришлось им петлять по лесу, чтобы оторваться от гитлеровцев, на засаду которых наткнулись.

У шалаша, который хотя и пустовал все эти дни, но уже получил название — командирский, Хохлачёв устало снял вещевой мешок и сладко потянулся, словно стряхивая с себя многодневную усталость. Позвал Мушникова, Жилягина и Марию в шалаш:

« — Обговорим план наших дальнейших действий».

Долго они обсуждали кандидатуры связных и их дублёров — дело ответственное, тут нужен боец не только верный, но и смекалистый, мужественный. А когда пришли к общему мнению, Хохлачёв приглашал поочерёдно бойцов и инструктировал их, называл пароли и отправлял к лесникам. Отряду нужны были боеприпасы, мины, гражданская одежда, продукты, отряду нужно было надежное взаимодействие с местным партийным подпольем.

Когда последний связной, получив задание, покинул шалаш, Хохлачёв развалился на душистом сене.

« — Теперь можно и поспать, — с удовольствием проговорил он и попросил Мушникова: — Разбуди часа через три. Начнем обстраиваться и укрепляться. Засечную линию определим, землянкам места наметим».

Чтобы не мешать разведчикам, Мария и Мушников вместе со всеми бойцами отряда ушли подальше от шалаша и начали, как они называли, предварительное обсуждение строительства жилья и оборонительных сооружений. Все были возбуждены, каждый вносил предложения. И Мария хорошо понимала их — неизвестности больше нет, а есть будущее, боевое, горячее.

Сколько раз приходила Мария после того памятного дня в «свой уголок», чтобы забыться в зябкой тишине, уйти в прошлое; сколько молчаливых часов провела она на пенёке в

окружении пушистых сосенок; сколько дум передумала об Андрее и детях, сколько раз виделись ей картины прошлого семейного счастья; сколько раз надежда увидеть сыновей живыми согревала душу. Обычно никто не нарушал её уединения. Отряд от месяца к месяцу все пополнялся и пополнялся добровольцами, и Мария привыкла к этому; она и сегодня ушла сюда, чтобы остаться один на один со своими думами, со своим горем, вновь так больно хлестнувшим ее.

Накануне она ходила с группой партизан к лесничему, чтобы отнести листовки, а взять у него продукты, магнитные мины и узнать, нет ли какого нового задания. С весны сорок второго отряд Хохлачёва наладил связь с большим партизанским отрядом, который действовал в псковских лесах. И вот уже больше полугода через него поддерживали они связь с Большой землей, получали задания, магнитные мины, оружие, обмундирование, и теперь их партизанская борьба приняла более целеустремлённый характер. И на этот раз задание было конкретным: уничтожить в одном из сёл гарнизон фашистов и полицаев. Соседний отряд одновременно совершит такой же налет на другой гарнизон гитлеровцев. Цель этих налётов — обрубить руки гитлеровцам, которые слишком осмелели за последнее время и сделали несколько глубоких вылазок в лес. Того и гляди, обнаружат партизанские базы. Вот и решено опередить их.

Возвратившись от лесничего, Мария рассказала Хохлачёву, Мушникову, который стал начальником штаба отряда, и Жилигину, начальнику разведки, о полученном задании, и они сразу же обсудили план действий. А утром Мария решила собрать ещё и коммунистов, чтобы поговорить и с ними о предстоящей операции. Хотела сделать это в командирской землянке, более просторной. А когда вошла в нее, остановилась изумлённая: у стола сидел Эрземберг и что-то рассказывал. Увидев Марию, вскочил, побледнел как мертвец, но тут же испуг сменился приветливой улыбкой (нашлась спасительная мысль), и Эрземберг шагнул к Марии, протягивая руки:

« — Верно говорят: гора с горой...»

« — Очень верно. Не думал, предатель, что жива я останусь...»

« — Но я же, Мария Петровна, всегда поддерживал Советскую власть, хотя меня вынуждали вредить, — торопливо, боясь, что его не дослушают и, значит, не поймут и не поверят, говорил Эрземберг. — И детишек ваших, Мария Петровна, в целости я до станции доставил, вместе с председателем кооператива... Меня заставляли убивать коммунистов и комсомольцев, но я не мог и не могу. Из Риги вот бежал, чтобы воевать против фашистов...»

« — Нужно понять его, Мария Петровна, — поддержал Эрземберга Хохлачёв. — Он был твоим лучшим учеником. Ты его научила русскому языку...»

« — Он хочет повторить то, что ему удалось в кооперативе! — возмущённо перебила Мария Хохлачёва. — Не пройдёт номер! Одна дорога ему — смерть!»

« — Но я же пожалел вас, Мария Петровна. Это ли не доказательство?»

« — Заблудших прощают, Мария, — вновь вмешался Хохлачёв. — Он готов искупить свою вину. Для того и пришёл к нам!»

« — Я не верю ему. Он — предатель!...»

Эрземберг взметнул руки, чтобы обрушить кулаки на голову Марии и выскочить из землянки (вдруг удастся бежать), но в этот миг Хохлачёв и Жилигин повисли на его руках, заломили их за спину, и Эрземберг, не сопротивляясь, сник. Ухмыльнулся:

« — Всегда меня учили: не жалея врага. Я отступил от этого правила. И вот теперь...»

« — Не меня ты пожалел, — гневно бросила Мария. — Себя! Трус несчастный!»

С ненавистью метнул взгляд Эрземберг, заговорил с вызовом:

« — Приказывай, как у вас говорят, в расход. Будем квиты. Я твоих детей, ты меня... Я несущ крест Перуна!»

« — Мы не решаем, — гневно оборвал его Хохлачёв, — выходи, сволочь! Народ решит твою судьбу. Партизаны решат!»

Обвиняла Мария. Она говорила гневно о том, что в лихую годину для Родины выползают из щелей вот такие скорпионы, копившие до поры до времени яд. Они жестоки. Они опасны. Но конец у них один — презрение народа и смерть от руки его.

Партизанский суд вынес единодушное решение — расстрел. Эрземберга повели к болоту. Он шёл, насвистывая какую-то неизвестную Марии песенку. Поглядывал, казалось, беспечно на высокие сосны, он словно прогуливался по лесу, только пальцы его нервно теребили конец верёвки, которой туго были связаны его руки.

« — Стой!»

Эрземберг вздрогнул, остановился. Ему развязали руки. Он втянул голову в плечи, съёжился. И вдруг востепенулся и выкрикнул злобно:

« — Нет у тебя детей! Вот этими руками!..»

Этот дикий, жестокий выкрик Мария не могла забыть ни на миг. Убитая горем, сидела она на старом пеньке и не замечала, что туман приближался к ней, окутывая её, как и деревья, лохматыми хлопьями. Сырыми, холодными.

«А я-то надеялась. Нет вас, мальчики мои, нет!..»

...Не слышала Мария, как подошёл Хохлачёв. Поежилась, когда он спросил:

— Не замёрзла. Мария?

Только теперь почувствовала, что продрогла. Хохлачёв накинул ей на плечи телогрейку, сел рядом на посывевшую от вечерней росы хвою и проговорил:

— Когда жену мою убили, я тоже места себе не находил. И до сих пор вот... Рубец от раны остался. Жёсткий, чувствительный.

И сам удивился, отчего вдруг заговорил о своей боли. Он шёл сюда с противоречивыми мыслями; он понимал, как тяжело Марии потерять последнюю надежду увидеть своих сыновей, и в то же время он не мог не упрекнуть её в том, что она не поняла его замысла и испортила хорошо начавшуюся игру с вражеским агентом. Он хотел сделать вид, что поверил Эрзембергу, а затем следить за ним, «подбрасывать» ему ложную информацию. А фрицы, считая, что в отряде закрепился их человек, не стали бы больше никого засылать в отряд. Хохлачёв до самого последнего момента не знал, начнёт ли разговор с Марией с упрёка или с утешения. И вот невольно заговорил о себе:

— Врач она у меня была. По сёлам и станицам ездила, а в Даурии сто километров — не расстояние. По несколько дней не возвращалась. Всё больше верхом. На наших лошадях. Я учебным взводом тогда командовал. Название только — учебный. Учиться-то пограничникам всё больше в бою приходилось. Атаманы-недобитки то из тайги набег сделают, то из-за

границы. Не держали пограничники клинки в ножнах подолгу. Не приходилось. Однажды за одним атаманом шёл я со взводом. Налетела банда из тайги, постреляла, пограбила и — снова в лес. День мы за ней двигаемся, второй, ждём, когда успокоятся, решат, что погони нет. Осторожно мы её преследовали. Хоть бандиты и оставляли наблюдателей, да обходили мы их. И дождались своего. Видим: повернула банда к Аргуни, где сёла да заимки. В одной заимке расседлали коней. Как потом узнали, банда часто останавливалась там. Побанились они, грехи, значит, смыли, нахлестались самогонки и часовых даже не выставили. Тут их и накрыли.

Обратно возвращались мы по людным местам.

В избах-читальнях, в красных уголках рассказывали о текущем моменте, о наймитах империализма, которые мешают нам новую жизнь строить, призывали не терять пролетарской бдительности. В одном селе, когда выходили из избы-читальни, слышу, кто-то из тёмного угла пригрозил: «Берегись, паря! Отольётся кровушка!» Только домой приехал, за женой повозка. К роженице зовут. Собрала она нужный инструмент, аптечку взяла, попрощались — и на бричку. А у меня будто кошки по сердцу заскребли. Места себе не нахожу. Успокаивал себя, убеждал, что поездка обычная, но не помогало. Не выдержал, пошёл на конюшню.

Скачем с коноводом по дороге, она гладкая, ровная, как струганая половая доска, а я всё вслушиваюсь, не донесётся ли стук повозки, и на уши лошади поглядываю, не наострит ли. Вот уже километра три проскакали, уж догнать бы пора, если нормально ехала повозка, а её нет и нет. Пришпориваю коня. Ещё с километр отмахали, тут конь мой насторожился, захрапел даже, вправо и уши и морду поворачивает. Осадил я его, спрыгнул — до сих пор не пойму, отчего спрыгнул, а не повернул коня, — и побежал в степь от дороги. Лощинка впереди. Я в неё, а там она. Раздетая, истерзанная.

Коновод подскакал с конём. Говорит: «Успеем нагнать. Прыгайте в седло!» Я на коня, отдал повод и — во весь карьер. Догнали. Три мужика на повозке. Не слышал я даже, что они стреляли в нас. Выхватил клинок и... Трудно вспоминать всё это.

Хохлачёв замолчал. Сорвал сосновую веточку, не чувствуя уколов острых иголок, начал общипывать ее.

— Боже мой! Сколько пережили вы! — воскликнула Мария. Слезы застилали ей глаза.

— На Кавказ после этого перевели меня, — продолжал, вздохнув, Хохлачёв, — потом сюда, в Прибалтику. Тоска, бывало, так скручивала, что места себе не находишь.

Ново и удивительно было для Марии всё, что рассказывал Хохлачёв. Прежде у нее даже и мысли не приходило, что Хохлачёв носит в душе неизлечимую боль. Всегда спокойный, ни видом, ни словом не показывал он своей боли. Часто, когда приезжал на заставу, заходил к ним на чашку чаю, весёлый, приветливый.

« — Хорошо у вас, уютно, — говаривал он. — Прекрасный отдых: за самоваром по-домашнему часок посидеть».

« — Вам бы, Денис Тимофеевич, жену-хозяйку в дом к себе привести», — посоветовала как-то Мария. Хохлачёв отшутился:

« — Наши жёны — шашки наострѣны...»

Теперь только поняла она, что своим советом невольно тогда сделала человеку больно. А он скрыл ту боль. Почему? Боялся, что не поймем его мы с Андреем? Пожалуй. Разве случайна мудрость народная: чужую беду — руками разведу. Трогает чужое горе, слов нет — трогает. Но разве с такой же болью воспринимается оно, как и своё? Ни от кого не хотел Хохлачёв такой жертвы, нёс своё горе в себе, не просил ни у кого жалости. Да и плохой командир, если подчинённые жалеют его. И она, Мария, не вправе в это суровое время вызывать к себе жалость. Она сама призывает не слезами оплакивать гибель боевых товарищей, а свинцовым ливнем.

— Ошибку ты сегодня, Мария, совершила, — заговорил Хохлачёв после паузы. — Не поняла и полезла на рожон. Мы с Эрзембергом игру бы затеяли.

— Поздно уже о нём говорить. Нет изверга. На будущее — урок.

— Урок — это верно. Только никому от этого не легче. Мы с Мушниковым и Жилягиным сразу приняли его игру. Знали же, что враг. А когда врага знаешь, легче с ним бороться. Теперь же жди, кого подсунут. Как поймут, что битва их первая ставка, будут искать новые ходы. Но я хочу сказать тебе: нельзя в нашей святой борьбе чувству личной мести отводить ведущую роль. И ещё не забывай, мы — пограничники. На нас люди равняются.

— Возьму себя в руки, Денис Тимофеевич. Возьму, — ответила она со вздохом. — Вы идите, я ещё немного побуду здесь. Одна.

— Хорошо, — поднимаясь, проговорил Хохлачёв. — Хорошо. Только недолго. Мы с Жилягиным и Мушниковым решили ещё раз обсудить детали боя. Ждём и тебя.

Сегодня в ночь был намечен выход на операцию по уничтожению гарнизона фашистов и полицаев в одном из сёл. Сложная операция. Всё нужно продумать, всё предусмотреть. Командиры долго сидели над картой: Мария тоже была с ними и в свою землянку вернулась, когда до выхода на операцию оставалось совсем немного времени. Собралась она, как обычно быстро. Надела лёгкую телогрейку, немецкие галифе и немецкие сапоги, перекинула вещмешок с боеприпасами и продуктами за плечи, взяла автомат и вышла на поляну, где уже толпились партизаны. Ждали Хохлачёва.

Он вышел подтянутый, по-военному аккуратно сидела на нём телогрейка. Сапоги были начищены, сумки с магазинами и гранатами, казалось, приклеены к бокам, не оттягивают ремень, не висят лишним грузом. Осмотрел всех собравшихся партизан и приказал:

— Попрыгаем. Выше, выше. Ещё, ещё, — и сделал заключение: — Ладно всё пригнано. Можно в путь.

Пошёл по тропе на первый взгляд неторопливо, но ходким шагом, каким обычно ходят мужики и пограничники, не оглядываясь, зная, что отряд вытянется, как всегда, в цепочку и, пройдя через лес до перешейка, зачвакает ритмично по хлопкому болоту, а когда перешеек останется позади, соберётся поплотней и заскользит бесшумно между деревьями вслед за высланными вперёд дозорными.

Ничто не нарушало намеченного плана. За ночь, сделав всего один короткий привал, партизаны добрались до села и остановились на днёвку, укрывшись в глухой балке. А Пётр Мушников, замаскировавшись на опушке, весь день наблюдал за немцами и полицаями. Вернулся поздно вечером и доложил:

— Всё в порядке. Часовые на прежних местах. Снимать будем, как договорились. Вы, товарищ капитан, того, который у школы, я — у склада. Сигнал атаки — взрыв гранаты.

— Вот и прекрасно, — одобрил Хохлачёв. — С собой я возьму...

— Денис Тимофеевич, я пойду, — сказала Мария. — Вот этой гранатой!

— Хорошо. Согласен.

Ещё раз напомнив задачу основной группе партизан, Хохлачёв скомандовал:

— Пошли.

Вначале группы двигались рядом, и Мария видела скользившие в ночном безмолвии справа и слева силуэты, потом силуэты удалились, и в тёмном лесу остались они вдвоем с Хохлачёвым. Мария почувствовала себя одиноко среди этих тёмных, теснившихся друг к другу стволов, она оробела, и её охватила тревога. Безотчётная, сильная. Мария удивилась: не первый раз она в ночном лесу, ходила даже совсем одна, а тут впереди, всего в шаге, — широкая спина Дениса. Мария успокаивала себя, но чувство тревоги так и не проходило и когда они вышли на опушку, и когда, прижимаясь к высоким деревянным заборам, пробирались по улице, и когда ползли, словно кошки к добыче, по бесконечной полянке перед школой, и когда она выдернула чеку из гранаты и, сжимая её, ждала, когда Денис Хохлачёв свалит ударом ножа нахохлившегося часового, и даже когда метнулась к окну, выбила прикладом автомата стекла и кинула гранату. Потом бой захватил её, все мысли Марии были только об одном: не дать опомниться фашистам и занять оборону у окон, не выпустить ни одного из помещения. Она бросала гранаты в окна и поторапливала мысленно партизан:

«Скорей, милые! Скорей!»

Мария думала, что прошло уже много времени, хотя это было не так, просто секунды ей казались длинными минутами. Перебежав к следующему окну, Мария замахнулась автоматом, чтобы выбить раму, но та с треском вылетела сама, и на подоконник перевалился, готовясь выпрыгнуть, немец, в нижней рубашке, с автоматом в правой и гранатой в левой руке. Мария вскинула автомат, и длинная очередь прошла немца. Он обмяк и, переваливаясь через подоконник, начал сползать вниз. Граната выпала из его руки, угрожающе щёлкнул боёк, и, тихо шипя, граната мягко покатилась к ногам Марии. Хохлачёв крикнул: «Ложись!» — и, дернув её за руку, свалил и придавил к земле. Граната рванула, боль пронзила ноги Марии, а Хохлачёв обмяк, потяжелел.

— Денис! — крикнула она, боясь пошевелиться, хотя сама едва не теряла сознание от жгучей боли в ногах.

А к школе со всех сторон уже бежали партизаны, стреляя на ходу по окнам.

Бой затих быстро. Разорвалась последняя граната, прозвучал последний выстрел, и успокоилась ночь. Мария услышала, как кто-то спросил: «А где командир и Мария Петровна?» — и потеряла сознание. Она не слышала, как партизаны, которые нашли их, крикнули, чтобы скорей позвали Петра Мушникова; она не чувствовала, как переносили их с Хохлачёвым в дом напротив школы, как осматривали и бинтовали раны, как положили на носилки, спешно сделанные партизанами. Очнулась Мария в лесу от резкой боли, когда носилки опустили на землю, чтобы немного передохнуть. Боль начала постепенно утихать, и Мария смогла уже спросить Мушникова, который, увидев, что она пришла в сознание, склонился над ней:

— Жив Денис?

— Да, Мария Петровна. Жив. Его понесли, — ответил Петр Мушников. — К соседям. Я уже послал туда, чтобы самолёт вызывали. А с вами не знаю как... Решайте, останетесь или... Денис Тимофеевич плох. Нельзя ему без присмотра.

— Полечу, Петя.

Она понимала Мушникова, его заботу о командире и знала — остаться не сможет, не бросит теперь человека, который был так внимателен к ней после смерти Андрея, который спас ей жизнь. Возможно, ценой своей жизни.

Мария думала о Денисе и не знала, что в её изрешеченных осколками ногам началась гангрена и что уже через день она потеряет сознание, а врачи долго будут бороться за её жизнь. Об этом ей расскажет нянечка, когда Мария придет в сознание, увидит рядом с тумбочкой седую старушку в белом халате, неторопливо вязавшую шерстяные носки, и поймёт, что находится в госпитале. Но и тогда первая её мысль будет о Денисе. Первый вопрос — о нём:

— Скажите, Денис жив?

— Ой, слава богу, ожила, доченька! Побегу врачу скажу!

— Денис жив?

— Партизанский командир, что ли? Жив-то жив, не жилец только, доченька. Не жилец! — ответила старушка со вздохом, сматывая клубок и накалывая его на спицу. — Пойду я, доченька, доктор велел сразу его покликать.

Старушка няня ушла, шаркая стоптанными госпитальными тапочками, а Мария недоумённо спрашивала себя: «Как же не жилец? Жив ведь. Жив!»

Дверь палаты распахнулась, и с радостным возгласом: «Ну вот, молодчина наша!» — к кровати Марии подошёл мужчина средних лет. Он улыбался, глаза его пытливо смотрели на Марию.

— Я верил, что мы выкарабкаемся. Я рад! — говорил он, садясь на стул и беря руку Марии, чтобы послушать пульс. Помолчал сосредоточенно и вновь улыбнулся: — Молодчина. Шрамы только останутся на ногах, но это не беда.

— Няня говорит, что не жилец Денис Хохлачёв. Что с ним?

— Он ваш командир?

— Да.

— С постели он больше не поднимется.

— Я не оставлю его!

— Но он беспомощный совсем.

— Тем более. Нет, не оставлю.

Сказано это было с такой убеждённой, с такой решительностью, что хирург понял: эта женщина стойко перенесет всё, что уготовит ей судьба, будет сиделкой, сестрой, матерью больного. Он поцеловал руку Марии и сказал растроганно:

— Поправляйтесь. У меня мать на Урале в деревне живёт. Она приютит вас.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С неприязнью и тревогой смотрела Паула на Марию. Где же была она раньше, эта Мария? Где?! А теперь, когда Виктор и Женя выжили, выросли, выучились, когда годы смертельной опасности и тяжёлых испытаний остались позади, приехала вот и захочет отнять у неё, старой Паулы. А кто мать им, кто? Да, эта Мария родила их. Но ведь и только.

«Легковую машину, видишь ли, ей не подали! Разве это мать?! Легко небось жилось все эти годы, а как старость подступила — пожаловала. Деток ей подавай. Нет! Не будет этого. Я стала им матерью. Я! С ними я и горе пережила, и радость узнала. Ни с кем своим счастьем не поделюсь. Нет! Нет! Не отдам».

...Забывать уже начала Паула те трудные годы. Спокойная жизнь и почёт пришли в её дом в тот день, когда остановились возле крыльца известные всей Латвии, знакомые по портретам люди и генерал-пограничник вручил ей орден Красной Звезды за спасение детей начальника заставы. Сказали тогда же, что назначена ей персональная пенсия. И попросили, чтобы она согласилась послать Витю и Женю в суворовское училище. Не хотела она их отпускать. Засомневалась, как бы не забыли они обратную дорогу в её дом. Сказала с грустью:

— Дом — полная чаша, когда семья вместе живет. Выходит, мы — не семья?

— Не нужно так говорить, мама. Мы не поедем. Станем рыбаками, как дядя Гунар, — прижался к ней Виктор.

Тогда он впервые назвал её мамой, а вслед за ним повторил это слово и Женя. Она стала гладить их вихрастые головки, и слёзы радости, светлые и сладкие, полились из глаз. Вот как — нет теперь тёти Паулы, а есть мама. Их мама. Вытерла она уголком косынки глаза и, улыбнувшись своей мягкой улыбкой, сказала:

— Хорошо, сынки, поезжайте. Учитесь. Вы будете счастливы, мне тоже счастье.

— Мы возьмем твою фамилию, мама. Мы — одна семья. Мы — Залгалисы, — сказал Виктор.

— Ну вот и ладно, — удовлетворённо проговорил секретарь обкома. Улыбнувшись, добавил: — Согласие в доме — залог счастья.

Согласие в доме Паулы было всегда. Никогда ни в чём она не упрекала ни Виктора, ни Женю, а они, в свою очередь, тянулись к её ласке, как малые телята, и сами были ласковые и послушные. А вот покой? Откуда ему было взяться?..

Хотя и припугнули рыбаки Вилниса и его дружков, а Юлий Курземниек нет-нет да и напомним, бывало, Вилнису о разговоре во дворе Залгалисов, но разве это была надёжная гарантия от предательства? Никто не мог сказать, что может сотворить завтра Вилнис. Тем более что фашисты отдали ему дом приёмного отца, и после этого некоторые рыбаки стали заискивать перед ним, старались угодить Вилнису, готовы были выполнить любое его приказание.

Много раз Паула принималась уговаривать мужа, чтобы отправить детей к её сестре (та жила за Вентспилсом, в лесной усадьбе), и Гунар соглашался с её доводами, но упрямо стоял на своем:

— Научим ребят говорить по-латышски, отвезём. Разве ты знаешь, какие соседи у твоей сестры? Ты же всего один раз у нее гостила. Найдётся, может, и среди них предатель. А там Курземниека не будет рядом. И Озолисов тоже.

— Боюсь, не запугает Вилниса предупреждение рыбаков.

— Вряд ли, — успокаивал её Гунар. — Трус он.

Но и сам Гунар не очень-то верил этому доводу. Как ни просился Виктор в море, чтобы помочь вынимать рыбу из сетей или грести, Гунар никогда не брал его. Отвечал всякий раз:

— Не следует дразнить собак.

И когда гитлеровцы появились в посёлке (наезжали они нечасто, зато уж весь улов в те дни грузили в свои машины бесплатно), Гунар ни слова не говорил, если в доме Паула не зажигала вечером свет, не топила печи, а детей прятала либо на чердаке, либо в погребе. Не сердился, когда она (в какой уже раз) начинала свой обычный для таких вечеров разговор:

— Увезём, Гунар, детей. Чует мое сердце, ни им, ни нам несдобровать.

— Увезём. Обязательно увезем, — соглашался он.

А однажды добавил:

— А пока под спальней нашей давай тайник соорудим.

Он подцепил топором доску у самой кровати, протиснулся в подпол, в дальнем углу вырыл яму, тщательно разровнял землю по всему подполу, устелил дно ямы старыми сетями и позвал мальчиков:

— Давай сюда, гнездо испробуйте, — и, убедившись, что здесь можно сносно устроиться, пояснил: — Вот сюда, если что, забирайтесь и сидите тихо.

Гвозди Гунар обрубил, а к доске с внутренней стороны, чтобы не видно было, когда спрячутся в подпол дети, прибил петельку из сыромятной кожи. Потяни за неё — и поднимется доска. В обычные дни петельку эту от постороннего глаза прикрывал половик.

Тайник этот понадобился очень скоро. Перед вечером в калитку громко и настойчиво постучали. Гунар выглянул в окно — перед домом стоял немецкий патруль. Трое солдат и полицей. Приказал ребятам: «Быстро — в подвал!» — и пошёл, кряхтя и вздыхая, словно немощный старик, открывать калитку. Виктор и Женя торопливо откинули старенький половик, подняли половицу и юркнули в сырую холодную темень, а Паула не могла встать с табуретки, чтобы поплотней закрыть за мальчиками половицу и расправить половик. Встрепенулась, услышав, уже в сенцах, громкий вопрос полицей:

— Пиво, рыбак, есть?!

Она быстро притоптала доску, расправила половик и вышла в комнату. Остановилась посередине, глупо улыбаясь. Не шевельнулась, когда гитлеровцы шумно ввалились в дом.

Один из немцев что-то спросил полицей, подозрительно оглядывая её, до смерти перепуганную, и полицей крикнул сердито:

— Ты большевичка?! Партизанка?! Кого прячешь? Почему боишься немецких солдат?! Они хотят знать!

— Сбегай, Паула, к соседям за пивом, — спокойно перебил полицая Гунар, затем ответил за неё: — Первый раз таких дорогих гостей встречать ей приходится, вот и растерялась.

— То-то, — самодовольно проговорил полицай. — Бойся и уважай — вот какие чувства должны испытывать латыши при виде солдат великой Германии.

— Поторопись, Паула! У господ гостей не очень много времени. Они на службе...

— Ну ты, рыбак, не распоряжайся нашим временем, — недовольно оборвал Гунара полицай.

— А пиво побыстрей давай — это верно.

Паула сейчас как бы вновь переживала тот страх, жуткий, не поддающийся сознанию. Страх за то, что вдруг кто-то из мальчиков кашляет либо чихнет. Она не могла сдержать дрожи в руках, суежилась, подавала на стол и копчёную и жареную рыбу, солёную капусту, огурцы, помидоры — всё это накладывала на тарелки и миски до краёв, чтобы ублажить ненавистных гостей, в душе проклиная их.

«Наливая гостям пива, не жалея», — мысленно просила она Гунара, но тот и так старался. Словно безмерно был он рад гостям.

А гости, покрывая от удовольствия, пили стакан за стаканом хмельное пиво, наливались багрянцем их щёки, пьяно стекленели глаза. Уходить они не спешили. В доме тепло, на улице осенняя сырость и темень.

Просидели до полуночи. Ушли, не сказав даже спасибо.

Гунар вышел за ними, чтобы запереть калитку. И в сенцах дверь заложил на засов. Сел устало к залитому пивом столу, плюнул и проговорил зло:

— Завоеватели! Боровы!

Лишь через четверть часа, убедившись, что «завоеватели» ушли, Гунар поднял половицу и позвал мальчиков:

— Выходите, ребята.

Витя и Женя долго не могли согреться, дрожали, а Женя беспрестанно кашлял. Сердце Паулы сжималось от одной мысли, что вдруг не сдержался бы он и закашлял раньше. Что бы тогда могло спасти их всех?

Так и тянулись дни за днями, полные тревог. Мальчики всё лучше и лучше говорили по-латышски, и на одном из вечерних советов было решено: как окончится осенняя путина, Гунар отвезёт ребят к сестре Паулы. Но так, чтобы никто в посёлке об этом не знал.

Зима подобралась незаметно. Налетела ночью штормовым ветром, жгучим, снежным, завывала в трубе, затрепетала ставнями, выдувая тепло из домов. Потянулись рыбаки к своим лодкам, чтобы вызволить из вздыбившегося моря сети. Знали: надолго заштормило, и море через день-другой так разгневается, что ещё опасней будет идти за сетями. Станешь тогда смотреть с тоской на море и молить, чтобы сжалилось, не растрепало сети, без которых рыбаку — нужда и голод.

Пошёл и Гунар к лодке. Взял с собой и Виктора.

— Пойдём, сынок. Не справлюсь я один с сетью. А оставлять её нельзя — пропадет. Волна не сорвёт, так льдом затянет.

То утро и последовавшие за ним дни Пауле никогда не забыть. Она сама поплотней запахнула на Викторе свою штормовку, опоясала его обрывком сети потуже, чтобы не поддувало, и, поцеловав в лоб, проводила напутствием:

— Удачи тебе на первый выход. Рыбаком тебе стать.

Заперла за ними дверь и пошла на кухню растапливать плиту. Ветер начал немного утихать и уже не завывал в трубе голодным волком, а лишь тоскливо поскрипывал ставнями, будто просился в тепло. Паула неспешно выгребла из плиты золу, разожгла плиту, затем начала чистить картошку, прислушиваясь к ветру и думая о мужчинах, ушедших в море. И вдруг в комнате, а затем в спальне со звоном посыпались стёкла из окон, выходивших на улицу. Ветер засвистел, завихрился по комнатам, наполняя дом леденящим холодом. Паула кинулась к Женику, схватила его, дрожащего от страха, и унесла на кухню, где хотя тоже стало холодно, но не гулял ветер. Потом принесла ему одежду и, поцеловав, сказала:

— Одевайся поскорей. Не бойся. Всё будет хорошо. Дай-ка я тебе пуговицы застегну.

— Дядя Гунар где? Вити тоже нет, да?

— В море ушли они.

Ветер, проникая через дверь на кухню, выдувал тепло, которое шло от плиты. Паула принесла одеяло, и они, укутавшись в него, стали ждать, когда совсем рассветет. Выходить Паула боялась, вдруг, думала, именно этого ждут погромщики. Так и сидели они, дрожа от холода и страха, до тех пор, пока не вернулись Гунар с Виктором.

— Пакостники трусливые, — возмутился Гунар. — Ну-ка, жена, сходи к Озолисам. Скажи, чтобы Юлия позвали. Дома он. Вместе с моря вернулись.

Когда Паула возвратилась от соседей, Гунар заколачивал с улицы окна, плотно подгоняя доску к доске и на стыки накладывая рейки.

— Насовсем, что ли, забиваешь? — спросила она. — В темноте жить будем?

— Не помрём, — ответил Гунар и со злобой вбил в доску гвоздь.

— Обсушился бы, Гунар, мокрый весь. Простудишься.

— Негде обсушиваться. В доме — хоть собак гоняй, — ворчал Гунар, продолжая работать.

И действительно, плита не могла обогреть даже кухню. Вот Гунар и спешил заколотить окна. На Виктора, который хотел помочь, прикрикнул:

— Снимай всё мокрое и марш под одеяло. Пока не разрешу, не смей вставать.

Вскоре пришел Юлий Курземниек, а вслед за ним ещё несколько рыбаков, тоже недавно вернувшихся с моря. Они забили окна изнутри, проложив между досками старую одежду, половики, обрывки старых сетей, вату, которую Паула хранила для нового одеяла. В доме стало тепло. Паула поставила чайник и кастрюлю с картошкой, чтобы позавтракали рыбаки, а они, закулив, принялись обсуждать случившееся.

— Забыл наше предупреждение сатанинский выкормыш! Не останови сейчас, завтра он фашистов сюда приведет, — гневно говорил Юлий Курземниек. — Что, рыбаки, будем делать?

— Слово нужно сдержать, — твердо заявил Озолис, — иначе какие же мы мужчины.

— Верно. Промолчим мы сейчас, — заговорили рыбаки, — он совсем обнаглеет. Несдобровать тогда Залгалисам. Да и нас могут заодно фашисты похватать...

— Судить его будем! — решительно заявил Юлий Курземниек. — Вечером в его магазине соберемся.

— Правильно, — поддержали рыбаки и засобирались уходить. Как ни упрашивала Паула остаться позавтракать, разошлись по домам.

После обеда Гунар, почувствовав озноб, прилёг и уже не смог встать. Горел как в огне. Перепуганная Паула (Гунар заболел впервые за их многолетнюю совместную жизнь) то прикладывала к подошвам горячую золу, то ко лбу мокрое полотенце, все время вздыхала и причитала:

— Да что же это, Гунар? За что такие напасти?..

А Гунар сокрушался, что не сможет судить Вилниса Раагу.

— Подумают, трусил я, — говорил он.

— Молчи ты, молчи. Вот как дышишь, будто мешок на грудь тебе навалили. А думать о тебе так никто не станет — ведь знают тебя рыбаки.

И в самом деле, когда рыбаки собрались возле магазина Вилниса, а Гунара всё не было, мужчины решили: стряслось что-то.

— Я его навещу потом, — сказал Юлий Курземниек, — а теперь пойдёмте.

Магазин заполнился рыбаками. Они плотно закрыли за собой дверь, и Вилнис, почувствовав недоброе, заговорил заискивающе:

— Проходите, проходите, весь товар на виду. За наличные или в долг? Как изволите?

— Хватит! — оборвал его Юлий Курземниек. — Мы судить тебя пришли!

Лицо Вилниса перекопилось от испуга и гнева. Он закричал отчаянно:

— Что вы мне сделаете, салакушники?! Что?! Только троньте пальцем! Я людей позову! Люди-и-и! Сюда-а!

Юлий Курземниек схватил его за плечи, тряхнул со всей силой, голова Вилниса мотнулась, и он замолчал, испуганно втянув голову в плечи.

— Ты забыл моё предупреждение, — сурово проговорил Юлий. — Но мы его не забыли. — Потом обратился к рыбакам: — Какое ваше слово будет, мужики?

— Смерть!

— Я исполню этот приговор! — решительно заявил Юлий, связал племяннику руки за спиной, заткнул рукавицей рот, чтобы не позвал на помощь дружков, пока идут к лодкам, и вывел на улицу, где уже властвовала непроглядная темень и продолжал беспощадно гулять ветер.

Несколько рыбаков пошли вперёд, чтобы проверить, нет ли кого на причале, остальные растянулись по дороге, как часовые, а когда Юлий провёл связанного Вилниса к лодкам, разошлись по домам.

Посадив Вилниса в его новую моторную лодку, а свою привязав к ней пеньковым тросом, Юлий завёл мотор и направил лодки в море, навстречу хлесткой волне. Отошёл от берега

примерно на милю, заглушил мотор, подтянул свою лодку, пересел в неё, взмахнул топором, чтобы прорубить дно в лодке Вилниса, но, отложив топор, развязал руки Вилниса, вынул кляп и только после этого рубанул топором борт лодки и оттолкнул ее. Погрёб, не оглядываясь на племянника, к берегу.

Всё это Юлий рассказал Гунару и Пауле, когда вернулся на берег и пришёл к ним. Посидев у постели больного пару часов, Юлий поднялся:

— Ну, я пойду. Поправляйся, Гунар.

Но Гунар так и не поднялся. Какими настойками ни поила его Паула, как ни ухаживали за больным дети, ничего не помогло. Через неделю Гунар умер. В день похорон, Паула это хорошо запомнила, светило яркое, как весной, солнце, а лица рыбаков и их жён были хмурыми, как штормовая ночь. Когда траурная процессия вышла за село, встретила немецкая машина с солдатами. Фашисты, как показалось Пауле, внимательно разглядывали всех, кто шёл хоронить Гунара.

«Хорошо, что мальчиков заперла дома», — подумала Паула. И всё время, пока шли до кладбища, пока говорили прощальные слова, заколачивали и опускали в могилу гроб, беспокойство Паулы не проходило; лишь когда вернулась домой и увидела ребят, выплакалась вволю. Вдовья жестокая судьба ждала её. И не в своём доме, где и нужду легче огорить, а на чужбине.

Хотя и стоял дом Залгалисов на краю посёлка и можно было сразу со двора углубиться в лес, Паула всё же решила уходить из дома ночью. С вечера позапирала кладовые, собрала в дорогу узелки, потом помогла мальчикам одеться, а когда всё было приготовлено в дорогу, отрешённо опустилась на стул. Долго она не могла осмелиться сделать последний шаг.

Теперь Паула забыла, о чём думала тогда, потому что хоть и горькими были те мысли, но жизнь до конца войны и несколько послевоенных лет оказались ещё горше. Сестра приютила её и мальчиков, но недолго длилась их спокойная жизнь. Зачастил сосед, хозяин двухэтажной усадьбы, и сестра забеспокоилась:

— Прежде в год раз, бывало, заглянет. А теперь... Выпытывает, чьи мальчики. Не поверил, что твои. Не похожи, говорит, они на тебя. Да и по разговору чувствуется, что не латыши они. Донесёт, чего доброго, старосте.

Паула не стала испытывать судьбу. Вновь собрала узелки...

Сейчас, увидев в своём доме Марию, Паула вспомнила ту страшную, в неизвестность, дорогу и те скитания от усадьбы к усадьбе, от посёлка к посёлку, сунутые торопливо через калитку зачерствелые куски хлеба, которые казались им тогда, изголодавшимся, иззябшим, слаще меда. Еле сдерживалась Паула, чтобы не разрыдаться, когда слышала, как дети разговаривали о еде. Женя, бывало, спросит:

— Помнишь, Витя, мешалду?

— Самса сытней, — ответит Виктор, и они переглянутся и вздохнут украдкой.

Чем бы закончилась та дорога без конца, неизвестно, если бы не позвал их в свой покосившийся домик на окраине Вентспилса такой же, как и они, нищий старик Калмынь. За чашкой пустого чая Паула рассказала ему всё, и старик оставил их у себя. Она стирала и убирала в домах богатых горожан, а Калмынь ходил по дворам с сумой. Перебивались с хлеба

на воду. Ребят из дому не выпускали. Лишь иногда, когда Калмынь собирался идти по пригородным посёлкам и усадьбам на несколько дней, он брал с собой Женю.

Спас их, как считала Паула, от гибели и после войны. Лишь только фашисты бежали из Вентспилса, засобиравлась Паула домой. Но Калмынь отсоветовал:

— Повремените.

Всё дальше уходил фронт на запад, и Паула с радостью думала о скором возвращении в свой дом, но Калмынь настойчиво советовал:

— Повремените.

А вскоре мимо их покосившегося домика провезли на подводах крытые красным сатином трупы. Из домов выбегали люди и шли за подводами. Толпа росла, гудела гневно. А вечером Калмынь говорил:

— Бандиты. Человеконенавистники. Именуют себя «зелёными братьями». Всех, кто за Советы, убивают. Так что, мальчишки, пока помолчите, что вы — русские, дети пограничника.

Только через пять лет после войны вернулась Паула с мальчиками в свой постаревший дом. Не растопив печи, поспешила она на заставу. Вдруг Андрей и Мария уже там?

Встретил их незнакомый капитан. Внимательно выслушав, заверил:

— Будем искать. Если живые, найдём!

Потом они, обжигаясь, ели борщ с мясом (впервые за многие годы), котлеты (они забыли их вкус) с гречневой кашей, а домой их провожали сам начальник заставы, старшина и двое пограничников. Они несли муку, рис, гречку, несколько буханок хлеба, мясо и соль.

В неделю раз заходил капитан, узнавал, не нужна ли помощь, есть ли продукты, и с грустью сообщал:

— Пока не нашли.

А Пауле было всё равно, найдутся Андрей и Мария или нет. Разве она, Паула, не стала мальчишкам матерью?

И сейчас, глядя на Марию, Паула задавала себе этот вопрос:

«Разве не я им мать? Сколько пережила с ними, на ноги поставила И вот теперь...»

Неприязнь к Марии вспыхнула с новой силой. Но женским чутьём Паула угадывала, что не всё просто в жизни Марии, что нельзя, не зная, не ведая, корить, отрицая, может быть, не желаемую, но истину. Вглядываясь в лицо Марии, Паула всё больше замечала, что не так уж она молода, как ей показалось вначале. Морщины у губ и под глазами, тяжёлые складки между бровей.

«Совсем седая. Хлебнула и она, должно быть, горя. И нужду и тоску изведала, — с жалостью подумала Паула, но обида, копившаяся годами, вновь взяла верх. — Почему же ни одного письма не написала? И приехать могла бы. Почему не приехала?»

Обвиняла Паула Марию, совсем не думая о том, что если бы она и приехала, всё равно не нашла бы их здесь. Не знала, да и не могла знать Паула, что похоронила она и дочь, и мужа, а потом и Дениса Хохлачёва, ухаживала за которым все эти годы по долгу братской любви и совести. И писала она Залгалисам сразу, как только освободили Латвию. Но вернулось письмо

обратно. И второе вернулось. Хранит до сего дня она те письма. И сейчас они с собой, в сумочке. Не раз мочила она их слезами, оплакивая своих сыночков. А заодно и Гунара с Паулой. Она уверилась, что погибли они все вместе. Утешение находила в работе да в уходе за больным Денисом, с которым официально зарегистрировалась в браке.

Неуёмная тоска, которая навалилась на неё после смерти Хохлачёва, сняла с места. Мария взяла отпуск и поехала сюда. Для чего? Вряд ли толком могла она ответить на этот вопрос. И теперь, видя растерянность и враждебность Паулы, она по-своему оценивала её состояние и пыталась найти оправдание этой враждебности.

«Нелегко тебе, Паула, рассказывать матери о гибели детей. Я понимаю всё. Понимаю. Но разве ты, Паула, виновата. Смелей, Паула, я уже привыкла к тому, что их нет», а вслух сказала:

— Расскажи, Паула, как они погибли.

Паула даже вздрогнула, услышав просьбу Марии. Удивилась: «Как? Она не знает?.. И в самом деле, откуда ей знать?! Мои дети. Не отдам. Не скажу! А где же совесть твоя, Паула? Залгалисы никогда не были подлецами. Так всегда говорил Гунар. Но ведь Мария тогда заберёт их. У меня не будет детей. Моих детей. Ах, зачем же я так? Зачем? Вот и ноги у нее все в шрамах, как будто ножом полосовали. Гунар же говорил мне, что Эрземберг выдумал о легковой машине. А я всё не верила. Зря, видно. Ей, наверное, нелегко пришлось. Мать ведь она. А как же я тогда?»

А Мария вновь спросила:

— Расскажи, не бойся. Я всё выдержу.

В это время в дверь кто-то энергично постучал и, не дожидаясь ответа, открыл её. Мария обернулась и увидела пограничника. Высокого стройного ефрейтора. В руках тот держал большую картонную коробку и красивый букет цветов. Ефрейтор, кивнув Марии: «Здравствуйте», протянул Пауле цветы и сказал, улыбаясь:

— Поздравляю вас, бабушка Паула, с днём рождения. Вся застава желает вам здоровья и счастья.

Старший лейтенант Залгалис просил передать, что его вызвали в отряд и придет он только к вечеру. Я торг на кухне оставлю и пойду дров наколю.

Ефрейтор энергично повернулся и вышел. У Марии сдавило в груди, как это было всегда, будь то на улице или в магазине, на вокзале или в метро, — при виде человека в зелёной фуражке в горле у неё начинались спазмы, дыхание перехватывало, и слёзы застилали глаза. Как ни хотела овладеть Мария собой на этот раз — всё равно не вышло. Она разрыдалась. У Паулы, увидевшей, что Мария зарыдала, защемило сердце, да так сильно, что пришлось прижать руку к груди. Паула тоже разрыдалась. Успокоилась нескоро. Плакала, продолжая держать руку на груди, где гулко билось сердце.

Выплакавшись, женщины глядели друг на друга понимающе и облегчённо. Теперь и Мария и Паула улыбались, как бы извиняясь за свою несдержанность. Но в глазах Марии не было радости. Она вздохнула, всхлипывая, и было хотела спросить о заставе, о том, что за родственник или однофамилец старший лейтенант Залгалис, но Паула опередила её:

— Залгалис, Мария, твой сын Виктор. Женечка тоже жив. Лётчик он.

ТАЙФУН

ГЛАВА 1

Уже второй час стояла мёртвая тишина. Казалось, будто чья-то властная рука остановила жизнь. Не колыхались листья на деревьях, густо облепивших прибрежные сопки. На воде, словно отутюженной, не было видно ни чаек, ни суетливых топорков, ни бакланов. И даже городок, столпившийся невысокими домиками у подножия сопки, будто вымер. Кормовой флаг и вымпел сторожевого корабля обмякли и понуро повисли. Молчали матросы, собравшиеся на юте, и дым от сигарет висел над ними неподвижным облачком.

— Не припомню, Савельич, такого, чтобы дым над головой висел, — сказал старший лейтенант Найдёнов.

— Вот и я так думаю. Прогноз: ветер три — пять баллов, а что творится? — с раздражением ответил капитан-лейтенант Марушев. — Бездельничают синоптики! Или радист наш путает. Пойду узнаю. — Повернулся резко, быстро прошёл к трапу.

Найдёнов проводил взглядом командира и вновь посмотрел на берег, на кекуры, торчавшие у берега из воды; начинался отлив, оголившиеся водоросли безжизненно свисали вниз и, будто смазанные маслом, блестели на солнце. Старший лейтенант снова перевел взгляд на неподвижное облачко табачного дыма над ютом и мысленно задал себе вопрос: «Что? Тайфун? Цунами?!»

Всё сильнее и сильнее болела голова. Она у Найдёнова вот уже почти год как стала своего рода барометром: перед штормом начинала болеть.

Вбежал по трапу командир и заговорил возбуждённо:

— Ничего не пойму! Не меняют синоптики прогноз! Пойду на барометр взгляну.

— Зачем? Будет, Савельич, шторм. Будет. Голова разболелась. Давай уйдём в море.

— Без локатора? Ты что?! Женщины на борту! — резко ответил Марушев. — И с головой своей как курица с яйцом носишься!

Найдёнова обескуражила и обидела грубость командира; он хотел сказать: «Не с того начинаешь. Помягче, командир. Помягче», но не успел: Марушев повернулся и стремительно зашагал на мостик. Найдёнов глядел ему вслед и думал: «Неужели без Аборигена зарываться начнёт?»

...Аборигеном, которого вспомнил сейчас Найдёнов, называли бывшего командира этого корабля капитан-лейтенанта Горчакова. Прозвище это на Курилах почётное — не каждому дадут. А Горчакова иначе и не называли. К нему три года назад и были направлены Марушев и Найдёнов. Марушев — старпомом, Найдёнов — замполитом. Назначение это обрадовало их и встревожило. Много они успели услышать о командире пограничного «большого охотника» и в штабе округа и особенно в бригаде, пока ждали возвращения теперь уже своего корабля со службы.

Говорили, что Горчаков море чувствует кожей, а прогноз погоды может предсказать лучше синоптиков; рассказывали, что в лоции он заглядывает очень редко, ибо знает все мели и банки во всех курильских проливах. Вспоминали, что довольно часто, получив штормовое

предупреждение, Горчаков не уходил в укрытие, а продолжал нести службу и почти всегда во время шторма задерживал одну, а то две или три шхуны браконьеров-краболовов. На счету корабля Горчакова было больше всех задержанных браконьеров и шхун — переправщиц агентуры.

У такого командира, неизменно говорили Марушеву и Найдёнову все рассказчики, быстро станете курильчанами. И добавляли: «Если примет вас».

Эти-то последние слова и тревожили. Знали Марушев и Найдёнов, что курильчане только себя считают «морскими волками», признают немного моряков-пограничников с Баренцева, всех остальных называют каботажниками-белоручками. Найдёнов плавал на Каспийском море, Марушев — на Чёрном. Весом ли эта аттестация, чтобы Абориген признал их достойными уважения? Они сами пытались ответить на этот вопрос, рассказывая вечерами друг другу о своей службе, этап за этапом, вспоминая самые трудные часы и дни.

— Рядовым матросом я был? Был, — говорил, загибая пальцы, Марушев. — Высшее военно-морское закончил? Закончил. Штурманом ходил? Ходил. И не у бережка. Ночь, тучи за мачту цепляются, волна баллов пять, а я прокладку веду — комар носа не подточит. Градус в градус, минута в минуту. Или туман страшен мне был? Нет. Лучшим штурманом считался! Потому и выдвинули старпомом.

Марушев говорил страстно, горячился и неизменно заканчивал угрозой:

— Я ему докажу! Я ему курильские ракушки с боков соскребу!

Чёрные глаза Марушева в такие минуты становились похожими на горящие угольки, приплюснутый, как у профессионального боксера, нос розовел, а на скулах вздувались желваки. Усы-шнурочки смешно топорщились

«Горяч, — отмечал про себя Найдёнов. — Слишком горяч. Такой на ринге не боец».

Найдёнов, оценивая людей, часто применял боксёрскую терминологию: он был боксёром — кандидатом в мастера, хотя внешне совсем не походил на спортсмена — немного грузноват и медлителен, лицо интеллигентное, глаза голубые, добрые. Казалось, он никогда не сможет не только ударить, но даже просто обидеть. Найдёнов мысленно осуждал Марушева за столь гневные речи, возможно преждевременные, вместе с тем тоже готовился дать отпор новому командиру, если тот не признает его как моряка. Ведь он, Найдёнов, не только несёт ходовую вахту, но и допущен к самостоятельному управлению кораблём. Рассказывая о себе, тоже приукрашивал события, драматизировал обстоятельства.

— Баку, в переводе на русский, — «место ветров». Уж куда ясней для моряка. И глубины нельзя не учитывать. Какие они в Каспийском по сравнению со здешними! А на малых глубинах волна круче, бьёт так, что корпус трещит. И ничего, ходили. Даже довольны были, когда шторм, не так калит солнце. В штиль — словно в духовке. На Каспии и прошла вся моя служба. Начинал с моториста. Боцманом ходил. После училища — снова на Каспий. Море везде море. Моряк везде моряк. Что друг перед другом нос задирать.

С настроением дать «бой» своему новому командиру и поднялись они на палубу «большого охотника». Горчаков, выслушав их доклады, сказал спокойно, как-то чрезмерно буднично:

— Идите в каюту. Я сейчас...

Марушев скользнул по трапу вниз, не задев ногами ступеней: знайте, мол, нас, черноморцев, не лыком шиты.

Не успели они осмотреться, как в каюту вошёл Горчаков. Заговорил тоже буднично:

— Это жильё наше. Тебе, комиссар, диванчик и бюро. И тебе, старпом. А на этом я сплю. — Вдруг неожиданно, без всякой паузы, но так же спокойно продолжил: — По трапу ты, старпом, с шиком. Почисти матросов иных. Всех научи так. И нас с комиссаром. Лады?

— Есть! — ответил Марушев, хотя сам подумал: «Вот! И у черноморцев нашлось что перенять! И ещё найдётся!»

Горчаков сел на диванчик, закурил и заговорил неторопливо:

— Те, с кем имеем дело, — прирождённые мореходцы. Район как свой дом знают. Поэтому...

— А мы что? С утюгами дело имели?! — прервал старпом командира.

— Я тоже ершился, когда сюда прибыл, — так же неторопливо и спокойно продолжал Горчаков. — А в первый же поход пришлось досмотровую группу высаживать при шестибалльном шторме. Если бы не боцман... Впрочем, зачем разговоры эти. Всё сами испытаете. Не один раз. Мы-то привыкли в штормягу службу нести. Прячемся только от тайфуна. Захватит в открытом море — считай, гибель; в открытой бухте — на берег швырнет. Глаз бури! Затаится и высматривает добычу, а увидит, захватит — не упустит. Тут свой глаз да глаз нужен, чтобы к Посейдону в гости не пожаловать. — Встал, надел фуражку. — Ну ладно. Поживём — посмотрим. Устраивайтесь. Я на мостик. Выходим через четверть часа.

Так и остался этот разговор незаконченным. Да и не было в нём нужды. Горчаков «принял» их. В первый же поход. Он тогда отчитал Марушева за небрежность при оформлении положенных на корабле документов. Тот возмутился:

— Корабль утонуть может от этих бумаг!

Горчаков спокойно ответил:

— Аккуратность — традиция флота. — Помолчав немного, добавил: — И умение владеть собой тоже. Понял? Ну вот и лады.

После того разговора командир стал придирчивей к своему старшему помощнику, ни один его промах или ошибку не оставлял без внимания — советовал, учил, внушал.

К Найдёнову же, наоборот, относился по-дружески. Особенно после того, как услышал от него рассказ о спасённых грачах.

Случилось это на Каспии. Возвращаясь на базу, корабль пробивался сквозь мутную полосу летящего навстречу сырого снега, который тяжело падал на палубу, но волны сразу же смывали его. И вдруг палуба почернела, зашевелилась: чёрным градом сыпались из серой мути грачи. Мокрые, жалкие. Найдёнов — он нёс ходовую вахту — сразу же перевёл машины на «Самый малый», чтобы не смыла встречная волна грачей, и объявил по боевой трансляции аврал.

Матросы сгребали грачей и уносили в кубрики, а новые десятки обессиленных птиц сыпались и сыпались на палубу. Заполнили грачами всё, что можно было заполнить, а сами потом сгрудились на юте, спасаясь от встречного ветра, снежных зарядов и волн за надстройкой.

Выпустили грачей, когда подошли к берегу. Долго смотрели вслед улетающей стае, потом несколько часов отчищали и отмывали кубрики, стирали одеяла и наволочки.

— Командир к твоему решению как отнёсся? Одобрил? — спросил Горчаков, выслушав этот рассказ.

— Промолчал. Старпому не по душе пришлось. Упрекнул меня в сентиментальности. Объяснил я ему что к чему. Крупно поговорили.

— Душа моряка, — задумчиво сказал Горчаков, — это то, что надо комиссару. И умение постоять за свои убеждения. И в малом и в большом, — сделал паузу. — Марушев тоже хороший парень, только суетлив и слишком горяч. Сдерживать его нужно. Давай вдвоём. Лады?

Горчаков и Найдёнов упрямо приучали Марушева к тому, чтобы вовремя было составлено расписание занятий, а о проведённых занятиях записано в журнал, чтобы к каждому занятию был подготовлен конспект, чтобы без опоздания отсылались отчёты. И всё же Марушев, иной раз засидевшись за столом, неожиданно вскакивал и восклицал:

— Безумец придумал эту писанину! Пойду по кубрикам пошурю.

И, бросив ручку, уходил из каюты. Когда замечал где-либо сор или беспорядок в чьём-то рундучке — поднимал на ноги всех: и боцмана, и командиров отделений, команд, и матросов. А то шёл к командирам боевых частей, к старшинам, выяснял, готовы ли те к занятиям, как мог, помогал им. Возвращался всегда возбуждённый, готовый вновь идти, чтобы проверить, учить, требовать. А Горчаков, выслушав его, спокойно советовал:

— Ты всё сам да сам. А подчинённым что оставляешь? Вот у тебя и не хватает времени вести учёт как положено. Нельзя так. Меняй стиль. Лады?

Три года — срок немалый. Неузнаваем стал Марушев. Почти такой же спокойный, как Абориген. Даже весть о назначении командиром принял без эмоций, сдержанно. Лишь когда попрощался с Горчаковым, обнял порывисто и воскликнул возбуждённо:

— За ноги на рею меня вздёрнешь, Дмитрий Тихонович, если забуду школу твою!..

И вот их первый самостоятельный, без Аборигена, выход на службу. Маршрут — залив Измены, в распоряжение коменданта участка капитана Жибруна, прозванного на Курилах «комендантом птичьего острова».

Маршрут знакомый, знаком и капитан Жибрун — не один раз взаимодействовали. Сдружились даже. До залива, однако, не дошли. Получили радиogramму от капитана Жибруна. Он попросил подойти к Горячему пляжу и взять на борт пассажиров.

У Горячего пляжа тоже бывали не раз. Брели оттуда для комендатуры людей. Повернули и сейчас к Горячему пляжу. Такова неписаная традиция Курил: по первой же просьбе идти на помощь друг другу, брать на борт боевого корабля пассажиров — офицеров-пограничников, их жён и детей.

В бухте у Горячего пляжа приняли трёх человек: нового замполита Жибруна майора Корниенко с женой Людмилой Тимофеевной, добродушной полнеющей женщиной, и молоденькую стройную девушку в спортивном костюме. Она назвалась Валей Ситниковой и вся, казалось, засветилась радостью, когда начала рассказывать, что едет к Коле (лейтенанту Ракитскому — начальнику заставы), чтобы стать его женой.

Можно было сниматься с якоря и идти к заливу. Найдёнов спросил командира:

— Что, Савельич, баковым на бак?

— Нет. Пока локатор не исправим, не пойдём.

Локатор забарахлил на рассвете. Неожиданно. Всю ночь — ни одной помехи и вдруг — замельтешил. Марушев вызвал на мостик командира отделения радиометристов старшину 1-й статьи Торопова, и тот, только что отстоявший «собаку» (так матросы называют вахту во второй половине ночи), не лёг спать, а принялся исправлять локатор. Предполагал управиться быстро, но вот уже пришли к Горячему пляжу, погрузились, а наладить локатор радиометристам не удалось. Без него же выходить было рискованно: лишь к ночи дошли бы они до залива Измены, а идти по нему без локатора опасно — того и гляди в темноте наткнёшься на банку.

Погода стояла хорошая, западный ветер, с утра порывистый, стал утихать, и старпом лейтенант Ергачев предложил провести соревнование гребцов.

— Похвальная инициатива, — покровительственно одобрил командир. — Дерзай, старпом! От первых шагов зависит вся служба.

Розовые щёки Ергачева зарделись то ли от радости, то ли от смущения, он сказал: «Есть!» — и поспешно вышел из каюты.

Пока спускали шлюпки на воду, наступил полный штиль. Поначалу это обрадовало всех. Матросы шутили:

— Разгладил для нас Нептун воду. Бейте, мол, мировые рекорды.

А потом, когда шли соревнования, никто не обращал внимания на необычный для этих мест штиль. Только Валя, поднявшаяся на палубу вместе с Людмилой Тимофеевной «поболеть», обрадованно воскликнула:

— Смотрите! Ветра совсем нет. Здорово как!

Все дни, пока шли они сюда на рейсовом, штормило, и девушка страдала морской болезнью: её тошнило, а в голове постоянно была какая-то тяжесть. И если бы не Людмила Тимофеевна, у которой в запасе оказались и лимоны, и «тройчатка», вряд ли, как считала Валя, выдержала бы она это плавание. Со страхом она садилась и на пограничный корабль. Теперь же, увидев, что нет ветра, она обрадовалась вдвойне: не будет убегать из-под ног горячий крашеный пол каюты, не будет что-то холодеть внутри, болеть голова и тошнить, и выйдет она на берег здоровая, а значит, Коля, её Коля, не узнает, как тяжело ей пришлось на пароходе.

— Здорово как! — воскликнула она ещё раз. — Воздух совсем застыл!

«Действительно, полный штиль, — подумал старший лейтенант Найдёнов, который тоже поднялся на палубу «поболеть». — А было ли такое за все три года, которые проплавал я на Курилах?»

А через час забеспокоился и командир: тишина становилась какой-то зловещей. Начал нервничать. И это тогда, когда особенно было важно, чтобы никто не заметил его беспокойства.

Найдёнова это взволновало. «Не пришло ли время, — промелькнуло в сознании, — напомнить Марушеву слова Аборигена, которые он часто произносил: «Моряк должен уметь владеть собой, как никто другой».

Марушев в это время, вбежав на мостик, посмотрел на приборы и крикнул:

— Торопова ко мне. И побыстрей!

Поднявшегося на мостик Торопова встретил упрёком:

— Локатор! Теперь барограф! Что?! Совсем обленились?!

Найдёнов, услышав этот грубый окрик, подумал:

«Нет, кормой с кранцами подходить к нему не следует» — и тоже поднялся на мостик. Спросил Марушева:

— Что, командир, случилось?

— Что, что?! Барограф вниз прямую чертит! Доработались электрики!

И замолчал, засопел сердито. В глазах — угли горячие, нос розовый, шнурки-усики ошетинились.

«Растерялся, — подумал Найдёнов. — Помощь ему моя нужна. Иначе...»

А Торопов, внимательно осмотрев и барограф и барометр, доложил:

— Всё, товарищ капитан-лейтенант, в исправности. Разрешите идти?

— Подожди. Как с локатором? — спросил Торопова Найдёнов.

— Чёткости осталось добиться. Предполагаем, товарищ старший лейтенант, минут через двадцать закончить.

— Поторопитесь.

— Есть! — козырнул Торопов и сбежал вниз. Немного подождав, сошёл на шкафут старший лейтенант Найдёнов и позвал Марушева:

— Поди сюда, Савельич.

Марушев сбежал с мостика и спросил резко:

— Ну что ещё?

— Ты про свою клятву Аборигену забыл? — вопросом на вопрос ответил Найдёнов. Ответил спокойно, хотя так и хотелось отрезать: «Не нукай, не запряг». Сделал паузу небольшую и снова спросил: — На какую рею прикажешь вздернуть? Не сдержался, говоришь? Нет, не в этом главное. Растерялся ты. Не знаешь, что делать, вот и кричишь на людей. Видишь, матросы курят и молчат. Почему? Почему гитары у них нет? Тоже тревожатся. Но терпеливо ждут твоего разумного приказа. А если и они начнут мельтешить по кораблю, как и командир? Топорщишь усы?! На ринге я бы с таким даже драться не стал.

Помолчали. Марушев недовольно сопел, Найдёнов смотрел на него с усмешкой. Потом спросил:

— Что думаешь предпринять? — не получив ответа, посоветовал: — Отправь, командир, пассажиров на берег. Стоит ли их подвергать опасности?

— А если в пути штормяга застанет, выгребут, что ли? Кому тогда по шее?! Командиру?!

— Товарищ лейтенант, кони оседланы, — доложил дежурный начальнику заставы.

— Спасибо, — поблагодарил лейтенант Ракитский и добавил: — Пойду соберусь.

Он был готов к выезду. Заставский парикмахер подстриг его ещё вчера, сразу после того, как позвонили на заставу, что Валу высадили с рейсового на Горячем пляже. Брюки и гимнастёрку отутюжил он ещё утром, вернувшись с границы. Больше часа потерял на то, чтобы стрелки на брюках и гимнастёрке совпадали и составляли непрерывную линию от нагрудных карманов до сапог: он прежде не делал стрелок на гимнастёрке — всё было недосуг, да и не хотел прослыть щеголем. Утром он густо смазал ваксой и наглянцевал бархоткой хромовые сапоги, и они ещё не запылились. Давно уже свернул он плащ-накидку. Он мог сразу же, как коновод подседлал лошадей, садиться в седло, но пошёл домой, и не ради того, чтобы собраться в дорогу, — пошёл ещё раз посмотреть, всё ли готово для встречи Вали, прочитать телеграмму: «Милый, выехала. Встречай», которую вот уже несколько дней читал и перечитывал, ещё раз взглянуть на фотографию, висевшую теперь уже не над его, а над их кроватью.

В гостиной, как теперь мысленно он назвал одну из комнат, всё стояло на своих местах, как расставил утром: этажерка с книгами в переднем углу, шифоньер — у стены напротив окна, стол, покрытый новой солдатской простынёй, — посредине комнаты, стулья — вдоль стены, вправо от этажерки. Ракитский подошёл к этажерке, ещё раз подровнял и без того по ранжиру стоявшие уставы, наставления, томики Есенина, Диккенса, Головнина, Невельского. Затем открыл, сам не зная для чего, шифоньер. Может, чтобы ещё раз посмотреть, аккуратно ли висят китель, офицерские рубашки и спортивный костюм, полюбоваться плечиками, дюжину которых сделал он в эти дни.

Подвинул ещё ближе к середине стола трехлитровую банку с пышным букетом магнолий и прошёл в спальню.

Остановился у изголовья кровати. Здесь, на стене, чуть выше такого же, как в гостиной, букета магнолий, стоявшего тоже в трёхлитровой банке на тумбочке, висела большая фотография. Снимок этот был сделан на пляже сокурсником Вали, как принято сейчас говорить, скрытой камерой. Валя дремала, разморенная жарой, и он, Николай, приподнявшись на локти, тянулся к её улыбающимся губам. Во Владивостоке, когда возвращался из отпуска, он увеличил фотографию, приколот её кнопками у изголовья кровати, принёс охапку магнолий и гортензий и поставил букет на тумбочку под фотографией. С тех пор только зимой не стояли здесь бело-розовые цветы. Он приносил их для Вали, хотя даже самому себе в этом не признавался. Смотрел часто на фотографию и думал с сомнением: «Приедет или нет?» А причины для сомнения, как он считал, были. И веские.

...Он, курсант первого курса, приехал на зимние каникулы. И в первый же день мать сказала:

— Из школы звонили, спрашивали: придёшь ли? Завтра вечер встречи. Девятые и десятые классы повидать хотят вас, выпускников прошлых лет. Совет ваш добрый послушать, каким путём в жизнь шагать. Если пойдёшь, ты уж тогда — в форме. Чтобы все видели.

— Ладно.

Много раз после того вечера он то благодарил судьбу, то ругал себя. И виной всему была она — Валя. Валушка! Незнакомая прежде девчонка.

Он увидел её сразу же, как появился в школьном клубе. Она готовилась петь. Ждала с микрофоном в руке, когда взмахнёт руководитель школьного ансамбля и ребята ударят по струнам электрогитар. Удивительно вдохновённым было её лицо, а она, нежная, хрупкая, казалось, готова была вспорхнуть вместе с песней и закружиться в вихре музыки. А руководитель, высокий угловатый парень из десятого «А», взявший уже было гитару, вдруг усомнился, надёжно ли подключена аппаратура к сети, и неспешно принялся поддёргивать все шнуры.

«Чего тянет?» — подумал Николай. Он боялся, что солистка, девчонка в розовом платье, сникнет от долгого ожидания, взволнованность её пройдет, и она станет такой же, как все остальные девочки; но «девочка в розовом платье» словно не видела ни того, что делает руководитель, ни зала, двигающегося, разговаривающего звонко, смеющегося, — она уже жила той песней, которую готовилась исполнить.

Николая увидели, к нему начали подходить и «ашники», с которыми он учился, и «бэшники», с которыми их класс не очень дружил, шумно здороваться, спрашивать: «Ну, как у тебя?» — никто не дожидался ответа, а сразу же спешил рассказать о себе. Николай тоже радостно здоровался со школьными товарищами, слушал их, а сам всё поглядывал на сцену.

Негромко, словно боясь спугнуть весёлую оживленность зала, рассыпал мягкую трель ударник, и так же мягко вплелись в эту трель аккорды гитар и удивительно чистый голос Вали. Звонким весенним ручейком показался он Николаю.

— Новенькая? — спросил он у ребят, которые тоже притихли и стали слушать песню.

— Да. Артистка дочка. Недавно приехали.

Когда начались танцы, Николай направился было к Вале, но его опередили. Он простоял этот танец. Не успел пригласить и на второй. Тогда он подошёл к ней сразу же, как закончился танец. Не стал дожидаться, когда заиграют новый. Козырнул и представился:

— Курсант Ракитский. Николай. Прошу следующий танец.

— Приглашаете, чтобы похвалить мой голос?

— Солдаты скупы на комплименты. Нормально спели. И потом, вы же дочь актрисы, а значит...

— Вы что, разведчик?

— Пограничник.

Гитары вскрикнули, ударник лихорадочно подхватил, убыстряя и убыстряя ритм, зал оживился.

— А вам можно этот «обезьяний танец»? — лукаво улыбнувшись, спросила Валя.

— Прошу.

Больше они не отходили друг от друга. Домой тоже шли вместе. Вместе и провели каникулы.

Сейчас, глядя на фотографию, Ракитский вспомнил и тот первый вечер, ту первую неделю, пролетевшую стремительно, и слезы на её глазах в аэропорту. Теперь он упрекал себя за то, что ревновал и сомневался, и всё то пережитое, пережитое казалось ему даже смешным. А прежде...

Валя не любила купаться на пляже, она уводила Николая подальше от города, где скалистые берега, не удобные для отдыхающих (летом их в город наезжала тьма-тьмушная) и потому безлюдные. И там, среди тихих скал, говорили они о своей любви, и Валя спрашивала:

- Что нужно уметь женщине на границе?
- Спать, когда муж не спит.
- Ты можешь серьёзно говорить со мной?
- Если серьёзно, то нужен врач или учительница.
- Я пойду в медицинский.

А выбрала историю русского искусства.

Сколько дум он передумал, узнав об этом в следующий отпуск. Решил тогда: «Не собирается, значит, на заставу. Рвать нужно. Искать другую».

К морю ушёл один. Но Валя разыскала его на пляже. Подсела рядом. Грустная, поникшая. И, не стесняясь лежавших вокруг людей, спросила сквозь слёзы:

- Разлюбил? Да?

Продолжать сердиться было выше его сил. Но сомнение, закравшееся в душу, не проходило. А потом ещё письма матери, её советы: «Увези Вальку к себе, если думаешь с ней связать жизнь. Иначе её другие уведут. Женихов вокруг неё — пруд пруди».

И сам он убеждался в этом, бывая в отпуске. Сокурсники Вали даже показали ему несколько студентов и двух молодых преподавателей, которые «предложили ей руку и сердце». Сама же она ничего об этом не говорила. Скрывала. Почему? Не хотела расстраивать? Или выбирала?

И он решился. Сказал твёрдо:

- Выбирай честно.
- Не нужно, Коля. Приедешь через год в отпуск, тогда и решим. Я диплом защищу, государственные сдам.

И поцеловала крепко, как бы извиняясь за такой ответ и вселяя надежду...

Надеждой и сомнениями жил он весь год, а сейчас, глядя на фотографию Вали, восторженно воскликнул:

- Молодец ты какая, Валька! Едешь! Сегодня свадьба! Сегодня!

Подмигнул ей, как будто она могла увидеть это и улыбнуться в ответ, и пошёл на кухню. Ещё раз по-хозяйски осмотрел, всё ли здесь приготовлено. Вроде бы всё. Аккуратная стопка дров у плиты, на плите — чайник, две кастрюли, на фанерном кухонном столе — хлеб, нарезанный тонкими ломтиками и завернутый в целлофан. Повар не советовал нарезать загодя, но лейтенант не послушался. Рядом с хлебом — две бутылки фирменного курильского ликёра (приготавливался он в домашних условиях из разведённого спирта и клюквенного экстракта), за бутылками — тарелка с маслом. Масло от тепла размякло и оплыло.

«На холод бы нужно», — подумал Ракитский и вышел на крыльцо.

Коновод в нескольких шагах от крыльца держал коней. Рядом с ним стояли дежурный по заставе и старшина.

— Пусть повар масло уберет, — попросил дежурного Ракитский, затем обратился к старшине:
— Ну что? Мне, как говорится, с богом, а ты тут смотри. Если что — докладывай в комендатуру немедленно.

— Счастливо встретить, товарищ лейтенант, — проговорили одновременно дежурный по заставе и старшина.

— Спасибо, — ответил Ракитский и взялся за повод. Конь, хорошо знавший привычку хозяина, сделал невысокую свечку и размашисто зарысил к воротам; лейтенант пробежал несколько шагов рядом, оттолкнулся и легко, как на вольтижировке, запрыгнул в седло — конь рванулся и галопом вынес лейтенанта со двора заставы, проскакал поляну, вылетел на сопку и остановился. Стоял и ждал, помахивая головой, когда хозяин наберёт повод и подтолкнет легонько в бока ногами. Тогда он снова сорвётся с места и понесётся по узкой тропе между деревьями.

А лейтенант будто забыл, куда и зачем он едет. Отпустил поводья и смотрел зачарованно на цветущие в распадке магнолии. Оттуда он приносил цветы на тумбочку к изголовью кровати и всякий раз, когда въезжал на эту сопку, любовался этой всегда неожиданно открывающейся красотой, но такого очарования, какое охватило его сейчас, никогда раньше не испытывал. Он не мог оторвать взгляда от темно-зелёных деревьев, будто обсыпанных розоватым снегом, а бело-розовый снег и мягкие темно-зеленые листья, казалось, искрились радостью и весельем, смеялись, словно лучи солнца щекотали их. Это буйное цветение сегодня не только восхищало, но и удивляло его. Конец лета, а всё здесь напоминает южную весну.

«Невероятно! Валюху бы сюда сейчас!»

Подскакал коновод, и лейтенант, набрав поводья, тронул своего коня.

Пересекли распадок, Ракитский перевёл коня на шаг. Он всегда, когда въезжал в этот густой лес, переходил на шаг: боялся нарушить сказочную тишину. И действительно, здесь, как в сказке, угрюмые кедры плотно прижимались друг к другу, словно стремились преградить путь всаднику; по многим стволам вилась гортензия, и оттого стволы кедров походили на цветущие бело-розовые колонны, поддерживающие высокие терема с тёмно-зелёными игольчатыми крышами. Прежде, когда Ракитский попадал в этот лес, всякий раз упрекал себя мысленно: «Почему не рассказал Вале об этой сказке? Придумал тоже: пусть готовится к худшему... А если не приедет?!» Когда она попыталась расспросить его о Курилах, ответил вопросом на вопрос:

— Читала легенды Древней Греции? Так вот тот хаос, до рождения богов который был, на Курилах и по сей день.

— Всё поняла, — засмеялась Валя. — Рассказчик ты — золото.

Больше Валя ничего не спрашивала о Курилах, словно не интересовал её тот край, где служит Николай.

«Значит, не собирается ехать», — делал вывод Ракитский и думал, что если бы рассказал ей о горячих серных источниках, воду из которых подвели к построенному рядом с заставой домику с ваннами, рассказал бы об этом сказочном лесе, о гордых прибрежных скалах, встречающих грудью штормовые волны, о самом океане, безбрежном, то голубом и ласковом, то тёмно-зелёном, зловещем, то пенно-белом, ревущем, — если бы рассказал он обо всем этом, то Валя, романтическая девушка, наверняка поехала бы с ним. Так думал он прежде, теперь же

радовался, что ничего не рассказал ей и всё это будет для неё сюрпризом. Он даже представил себе, как она прижмётся к нему и прошепчет взволнованно:

«Ты даришь мне эту красоту?!»

«Да! Это твоё. И я, и всё, что здесь, — твоё!»

Лес начал редеть. Между хмурыми соснами и кедрами стали появляться берёзы с тонкими, высокими, голыми и почти такими же, как у сосен, тёмными стволами.

Сосны плотным кольцом окружали проникшие в их царство берёзы, загораживали своими разлапистыми вершинами солнце, а берёзы тянулись и тянулись вверх, тонкие, измождённые; но вот одной удалось вырваться вершиной к солнцу, и раскинула она свои пышные ветви над соснами, прижимая их, загораживая от них солнце; вот вторая, третья, четвёртая — всё больше и больше берёз вырывалось из колючего хвойного плена, и вот уже толстые серебристые стволы сжимают тощие сосенки, а потом сосны исчезают совсем, и лес становится светлым, нарядным. Даже тропа расширяется: можно ехать по ней вдвоём.

Лейтенант Ракитский пустил коня рысью. Впереди стала видна большая поляна, окружённая пышными берёзами, словно раздобревшими на белых хлебах купчихами, между ними кучками сбились маленькие берёзки, похожие на голенастых девушек-подростков. Ракитский набрал повод и, прижав шенкеля, крикнул:

— А ну поднажми!

Конь взял в намет и понёсся через поляну, всю в седой голубике, и там, где он немного сбивался с тропы, оставались красные, словно смоченные кровью, следы.

Галопом Ракитский пересёк поляну и, не сдерживая коня, углубился в лес. Осадил лишь тогда, когда низкая ветка больно хлестнула по лицу и сбила фуражку.

«Ещё не хватало перед самой встречей синяков нахватать», — упрекнул себя лейтенант и подождал коновода. Дальше ехали шагом или, где тропа была совсем широкой, рысью.

Среди берёз стали встречаться сосенки. Задавленные, хилые, жалкие. Но лейтенант Ракитский смотрел на эти гибнущие сосенки, как и на те, окружённые могучими соснами и кедрами, берёзки, с уважением. Они казались ему смелыми бойцами, ворвавшимся в стан врага. Они гибли, но их смерть не была бесцельной — вслед за ними пробивались другие деревья, и им уже было легче: они побеждали.

Каждый раз, когда проезжал лейтенант Ракитский границу между враждующими берёзами и соснами, он думал о том, как всё в природе сложно, как мир суров и жесток и что за право выжить нужно бороться и даже гибнуть. Эти мысли и сегодня возникли у него, но ненадолго: сейчас его больше всего занимала предстоящая встреча. Она уже виделась ему. Вот по тропу бежит Валя. Он тоже бежит ей навстречу. Подхватывает её и кружит на пирсе. Потом они едут к себе домой. Их кони идут рядом, и она не выпускает его руку из своей и говорит, говорит:

«Как здесь чудесно! А ты обманывал меня. И правильно поступал!»

Тропа начала круто взбираться на каменистую грядку, но лес поредел лишь немного: сосны росли на камнях, цепляясь за самые маленькие трещинки. Многие деревья лежали мёртвыми. Ближе к вершине таких деревьев становилось больше — здесь их вырывали с корнями ничем не сдерживаемые весенние и зимние штормы. А рядом с мёртвыми деревьями поднимались, уцепившись ещё тонкими корешками за камни, молодые сосенки.

Объехав недавно упавшее и перегородившее тропу дерево, лейтенант Ракитский поднялся на хребет. Впереди — долина с белоногими березами, между которыми пышно цвели магнолии. Долину сжимали со всех сторон высокие сопки, а в самом её центре блестели на солнце два озера. Большое — Горячее, поменьше — Кипящее. Названия эти им дали давно, теперь же вода в Горячем озере была едва тёплой, зимой даже замерзала, и пограничники переименовали его по-своему — Тарелочкой: сверху, с хребта, оно очень напоминало круглую тарелку. В Кипящем же купались. И летом, и зимой. Все, кто проезжал мимо.

Это стало обязательным правилом. Иначе, говорили, пути не будет.

Лейтенант Ракитский смотрел сейчас на озеро и представлял себе, как они с Валею приедут сюда с заставы (выходные дни, положенные ему для свадьбы, он предполагал провести в конных прогулках по острову, совсем не думая о том, что Валя не умеет ездить верхом), сбавят лошадей, а сами, выбрав зелёную с мягкой периной мха лужайку, расстелют попоны, разденутся и побегут к Кипящему. Потом, покрасневшие, они вернутся на лужайку и лягут на мягкий мох. Она положит голову ему на грудь и прошепчет: «Ой, как бьётся у тебя сердце!» Он ничего не ответит и станет перебирать её мягкие каштановые волосы. А кони будут коситься на них, всхрапывать и возбуждённо ударять копытами о мягкий податливый мох.

— Не искупаемся, товарищ лейтенант? — спросил коновод.

Ракитский даже вздрогнул от этого неожиданного громкого вопроса. Ответил поспешно:

— Нет, нет. Вдруг опоздаем ещё. Нельзя.

Он набрал повод и прижал шенкеля. Но конь неохотно прибавил шаг. Это удивило Ракитского, и он, потрепав коня по гриве, спросил:

— Что с тобой?

Конь настороженно повёл ушами, зашагал размашистей, но немного погодя вновь пошёл тише. Особенно заупряился, когда стали подниматься из лощины. Ракитский понукал его, конь же будто не чувствовал шенкелей, продолжал идти медленно, нехотя, ноги ставил тяжело.

— Что с ним? — спросил Ракитский у коновода. — Чем кормил перед дорогой?

— И мой что-то напрягся весь, — ответил коновод. — Отдай повод — домой повернет.

— Странно.

Ракитский придержал коня и сорвал берёзовую ветку. Хлестнул по крупу, и конь, никогда не знавший ни стека, ни плётки, напряжился, вскинулся в свечку, но в галоп не рванул. Зарысил размашисто, а метров через сто перешёл на шаг.

— Странно! — ещё раз удивленно проговорил Ракитский и снова, теперь уже сильнее, ударил коня веткой.

Тропа, перевалив через хребет, вышла к накатанной просёлочной дороге. Направо — океан. Через четыре километра. Там комендатура и причал. Туда приедет Валя. Уже скоро. Налево — заросли бамбука, а дальше, в глубь острова, — лесозаготовки. Конь Ракитского стал поворачивать налево.

— Да ты что?! — раздражённо крикнул лейтенант, дёрнул правый повод и со всей силой хлестнул коня. Конь рванулся в галоп, но тут же перешёл на рысь, а потом на шаг.

— Не хотят к воде, — сказал догнавший лейтенанта коновод. — Беду, должно, чуют. Тогда перед тайфуном тоже из конюшни рвались.

— Тоже скажешь — тайфун. Солнце такое. Ветра нет. Благодать! Тогда перед тайфуном хмурилось всё, — ответил лейтенант, а на душе у него стало вдруг тревожно. То, о чём он даже запрещал себе думать, солдат высказал вслух.

«Валя же в море!»

Ракитский стегнул коня, потом ещё и еще, заставляя его бежать рысью. Он торопился, сам не понимая для чего. Словно что-то может измениться, если он скорее приедет к берегу.

Ветер пробежал по вершинам сосен и кедров и, будто уколовшись об их острые иглы, разозлился, зашумел сердито и начал трепать разлапистые ветки. Лес заскрипел, застонал.

Лейтенант теперь уже беспрестанно хлестал коня, и тот, подчиняясь воле хозяина, скакал навстречу ветру. Грива и хвост его развевались.

— Аврал! — крикнул Марушев и вбежал со шкафута на мостик.

Ют опустел, будто сдунуло налетевшим ветром молчаливо кутивших матросов. А Марушев уже кричал:

— На клюзе?!

— Семьдесят, — доложили с бака.

— До берега?!

— Двести, — сразу же ответили с юта.

— Сигнальщик! Скорость ветра?!

— Двадцать метров.

А через минуту новый доклад сигнальщика:

— Ветер тридцать метров!

И тут же тревожное с бака:

— Якорь ползёт!

— Машины быстрее! Машины! Чего копаетесь?!

Найдёнов, поднявшийся вслед за командиром на мостик и молча наблюдавший за его действиями, не вытерпел:

— Савельич, зачем людей дёргаешь? Знаешь же: запустить двигатели время нужно. Я же говорил...

— «Я, я»! По осени и баба умная бывает! — грубо оборвал Найдёнова Марушев. — Шёл бы вниз, в тепло. А то опять градусник под мышку будешь совать. Я уж как-нибудь сам разберусь!

Кулаки у Найдёнова невольно сжались. Марушев задел самое больное. Никто ещё не говорил ему, Найдёнову, что неполноценный он моряк. Да, у него действительно последнее время часто поднимается температура до тридцати семи с лишним градусов и иногда, особенно после ночной вахты, чувствуется большая слабость, тело порой покрывается неприятным, каким-то липким холодным потом. По совету Аборигена сходил он к врачу, тот, выслушав, попросил раздеться, а когда увидел широкую грудь боксера, тугие жгуты мускулов, рассмеялся:

«Не чуди, Володя. Тебе лапы у якорей впору разгибать, а ты... — Потом посерьёзней и спросил: — Может быть, всё же направить в госпиталь? Обследуйся».

«Подумаю», — ответил тогда Найдёнов и вернулся на корабль.

Вскоре ушли на службу. Потом готовились к инспекторской, не до госпиталя было. Капитан-лейтенант Горчаков настаивал: «Поезжай. Управимся». Найдёнов обещал взять направление, но всё откладывал. Замечал, что Горчаков в дождливую ночь всегда подменял его на вахте, и, хотя находил предлог для этого, Найдёнов обижался и даже высказал однажды свою обиду.

«Мнительным ты стал, комиссар, — ответил Горчаков. — Я в сёстры милосердия не записывался».

После этого разговора офицеры корабля больше вообще не говорили о недомогании Найдёнова, не хотели обижать своего товарища. Молчал и Марушев. И вот — бестактный упрёк. Найдёнов не сразу нашёлся, что ответить, так был обескуражен. Стоял со сжатыми кулаками и искал для ответа слова не менее обидные.

— Ветер тридцать пять метров, — донёсся доклад сигнальщика.

И Найдёнов будто только сейчас услышал, что свистят ванты и фалы на ветру, скрипят леера, увидел kloкочущий берег, фонтаны пенных брызг, поднимавшихся в чистое небо после ударов волн о кекуры, увидел, как на Горячий пляж, перед которым не было кекуров, накатывались тяжело и медленно волны, разливались по песку и обессиленными пузырьчатыми языками лизали старенькие ступени одиноко стоявшего у самой сопки бревенчатого домика. Корабль сносило на кекуры.

«В каюте объяснимся. Потом. Сейчас не время», — сдержав гнев, решил Найдёнов. И сказал как можно спокойней:

— Командир, возьми себя в руки. Жизнь людей от тебя зависит. И твоя.

— Дистанция до берега? — закричал Марушев, словно не слышал слов Найдёнова.

С юта прокричали, но ответ не смог пробиться сквозь ветер и грохот волн.

— Да громче там! — потребовал Марушев. И снова не разобрал ответа. Увидев поднимающуюся на палубу Валю, выругался про себя и крикнул в рупор: — Назад в каюту! Без команды не вылезать!

«Нервничает. Орёт. В нокдауне», — думал Найдёнов, наблюдая за поведением командира.

А считали его моряки-пограничники смелым и даже дерзким офицером. Суетлив излишне — это точно, но не трус. Мало кто осмеливался прыгать на шхуны-браконьеры, если те не стопорили ход. А Марушев прыгал. Даже в шторм. С борта на борт и сразу же в ходовую рубку, вахтенного отстранит, команду даст вниз: «Стоп машины». И когда судно-нарушитель налетело на рифы и затонуло, Марушев первым сел в шлюпку. При шторме в четыре балла. И сколько таких примеров. А что случилось сегодня? Может, мера ответственности не та? Тогда был за спиной командира. Теперь сам в ответе. Не по силе ноша?

Да и в тайфун прежде не попадали. Успевали всегда вовремя уходить от страшного глаза бури. А вот теперь глянул он на них. Испугался, видно, неведомого, хотя и известного по страшным рассказам.

«Помочь ему нужно. Чтобы принял боевую стойку. В этом сейчас главное. Моё место там, где трудней», — решил Найдёнов и сказал:

— Спокойней, командир. Я пойду на ют. — Не дожидаясь ответа, скатился по поручням вниз. И тут же доложил зычно: — До берега восемьдесят! — Потом докладывал через каждую минуту. — До берега тридцать! Глубина — три метра! До берега двадцать восемь! Глубина — два семьдесят!

Ветер усиливался. Волны поднялись ещё выше и уже начали перекатываться через корабль, потом неслись к совсем уже близкому берегу, и кекуры, как клыки, распарывали эти волны, а они хищно дыбились, стремились разметать прибрежные рифы; удары волн походили на

грохот близкой артиллерийской канонады. И Найдёнов, и ютовые матросы крепко держались за леера. Сбросит иначе за борт.

До предела напрягаясь, Найдёнов кричал:

— До берега восемнадцать! Глубина — два пятьдесят!.. — и мысленно торопил мотористов: «Скорей машины! Скорей! Метров десять ещё и — конец!»

Взглянул на матросов. Лица у всех белые. Смотрят не отрываясь на кипящие среди кекуров волны. О чём они думают сейчас? Тоже, видно, торопят мотористов. Ведь смерть вон она — совсем рядом. Тем, кто не видит вот этого хаоса, легче. Подумал: «Правильно поступил, что сюда пришёл». Вспомнил почему-то радостный возглас Вали, когда поднялась она на палубу, чтобы полюбоваться соревнованием гребцов: «Смотрите! Ветра совсем нет. Здорово как!», её испуганное лицо после того, как на неё крикнул Марушев: «Назад в каюту!..». Потом вдруг вспомнил свою мать, её слова: «Пиши почаще», письмо от неё после того, как написал, что часто стало нездоровиться ему. Письмо тревожное, и просьба в нем: «Вернись, сынок. Обойдётся без тебя море. С границей тоже управятся без тебя, хворого. Не обессилит же без тебя пограничный флот...». Ответил тогда: «Граница и флот проживут, справятся с задачей. Я не проживу без флота». Не поняла тогда мать, да и не понять ей, что такое граница. Здесь каждую минуту можешь встретиться со смертельной опасностью. А если нет опасности, всё равно её ждешь постоянно, её ищешь, к ней рвёшься, часто клянёшь эту беспокойную службу, но никогда уже не сможешь бросить и забыть её. К границе прикипают люди и сердцем, и душой, и разумом и, когда уезжают, о ней тоскуют, её не могут забыть — вот такую, грозную, беспокойную. Вспомнил телеграммы от матери с одним вопросом: «Почему молчишь?» — и ответы, тоже телеграфом: «Жив, здоров, целую». Ответит ли теперь?!

— До берега...

Ветер донёс доклад боцмана: «Якорь встал!»

Корабль вздрогнул и остановился. Найдёнов вздохнул облегчённо и вытер рукавом мокрый лоб. И почти сразу же заработал винт. Вначале робко, потом уверенней и уверенней, и вот уже взбурлилась вода за кормой. Начали выбирать якорь.

Найдёнов посмотрел на ютовых матросов, продолжавших стоять на своих местах, подбодрил их:

— Всё, ребята! Страшное позади!

Перебирая руками по лееру, направился к мостику. А сам думал: «Позади ли страшное? Без локатора горловину как проскочим? А потом что?»

Хотел пройти к радиометристам, узнать, скоро ли наладят они локатор, но передумал. Что он им скажет? Поторопитесь? Они и без того наверняка торопятся.

«Исправят — доложат», — решил он и поднялся на мостик.

Марушев недружелюбно взглянул на него и спросил:

— К Торопову не заглянул?! Шкуру с него нужно спустить!

— Без шкуры он вовсе не работник.

— Защитник, ещё раз на кекуре посидеть захотелось? Спасать только теперь некому будет.

— А ты, Савельич, пока не иди в горловину. Подержись здесь, в центре.

— Легко сказать! — недовольно ответил Марушев. — Вон как крутит.

— Тогда на якоре останься. Пока не так сильный — устоим. Дай команду стопора положить. И машины пусть работают. Если сорвёт — успеем полный врубить и отойти. Я к мотористам схожу. Объясню им все.

— Дело говоришь. Дело.

Прозвучал ответ не так сердито. Понял: это выход из критического положения. Найдёнов уловил, что командир хоть немного, но всё же почувствовал себя уверенней. «Держись, Савельич. Держись!» — мысленно подбадривал он Марушева, пока шёл до люка в машинное отделение. И, уже когда скользил по поручням трапа вниз, услышал:

— Не спускать глаз с якоря!

Машинный отсек встретил Найдёнова резким запахом солярки, сухой жарой и монотонным гулом. Работали оба малых двигателя на «малых», помогая якору держать корабль. Найдёнов жестом подозвал к себе механика, но не успел тот ещё подойти, как резко прозвучал телеграф с мостика: «Полный вперёд». Взревели двигатели, корабль задрожал, как человек, зачоченевший на морозе и вдруг попавший на тёплую печку. Но только напряжение, вызванное столь резким изменением режима работы двигателей, стало спадать, с мостика поступила новая команда: «Самый полный».

«Что там? Якорь не держит?!»

Найдёнов готов был кинуться по трапу вверх, но сдерживал себя. Понимал: уйдёт он отсюда поспешно, вселит в души мотористов тревогу. Неладно, подумают они, наверху. Остался он в машинном отделении, стоял и наблюдал за вахтенными мотористами и механиком. Механик, Найдёнов знал это, недавно сменился с вахты, но по авралу спустился в машинное отделение и вместе с подчинёнными запускал двигатель. Чувствовалось, что он и не собирается уходить отсюда.

Когда команда, поданная с мостика, была выполнена, механик подошёл к замполиту.

— Проведать заглянули, Владимир Георгиевич? Или предупредить, чтобы ко всему готовы были?

— Проведать. Тайфун, кажется, идёт. В океан выйдем, там надёжнее. Понял? Вот и ладно. Пойду к радиометристам.

Повернулся и не спеша стал подниматься по трапу. А в мыслях тревожный вопрос: «Что наверху? На мостик нужно. К радиометристам потом».

Поднялся на шкафут. Ветер тугим потоком обхватил его и потащил за собой. Найдёнов едва удержался, пригнулся и шагнул поближе к надстройке. Посмотрел на берег и успокоился: от него отошли уже метров на пятьдесят. Теперь, бурлящий, грохочущий, он уже был не страшен. Найдёнову показалось, что электрошпиль выбирает якорь. Прислушался. Точно. И не успел ещё подняться на мостик, как ветер донёс доклад боцмана:

— Якорь чист!

— Якорь в клюз! — последовала команда с мостика.

Марушев встретил Найдёнова радостным восклицанием:

— Молодцы, комиссар, радиометристы! Исправили.

— Как ветер?

— Сорок, — ответил Марушев. Лицо его было не сердитым, даже весёлым.

Ванты и фалы теперь уже не свистели, а надрывно выли, море бурлило ещё сильнее, волны с грохотом кидались на палубу, а брызги от них секли козырёк мостика; берег гудел и стрелял, и, чтобы слышать друг друга, офицеры кричали. Найдёнов прикрыл ладонью переговорную трубку:

— Савельич, тайфун идёт, не иначе! От него не укроешься. От нас многое зависит сейчас. Одна непродуманная команда или несвоевременное решение — и некому даже секунды считать будет. На руле молодой. Советую Цыкова Петра. Выход на палубу запретить всем.

— Согласен, — ответил Марушев и включил боевую трансляцию: — Цыкова на руль! По палубе не ходить! Всем находиться на своих местах!

— Старшина 2-й статьи Цыков заступил на вахту. На румбе сто двадцать градусов, корабль слушает руль хорошо, — сразу же услышали офицеры доклад, и оба удивились: Цыков, оказывается, сразу же, как прозвучал аврал, встал к рулю, чтобы подстраховать молодого рулевого. Командиру же не доложил.

— Ты почему!.. — начал было отчитывать Цыкова Марушев, но Найдёнов, плотно закрыв ладонью переговорную трубу, сказал спокойно:

— Не горячись. Сам виноват. Командовать кораблём нужно. Помнишь, как Абориген учил? — пригнулся к трубе: — За инициативу, Пётр, спасибо. Но докладывать командиру нужно.

Марушев молчал. Насупился. На скулах — желваки. Усы-шнурочки оцетинились. Ничего не стал говорить больше и Найдёнов. Смотрел на белые гребни бегущих навстречу волн, на узкую горловину впереди, в которой взбешённые волны металась между кекурами, и думал: «Проскочим горловину — считай, спасены». Оглянулся на берег. Не слишком далеко отошли. Всё хорошо видно. И яростную битву воды и гранита, и раздольный накат волн на Горячий пляж, и домик, уже с оторванным крыльцом и выбитыми рамами. Теперь он казался беспомощным слепцом, прижавшимся к сопке в надежде получить у неё защиту, а волны хлестали и хлестали его старенькие стены. Те самые волны, которые злобно перекачивались через корабль и не хотели выпускать его из своих объятий.

Усиливался и ветер. Горловина между клешнями-сопками напоминала аэродинамическую трубу. Ветер дул с такой силой, что корабль едва-едва полз вперёд, хотя двигатели работали на полную нагрузку. В хорошую погоду всего здесь двадцать минут ходу, а они шли уже второй час.

— Добавить бы оборотов. Дотемна кекуры нужно пройти, — заговорил Марушев, словно спрашивая совет у замполита.

— Не стоит, Савельич. Двигатели беречь нужно. И так они на пределе.

И снова замолчали. Смотрели на пенящуюся горловину. Прямо над ней на прозрачном небе появилась небольшая лохматая тучка и начала быстро расползаться во все стороны. Через несколько минут небо почернело, и хлынул тропический ливень. Потоки хлёстких струй обрушились на корабль.

— Иди в каюту, — приказал Найдёнову Марушев. — Нет!

— Вниз к рулевому тогда.

— Нет! Пока не выйдем в море, я не уйду с мостика.

Дождь ручьями скатывался со штормовок, затекал в голенища сапог, бил в лицо, а скоро промокли и штормовки, стали холодными и тяжёлыми. Заливало и экран локатора, а теперь без него нельзя было обойтись: приближались к горловине. Приходилось непрерывно протирать экран. И когда он был чистым, тогда, буквально на мгновение, ярко светились берега, скалы и неглубокие подводные рифы, но дождь вновь и вновь заливал экран. Марушев и Найдёнов поочередно протирали его, перепроверяя друг друга. Вели корабль на ощупь. Цыков выполнял команды быстро и чётко.

Минут через двадцать вошли в горловину. Корабль начало кидать ещё сильнее. Теперь волны били по носу, по бокам, по корме. Чтобы устоять на мостике, офицерам приходилось крепко держаться за поручни. От локатора не отходили. Корабль медленно, но уверенно маневрировал между кекурами.

— Штуртрос не лопнул бы, — проговорил негромко Марушев, но Найдёнов услышал эти слова и удивился.

Найдёнову казалось, что командир уже поборол в себе растерянность, вызванную столь необычной обстановкой и возникшей в связи с этим ответственностью, обрёл уверенность. Во всяком случае, вёл себя на мостике более спокойно. Найдёнов даже думал, что зря не послушал Марушева и не ушёл с мостика. И в самом деле, после такого холодного душа температура наверняка поднимется, начнётся кашель, а это ему уже страшно надоело. Стоило бы побывать и у пассажиров. Какие мысли сейчас у перепуганной Вали, у майора и его жены? Сидят в носовом кубрике, где удары волн особенно слышны, и не знают, что же происходит вокруг. Разные, видно, предположения и догадки лезут в голову. А может, свалили их страх и морская болезнь на матросские койки? В машинный отсек можно было бы ещё раз спуститься. Марушев справился бы здесь и сам. Такие мысли возникали у Найдёнова, но теперь он понял, что, оставшись на мостике, поступил верно. Непроизвольно высказал Марушев вслух то, что тревожило его, видимо, давно и неотвязно. Но почему та трагедия вспомнилась ему?

А ведь тогда его действия восхищали всех. Отплавали бы тогда Найдёнов, Цыков и другие пограничники, если бы не Марушев...

В тот день Абориген, получив штормовое предупреждение, как всегда, не ушёл в укрытие, а остался в проливе. Ветер вскоре усилился, море зарядило барашками, тучи опустились низко и потемнели, и, казалось, они едва держались на небе, готовые вот-вот рухнуть вниз, в пенное море, раздавить корабль. На вахте стоял Марушев, тогда ещё старший лейтенант. Капитан-лейтенант Горчаков и старший лейтенант Найдёнов сидели в своей каюте. Горчаков читал книгу, но видно было, что не воспринимал он того, что читал. Прислушивался к ударам волн о корму. Потом отложил книгу и прошёлся по каюте. Остановился возле Найдёнова.

— Что, Володя, снова очерк пишешь?

— Да, Дмитрий Тихонович. О том, как шхуну-шпионку задержали.

— Погонялись за ней, это верно. Давно я её за приметил, и вот — взяли всё же. — И вдруг сменил тему разговора: — Уходить бы, комиссар, нужно. Чует моё сердце, хороший штормяга будет. Но подождём малость. Я на мостик к Савельичу пойду.

Ушёл, а минут через двадцать по трансляции была объявлена боевая тревога: в проливе появилась неопознанная цель. Небольшая шхуна без опознавательных знаков. Шла она прямо на пограничный корабль. Думали, наверное, на шхуне, что пограничники ушли, побоявшись

шторма. Увидев сторожевик, начали поспешно разворачиваться, но Горчаков перевёл ручку телеграфа на «Самый полный», корабль, распарывая волны острым носом, понёсся наперехват и вскоре перегородил шхуне путь отхода. Она была вынуждена остановиться. Капитан-лейтенант Горчаков подвёл свой корабль почти вплотную, насколько позволял шторм, и моряки осмотровой группы на ходу перепрыгнули на шхуну.

Она оказалась грязной. Противно пахло тухлой рыбой, прокисшими водорослями и прелыми сетями. Команда была одета убого. Мотор — маломощный, старенький. Всё на этой шхуне вызывало жалость. Но быть может, именно эта убогость и насторожила Найдёнова. Ещё и то, что сети, чиненные-перечиненные, лежали на палубе словно напоказ. И крабы были не убраны. Совсем немного крабов. Их вполне успели бы выкинуть за борт, пока пограничный корабль приближался к шхуне. А не сделали это. Видимо, чтобы их признали за браконьеров.

Найдёнов подозвал Цыкова и приказал:

— Пошуруйте получше.

Через несколько минут пограничники принесли в штурманскую рубку совсем новый морской бинокль, фонари для подводной съёмки, а в штурманской под крышкой стола нашли карты с проложенными маршрутами вблизи наших берегов. На картах — пометки глубин и другие какие-то знаки, не понятные для пограничников. Найдёнов просемафорил на корабль: «Крабы — ширма». Получил ответ: «Шхуну считать задержанной. Следовать за мной в базу».

Дело привычное. Ведут шхуну хозяева, пограничники же наблюдают за их действиями. Внизу — мотористы, на палубе — матросы, на мостике — Найдёнов и Цыков. Найдёнов не упускает из виду свой корабль, а Цыков не сводит глаз с капитана, который сам стоит на руле. «Пом-пом-пом» — торопливо стучит мотор, и шхуна упрямо лезет навстречу волне и ветру. Горчаков ушёл на мило вперёд и сбавил ход, чтобы не слишком отрываться от шхуны.

Часа четыре прошло. Ветер усилился, море взгорбилось. Баллов уже шесть. Но ползёт шхуна. Остойчивость у неё хорошая. Вошли в узкий пролив между двумя островами. Ещё часа три ходу — и укроются они в бухте, ошвартуются у причала. Уйдут с этой насквозь пропахшей гнилью шхуны. Штаб разберётся, что это за птица, а им, морякам, — снова идти и искать нарушителей границы. Расследование не их дело. Вещественные доказательства найти — вот их задача. А они нашли их. Вполне достаточно, чтобы без зазрения совести доложить командиру части: «Предварительный осмотр позволяет сделать вывод: шхуна в наши территориальные воды вошла с разведывательной целью».

Кораблю, задержавшему такую шхуну, — почёт. Найдёнов уже обдумывал, как коротко и убедительно обосновать причину задержания шхуны, обдумывал доклад о действии моряков при осмотре, он даже представлял себе, как командир части пожмёт руку и Аборигену и ему, Найдёнову, и скажет: «Спасибо! Как всегда — молодцы!». Найдёнов мысленно уже был в базе и не предполагал, какое испытание готовит ему судьба. Началось оно неожиданно. Старший лейтенант Найдёнов не сразу сообразил, что произошло, когда увидел, что Цыков оттолкнул капитана от штурвала и начал легко, безо всяких усилий вращать штурвал вправо и влево.

— Что случилось?

— Штуртрос лопнул, что ли? Или соскочил где? — ответил Цыков.

— Проверить! — приказал Найдёнов и добавил: — Команду шхуны на корму и охранять!

А ветер сразу стал сносить шхуну с курса, хотя она и продолжала ползти вперед.

— Точно. Штуртрос, — доложил Цыков. — Срастить нельзя. В нескольких местах разорвался.

«На что идут. Заранее подготовлено», — думал Найдёнов и вместе с тем искал выход из создавшегося положения.

— Цыков, поищи трос потоньше и нарасти, — приказал Найдёнов и услышал, что двигатель стал работать с перебоями, а немного погодя, словно выдохнув, с большой паузой: «пом... пом» и — заглох.

Шхуну сразу развернуло и понесло на кекуры, среди которых бесилось море.

Цыков пытался срастить штуртрос, мотористы — завести мотор, но у них ничего не получалось. Найдёнов передал светодиском на корабль: «Рулевое управление и двигатель вышли из строя. Несёт на рифы».

Прибрежные рифы приближались. Вот волна приподняла шхуну и опустила кормой на острый, как гигантский наконечник стрелы, камень. Гранит пропорол корпус и палубу, и нарушители, кучкой стоявшие на корме под охраной пограничников, с криком кинулись на нос.

— Всем на бак! — приказал Найдёнов и своим морякам, находившимся наверху, сам же кинулся к люку машинного отсека и резко крикнул мотористам: — Всем наверх!

По пояс мокрые (вода уже наполнила трюм до половины), вылезли на палубу мотористы и тоже перебрались на нос.

Шхуна не тонула. Нос её то поднимался на гребень волны, то опускался вниз, корма, надетая на камень, скрежетала; потом шхуну начало разворачивать, но путь носу преградила высокая скала, и волны стали бить шхуну об эту скалу, перекатываться через палубу, сдирать надстройки и палубу. Через несколько минут от шхуны остались лишь одни шпангоуты, голые, как выброшенные на берег рёбра кита, обглоданного касатками. За эти шпангоуты-рёбра крепко держались пограничники и нарушители. А волны хлестали их, пытались оторвать и швырнуть в кипящую пучину.

Говорят, в минуту смертельной опасности память человека воскрешает наиболее важные события прожитой жизни. Может быть. Но Найдёнов в те минуты думал только об одном: как удержаться на шпангоуте. Он боялся. За себя, за матросов осмотровой группы. После каждой волны он считал их. И смотрел на свой корабль, который уже вернулся и в нерешительности держался против волны в нескольких десятках метров от кекуров. И как он мог подойти? Разбить корабль? Погубить людей? Положение безвыходное. И вдруг увидел Найдёнов, что корабль спускает шлюпку.

«Безумие! Погибнут!» — подумал Найдёнов, но вопреки этой тревожной мысли радость охватила его, и он крикнул:

— Братцы! Держитесь! Спасут нас!

Вёл шлюпку Марушев. Сделали два рейса. Два раза рисковали жизнью, но спасли всех. После этой ледяной морской ванны, хотя и растёрли их спиртом на корабле, а врач части заставил вылежаться в палате, у Найдёнова стала болеть голова и при самой небольшой простуде подниматься температура.

О том случае ни разу ещё не вспоминали в походах. У причала, на берегу — другое дело. Но в походе, да ещё в такой обстановке, когда малейшая неисправность, ошибка рулевого или ошибка их, офицеров, смахивающих воду с экрана локатора, чтобы лишь на мгновение

увидеть светящиеся рифы и определить, куда направить корабль, могут привести к гибели, — вспоминать о том трагическом случае совсем неуместно. И Найдёнов спросил Марушева:

— Савельич, а тогда, в шлюпке, ты о чём думал?

— «Тогда, тогда»! — огрызнулся Марушев и прильнул к локатору. Линии берега и точки рифов блеснули справа и слева, и дождевые потоки снова залили экран. Марушев смахнул воду, ещё раз, ещё... Сказал Найдёнову: — Вышли, кажется. Не верится. Посмотри.

Марушев не ошибся. Корабль прошёл горловину, и впереди уже не было рифов и мелей. Только ветер и волны. Марушев направил корабль прямо на волну, перевёл вначале на «Полный», затем на «Средний». Приказал радисту сообщить капитану Жибруну, что вышли в открытое море, на борту все живы и здоровы, потом повернулся к Найдёнову и спросил:

— Что, комиссар, не будем спешить? Миль на пять уйдём от берега и встанем против волны?

— Другого выхода нет, — ответил Найдёнов и добавил: — Пойду к пассажирам.

— Ты что, спятил?! Здесь едва стоим, впору привязываться к нактоузу! Чай у них есть. Сам видел, как наливала жена майора в термос. А если травят, ничем не поможешь!

— Пойду. Слово бывает нужнее чая. Я вернусь скоро, — ответил Найдёнов и повернулся к трапу.

Не скатился по поручням, а медленно, крепко держась за них, стал спускаться на шкафут, а ветер бил его, отрывал от трапа. Спустившись, Найдёнов не отпуская поручней, выждал, когда очередная волна скатится с палубы, и лишь тогда пробежал несколько шагов и упал, крепко обхватив кнехт. Прокатилась мимо него холодная жёсткая волна, а как только сошла, пробежал ещё вперед, к горловине вентилятора, и, прежде чем следующая волна захлестнула палубу, он уже лежал, крепко держась за горловину. Выбирал, куда сделать следующую перебежку. Впереди — утка, а дальше — укрытое в брезент орудие. Правее орудия — кнехт. Лучше к кнехту, за него удобней всего держаться.

Волна схлынула, Найдёнов побежал. Но не успел. Накатившаяся волна подбила его, и он, падая, едва лишь дотянулся до кнехта. Ноги его больно ударило о фальшборт.

«Смоет, чего доброго!» — подумал Найдёнов, подтягиваясь к кнехту. Новая волна потянула за борт, но Найдёнов уже крепко держался за кнехт и, пропустив её, перебежал к центру палубы, к горловине вентилятора, которая выходила из носового кубрика, куда пробирался Найдёнов. Ещё один бросок — и он нырнёт в люк.

В носовом кубрике ждали, чтобы хоть кто-нибудь заглянул к ним и сказал, куда они плывут и долго ли ещё будут взлетать, как на качелях, вверх и вниз и с замиранием сердца слушать монотонные глухие удары волн о борт корабля. Молчали. Валя и Людмила Тимофеевна лежали, Александр Степанович сидел за столиком и бесцельно барабанил пальцами по коричневому линолеуму. Он только что подал женщинам в крышке термоса по глотку чаю и ещё не лег.

Когда был объявлен аврал, он хотел подняться на палубу, но Валя опередила его. И сразу же вернулась. В глазах удивление и испуг.

— Что творится! Капитан кричит: «Сидите внизу!» — а море куда-то бежит, зелёное какое-то стало!

Майор направился было к трапу, чтобы увидеть все своими глазами, но Валя остановила его:

— Капитан сказал: всем нам не высовывать носа. Злой он какой-то.

Майор Корниенко удивился: ведь он не женщина, а офицер, заместитель командира по политической части, и имеет право знать всё и даже помочь, если нужно. Наверх, однако, не пошёл. На пограничном корабле он был впервые и не знал, какие здесь существуют порядки.

«Понадоблось, позовут».

Валя возбуждённо стала ходить по кубрику, но вскоре в отчаянии воскликнула:

— Не могу больше! Тошнит, — и легла на койку.

Людмила Тимофеевна подала ей ломтик лимона: — На, Валюша, покислись. Полегчает немного. Но лимон почти не помогал. Качка усиливалась. Койка то поднималась вверх, то падала, будто в пропасть, и тогда холодело в груди и тошнота подступала к горлу.

Вскоре легла и Людмила Тимофеевна, и теперь майор Корниенко ухаживал за ними, то подавал ломтики лимона, то разворачивал «Взлётные», то наливал чай. А часа через два положил Вале и жене возле подушек по горсти конфет и лег тоже. Поднимался с большим трудом только тогда, когда женщины сами просили пить.

Пока за Вале ухаживали Людмила Тимофеевна и Александр Степанович, она думала лишь о том, как сдерживать тошноту, чтобы не убирала за ней эти добрые пожилые люди, когда же морская болезнь свалила и их, Валя почувствовала себя одинокой, и её начали одолевать самые жалостные мысли. Она в отчаянии проклинала тот час, когда родилась у неё мысль приехать к Николаю самой, неожиданно. Вообразила себя Екатериной Ивановной Невельской. Та проехала по тайге верхом тысячу сто вёрст, чтобы добраться до мужа. И Вале тоже захотелось ехать к своему Николаю непременно верхом, через топкие болота и обязательно, как и Екатерина Ивановна, заболеть дорогой и не останавливаться, а ехать и ехать. Она читала всё, что попадалось ей под руку о Сахалине, о Курильских островах и вообще о Дальнем Востоке. Она читала и будто отчётливо видела чахлые, больные, перекрученные штормами деревья, которые от ветра качаются из стороны в сторону, гнутся до земли и печально скрипят, будто жалуются кому-то на свою незавидную судьбу. Она представляла себе праздничное село со спящими в тени мужиками и ищущими друг у друга в головах женщинами. Она жалела, словно своих дочек, искусанных комарами девочек — дочерей морского офицера, сподвижника Невельского, жившего по долгу службы в дремучей тайге. Она и себя видела

искусанной, но весёлой, потому что Коля, её Коля, тоже живет в тайге по долгу службы и он не должен видеть, что ей с ним трудно.

Когда долго не было писем от Николая, она тревожилась за него. Боялась, что Колю так же коварно, как Головнина и его матросов, захватили и теперь связанного, голодного и избитого ведут неизвестно куда и он не может подать о себе весточку. Она даже рассказывала о своей тревоге близким подругам, но они в ответ восклицали:

«— Даёшь, Валька! Века не путай!»

«— Подлость и коварство во все века одинаковы», — задумчиво отвечала Валя.

Она торопила время, но время, как назло, не спешило. Защиты диплома и госэкзаменов она едва дождалась. И как только получила диплом, сразу взяла билет. На самолёт.

...Нудный гул вместо комариного писка, мягкое откидное кресло вместо седла, услужливая стюардесса вместо хмурого, неразговорчивого проводника, бокальчики с минеральной вместо таёжной ключевой воды. И город на берегу моря, большой, шумный, как и её приморский город, только не солнечный, а хмурый, туманный. Романтики, той романтики, о которой Валя мечтала, не было. Ей пришлось стоять за билетами в очереди, такой же раздражительной и шумливой, как все очереди во всех городах. Корабль тоже оказался очень похожим на тот, на котором они с Николаем ездили на прогулку по Чёрному морю.

Она долго стояла на палубе и смотрела в безбрежную морскую даль, которую ей предстояло пересечь, прежде чем обнять своего Колю. Несколько дней пути мимо знакомых по книгам островов. Теперь она увидит их своими глазами, а не глазами авторов книг, и сравнит. Ощутит перемены. Она так размечталась, что не слышала, как подошёл к ней майор-пограничник. А когда он спросил: «Вы брали билет до Горячего пляжа?» — она вздрогнула и воскликнула:

— Ой! Напугали даже.

— К кому, если не секрет, едете?

— Уж не попутчики ли мы? — вопросом на вопрос ответила Валя.

— Если до Горячего пляжа, то — попутчики. И я, признаться, очень рад этому. Такая милая девушка к нам. Русалка на острове.

Майор говорил грудным, удивительно мягким голосом и добродушно улыбался. Эта улыбка очень шла к его крупному загоревшему лицу.

— Да, я не представился. Корниенко Александр Степанович. Если скучно, прошу в гости.

Она согласилась сразу же. Он привел её к каюте первого класса и открыл дверь. Валя вошла и увидела сидящую у иллюминатора полную блондинку. Женщина вопросительно посмотрела на Вальку, хотела что-то сказать, но Александр Степанович опередил её.

— Попутчица наша. Одна, скучает, вот и позвал. Вaley звать. А это моя жена Люда. Людмила Тимофеевна.

Людмила Тимофеевна встала и радушно пригласила:

— Проходите, Валькуша. И впрямь в компании веселей.

Людмила Тимофеевна очень походила на мужа. Тоже невысокая и такая же полная, как и он. Она была какая-то домашняя. Улыбалась, как и он, — добродушно. Даже голос был похож. Вальку это немного удивило и развеселило.

«И мы с Колей тоже будем похожи друг на друга. Смешно».

— Вы уже, Валюша, бывали на острове? — спросила её Людмила Тимофеевна, чтобы сразу занять гостью разговором.

— Нет. Первый раз. К мужу еду, — ответила Валя и поправилась: — К жениху. К Коле. Он на заставе служит. Вы, может быть, знаете его? Ракитский?

— Откуда. Тоже только едем. Сашу вот моего перевели сюда, — пояснила Людмила Тимофеевна и поинтересовалась: — А не страшно одной? Видать, от мамы ещё никуда не отлучалась.

— Что вы! Ездил. По туристской путёвке в Крым.

— Ну, тогда конечно. Опытная путешественница, ничего не возразишь, — с иронией проговорил майор Корниенко и, помолчав немного, сказал уже другим тоном: — А если честно — завидую вашему будущему мужу.

Валя улыбнулась.

Теплоход уходил всё дальше от берега. Началась качка. Погода стояла безветренная, но с востока шла зыбь. Валю затошнило, и она хотела уйти к себе в каюту, но Людмила Тимофеевна запротестовала:

— Ни в коем случае. Вот здесь на диванчике и устраивайтесь. В вашем третьем классе людно и духотища, должно быть. — Достала лимон, термос с чёрным кофе и мятных конфет. — Запаслись мы. Всё, что советовали, набрала я. Пригодится, думаю.

Так и осталась Валя у них. Людмила Тимофеевна ухаживала за ней, Александр Степанович рассказывал о границе. О степной, знойной, откуда они приехали сюда. Вале эти рассказы казались неправдоподобными. Перегрелся мотор газика, и солдаты бросили его в пустыне и побежали по следу. У машины, в которую впряжены тридцать лошадей, не хватило сил, у людей — хватило. Какие они, эти люди? Возможно, сами о себе они слагают приукрашенные легенды? Не верилось Вале, что вот этот невысокий полный майор мог по раскалённому песку пробежать без отдыха марафонскую дистанцию. А майор рассказывал о погонях, о бессонных ночах просто, как о чём-то обыденном, будничном. И голос его, грудной, мягкий голос, звучал как-то по-домашнему буднично и уютно. Байки так не рассказывают, и Валя всё больше и больше убеждалась: не приукрашивает Александр Степанович. И проникалась уважением к майору-пограничнику. Думала: «И Коля мой такой же».

Валю удивляло, отчего Александр Степанович совсем не реагирует на качку, словно давно привык к морю. Хорошо держалась и Людмила Тимофеевна, только время от времени отрезала себе ломтик лимона и отказалась от обеда. А майор и сам удивлялся тому, что не берёт его морская болезнь.

— Кавалерист я, — высказывал он предположение, — оттого, видно, и держусь. Кавалеристы — народ закалённый.

— А я отчего? — спрашивала Людмила Тимофеевна и сама же отвечала: — У каждого, Саша, свой организм. И лошади тут твои ни при чём. Любишь покрасоваться. Лучше бутерброд возьми.

Валя улыбалась, слушая незлобивое ворчание Людмилы Тимофеевны, и думала: «А Коле понравится, если я так же буду? И такая же заботливая. Чтобы всё, как у неё, припасено, все заготовлено, — и упрекнула себя: — А я платьев набрала только. Мама предлагала варенье и

мёд. Ещё что-то просила взять. — И тут же успокоилась. — Ладно, пришлёт, если здесь не будет...»

— Пойдёмте на палубу, — предложил Александр Степанович. — Море посмотрим. На свежем воздухе, говорят, тошнота проходит.

И действительно, на палубе Валя почувствовала себя намного лучше. Стояли молча. Могучая безбрежность подавляла. Даже Валю, которая привыкла видеть море до горизонта. Но то, Чёрное, искристое, изнеженное, обогретое солнцем, манило, а это, хмурое, холодное, с гордыми бесконечными волнами, пугало скрытой властной, неизмеримой силой. Казалось, море снисходительно мирится с тем, что по нему ползёт теплоход, и если захочет, перевернёт играючи и похоронит под своими холодными волнами это прекрасное творение человеческого разума и человеческих рук. Валя даже поёжилась. Людмила Тимофеевна заметила это и спросила:

— Холодно?

— Да нет. Страшно...

Теперь, лёжа на матросской койке, то взлетающей вверх, то падающей в бездну, Валя как будто вновь, только более сильно, испытывала тот возникший на теплоходе страх. Она представляла себе, как переворачивается корабль, а холодная вода сжимает её тело и тянет вниз, на дно. Ей казалось, что пошевелись она, и произойдет катастрофа. Она лежала без движения. Какими мелкими, ненужными представлялись теперь все её прежние мысли и поступки, её сумасбродная идея поехать сюда не с Николаем, а одной, чтобы удивить его. И не только ради этого. Теперь она признавалась себе, что владела ею и другая мысль: её поступок на всю жизнь давал ей право говорить о самоотверженности ради любви. А в случае размолвки упрекнуть Николая в том, что он не может ценить её любовь.

По-иному она думала сейчас и о Людмиле Тимофеевне и Александре Степановиче. Она даже удивлялась, как могла завидовать им, относиться к ним с искренней симпатией. Неужели вот эти по-мещански добренькие, заботливые супруги, со свёртками, кулёчками, мешочками и термосом, могли стать для неё идеалом семейной жизни?! Как могла она принять обычную в человеческих отношениях услужливость матросов, не позволивших ей нести вещи, и радушие встретивших её офицеров корабля за признак пограничной дружбы. Семейной дружбы.

Тот же офицер, усатый, который заявил, как теперь ей представлялось, самодовольно: «Доставим к мужу в целости и быстро», — тот же офицер, когда что-то случилось на корабле, закричал так, как никто ещё на неё не кричал. Потом ещё раз сердито прохрипел в динамике его голос: «Выход на палубу запрещая!» — и все забыли о них.

«Семья! Никому я не нужна. Никому», — думала с тоской Валя. Слезы текли из её глаз, мокрым пятном расплываясь по наволочке. А койка то взлетала вверх, то падала в бездну, и тогда холодело всё в груди. Волны глухо били о борт, корабль содрогался. Валю начало рвать.

Лейтенант Ракитский проскакал мимо штаба пограничной комендатуры, через село к причалам. Коня осадил у пустынного пирса. Ветер гнал на него высокие волны, они с грохотом разбивались о сваи и веерами взвивались вверх, а ветер хватал эти веера и с шумом хлестал ими берег. Брызги долетали и до Ракитского, били его по лицу, но он даже не замечал их, внимательно, словно ощупывая, рассматривал корабли, прижавшиеся к Палтусовому мысу.

Мыс этот, широкий, с высокой каменной грядой, и в самом деле был похож на огромного палтуса, ткнувшегося головой в берег. Он защищал залив от ветра с востока. К нему сейчас и прижимались все корабли. И те, которые стояли до начала тайфуна у пирса, и те, которые успели зайти в залив. До мыса было мили две, и Ракитский лишь по силуэтам определял типы кораблей. «Большого охотника» среди них не увидел. Не поверил себе, осмотрел ещё раз, ещё и ещё. Нет. Перевёл взгляд на острова, возвышавшиеся немного западнее Палтусового мыса. К островам медленно, как улитка, подползал малый рыболовецкий траулер. Далековато был, видимо, от залива, когда начался тайфун, не успел спрятаться, и вот теперь едва преодолевал встречную волну и ветер. Несколько кабельтовых отделяло его от первого высокого острова, за которым волны не так высоки и ветер тише, но как трудны эти сотни метров. Порой казалось, что ветер сносит небольшое судёнышко в океан. В безбрежный, зелёный, взгорбленный.

С надеждой посмотрел лейтенант Ракитский в сторону западного мыса. Низкий, длинный, как весло, он уходил далеко в море, и волны в нескольких местах даже перекатывались через него, как через брекватер. Он — не защита от ветра. Знал это Ракитский, но как утопающий готов ухватиться за соломинку, так и лейтенант сейчас хватался за мысль: «А вдруг?!» Но никакого корабля не было ни перед мысом, ни за ним. Лишь одиноко стоял посредине мыса на возвышенности приземистый домик — пост технического наблюдения и радиосвязи. Рядом с домиком — антенны, тоже невысокие, с крепкими растяжками. Из этого домика сейчас поддерживали связь с кораблем. Там знают, где он и что с ним. Там знают о Вале. Ракитский галопом поскакал к западному мысу.

«Вдруг на берегу она?! Не села на корабль?!» — с надеждой думал Ракитский, хотя ясно помнил слова коменданта капитана Жибруна: «Выезжай встречать. Марушевский корабль уже в Горячем пляже. Взял её на борт» — и понимал, что она на корабле, в море. Он торопил коня.

Когда подъезжал к домику, увидел с подветренной стороны коновода коменданта с конями. Тревога его усилилась.

«Случилось что-то! Неспроста комендант здесь!» Спрыгнул с коня, торопливо поднялся по ступеням, рывком открыл дверь и с порога почти крикнул:

— Что с кораблём?!

Капитан Жибрун молча протянул текст радиogramмы. Ракитский схватил листок и, прочитав: «13.00. На борту всё в порядке. Марушев», безвольно опустился на скамейку. Сидел обмякший, безразличный ко всему.

— Ты офицер, лейтенант. А не кисейная барышня. О прибытии не доложил! И сейчас на кого похож? На корабле не одна твоя невеста, там матросы, офицеры, там мой новый замполит с женой. А телеграмма эта не значит, что корабль вне опасности. Тайфун идёт, Николай

Остапович. Тайфун! Но терять надежды не следует. Трезво на всё нужно смотреть, лейтенант! И потом, ты же, лейтенант, — мужчина. Начальник заставы, в конце концов!

Капитан Жибрун отчитывал лейтенанта не оттого, что и в самом деле был недоволен им. Нет, капитан понимал состояние молодого офицера, мчавшегося сюда на крыльях любви, которые вдруг надломились, и он рухнул в бездну, полный страха, сомнений, предположений. А надежд не так уж и много. Капитан и сам, когда начался тайфун, не мог оставаться в кабинете, приказал седлать лошадь и поскакал на пост технического наблюдения, чтобы узнать о корабле не по телефону, а самому читать радиogramмы, самому запрашивать корабль. Он винил себя за то, что попросил Марушева взять на борт пассажиров, хотя поступил так, как поступал уже десятки раз до этого. А разве мог он на этот раз предположить, что так неожиданно взбесится океан? Он пытался оправдывать себя, но чувство вины не проходило. А когда радист начал всё чаще и чаще ловить SOS — сигналы бедствия неизвестных судов, Жибрун расстроился окончательно. В это время и появился лейтенант Ракитский. Возбуждённый, испуганный. И капитан не смог сдержать себя. Он заговорил гневно, искренне, и не только для того, чтобы вывести лейтенанта из полушокового состояния, но ещё и потому, что хотел заглушить свои сомнения и свою тревогу.

Потом вдруг осёкся и сказал совсем другим тоном:

— Рано падать духом. Поехали-ка в штаб. — Затем повернулся к начальнику поста и приказал: — О всех радиogramмах сообщать немедленно!

До штаба комендатуры ехали молча. Лошади шли ходко, словно торопились оставить позади этот узкий участок каменистой земли, на который так зло катились волны и где не было никакого укрытия от тугого ветра, сбивающего с ног. Поторапливали коней и всадники. Они едва держались в сёдлах, почти легли на шеи лошадей и ухватились за гривы.

А небо вдруг словно опрокинулось. Начался ливень. Через несколько минут пограничники промокли до нитки. Кони пошли тише, осторожней, напряжённо ставили ноги на мокрые и ставшие скользкими камни.

Мыс наконец остался позади, дорога стала лучше, и кони пошли быстрее. Вот и село. Ветер здесь тоже свистел и выл, метался между домами, хлестал пригоршнями дождя лошадей и всадников. Лошади зарысили. Сами, без понукания. Предвидели, наверное, что скоро уже будет конюшня. Тихая, тёплая, сухая.

У крыльца штаба капитан Жибрун первым спрыгнул с коня и приказал:

— Расседлать, обтереть хорошенько, задать овса. А тебя, лейтенант, прошу ко мне.

Встретивший их дежурный офицер доложил капитану Жибруну, что на участке комендатуры никаких происшествий не произошло, связь с кораблём есть, но Жибрун, как только вошёл в кабинет, сам позвонил на пост и попросил прочитать поступившие радиogramмы. Последняя особенно обнадеживала: «14.40. Вышли в океан. На борту все живы и здоровы». Записал её на перекидном календаре, оторвал листок и подал лейтенанту:

— Прочти, Николай Остапович.

Лейтенант не сразу понял, что от него хотят. Он стоял у порога и бесцельно крутил в руках мокрую тяжёлую фуражку, смотрел на капли, падавшие с фуражки и куртки на крашеный пол, и не видел этих капель. Думал о Вале.

— Прочитай, говорю, радиogramму, — повторил капитан Жибрун, и тогда только Ракитский подошёл к столу и нерешительно протянул руку за листком. Он боялся читать, боялся увидеть сообщение о трагедии. А когда прочитал: «Все живы и здоровы», вздохнул облегченно.

— Будем надеяться на лучшее. Ученики Горчакова корабль ведут. А тот из любых передряг выходил целым и невредимым, — проговорил будто самому себе Жибрун и, помолчав немного, приказал: — Раздевайся. Доложишь, как дела на заставе.

Но лейтенант Ракитский не успел раздеться. В кабинет коменданта вошёл дежурный и сообщил:

— Старшина с «Горячей» докладывает: японскую шхуну выбросило на берег. Экипаж, кто остался жив, разбежался по лесу, в глубь острова. Застава начала поиск. К берегу несёт ещё две шхуны.

— Понятно! Начальника штаба ко мне. Седлать коней мне и лейтенанту Ракитскому. С нами — десять человек. — Жибрун будто рубил фразы. — Выезд через пять минут. Действуйте. — Подождал, пока выйдет дежурный, сказал лейтенанту: — Видишь, Николай Остапович, как получается. Ни поговорить, ни просохнуть некогда.

Через пять минут, как и наметил капитан Жибрун, группа пограничников выехала из комендатуры. Комендант сразу пустил коня в галоп, и они понеслись по лесной дороге, разрывая дождевые потоки. А ветер обгонял их, пытаясь сорвать всадников с сёдел. Но чем дальше углублялись они в лес, тем заметнее обессиливал ветер, только деревья стонали и скрипели. Теперь лес, которым всего несколько часов назад восхищался Ракитский, — теперь тот же самый лес казался лейтенанту неуютным и страшным. Изогнутые, перекрученные стволы деревьев, особенно ближе к хребту, напоминали ему огромных кобр, готовых кинуться на жертву, или горбатых уродцев, жалобно стонущих под ударами ветра.

Чем выше всадники поднимались, тем чаще приходилось им объезжать вырванные с корнем деревья. Совсем недавно они весело тянули свои жёсткие, обветренные ветви к солнцу, а теперь погибли.

«Вот так и Валя может погибнуть. Только ей тяжелей. Она с ужасом ждёт гибели, понимая всю её жестокую нелепость».

— Как думаешь поиск организовывать? — спросил капитан Жибрун, придерживая коня и подождав, пока лейтенант с ним поравняется.

— Как? — переспросил Ракитский, которого вопрос застиг врасплох. — На месте решим.

— А может, нам всем туда и ехать не следует? Встречный поиск? А?

«Прав комендант, время сэкономим», — согласился лейтенант Ракитский. Он представил себе берег, то место, куда выбросило шхуну, и самый близкий путь от него к лесу. Он мысленно проследил самый вероятный путь движения экипажа шхуны и сказал:

— Вправо нужно, товарищ капитан. За озёрами сразу. По распадку, полагаю, пойдут. Заросший он, магнолии густо стоят, есть где укрыться.

— Согласен. Бери людей. Как только перевалим к озёрам — повод вправо, — ответил Жибрун.

— Я сам — на заставу. Те две шхуны, должно быть, выкинуло уже.

Когда они спустились с перевала, дождь прошёл. Ветер здесь стал тише. Пересекли поляну, а затем разъехались. Комендант со своим коноводом порысил по тропе к заставе, а начальник

заставы свернул в густой сосновый лес, грозно, предостерегающе шумевший. Стволы деревьев раскачивались, и белорозовые гортензии вздрагивали, словно пугаясь чего-то, и, казалось, ещё плотней прижимались к шершавым толстым узловатым стволам. Но лейтенант сейчас не замечал ничего этого, он беспрерывно думал о Вале, тревога за её жизнь не покидала Ракитского ни на мгновение. Управлял же он лошадью, выбирая более удобный путь, то пускал коня рысью или галопом, то осаживал, искал следы, командовал людьми — словом, делал всё, что положено делать во время поиска, машинально. Со стороны же казалось, что он сосредоточен только на одном: как быстрее разыскать скрывшийся в лесу экипаж погибшей шхуны.

Наткнулись пограничники на японских моряков неожиданно. Они сидели кучкой за высоким камнем, в затишке. Дрожали. А когда он стал подъезжать, вскочили и побежали в разные стороны.

— Стой! — крикнул Ракитский. — Стой!

Выстрелил из пистолета в воздух.

— Стой!

Несколько человек наконец остановились. Покорно побрели обратно за камень, а пограничники, ехавшие справа и слева от лейтенанта, начали окружать тех, кто не подчинился команде. Через несколько минут все были собраны. Стояли и дрожали. То ли от холода, то ли от страха.

За два года, которые лейтенант прослужил здесь, он видел уже несколько раз вот таких же испуганных японских матросов. Это всегда удивляло Ракитского. Ведь ни разу ничего дурного пограничники не сделали японцам. Наоборот, всегда помогали, иной раз спасали от гибели. Потом, накормленные, обогреты, они заискивающе улыбались, благодарили, хотя и притворно. А год назад поведение экипажа японского торгового судна, севшего в тумане на мель милях в трёх от заставы, особенно поразило Ракитского.

Несколько часов тщетно пытались японцы снять свой корабль с мели. Помощи не просили. И тут подул ветер. С каждым часом он всё усиливался. Кораблю грозила гибель, и Ракитский, думая, что, возможно, нет на корабле лодок, вышел на катере на помощь. Ракитский видел, как японцы, понявшие, что катер идёт к ним, побросали всё, торопливо спустили шлюпку и погребли в открытое море. Из всех сил налегали на вёсла. Словно гнался за ними страшный дракон.

Не мог понять Ракитский мыслей и поступков японцев, ибо не представлял себе, что с детства вбивают им страх перед всеми русскими.

Ракитский догнал лодку и отбуксировал её на заставу. Потом, когда спасённых везли на остановленную пограничным кораблём японскую шхуну, только синдо был грустен. Он знал, что всё равно жизнь для него потеряла смысл: хозяин выгонит, другие не возьмут нерадивого мореходца, а у него четверо детей. Все остальные японские моряки притворно улыбались, беспрестанно благодарили пограничников.

Так же поведут себя и эти, сейчас испуганно прижимавшиеся друг к другу.

Оставив для сопровождения несколько пограничников, поскакал на заставу. Торопился узнать, что с Валею, вместе с тем думал и о том, как поступить, чтобы больше не рыскать по лесу в поисках разбежавшихся экипажей японских шхун. И другое нужно учитывать. Ведь не

исключено, что, если есть среди экипажей шхун разведчики (а кто даст гарантию, что их нет), они могут, пользуясь моментом, укрыться на острове.

«Нужно перекрывать нарядами то место, куда шхуну будет гнать».

Лейтенант торопил уставшего коня. За ним, немного поотстав, скакали гуськом коновод и пограничники из комендатуры.

Выскочил на сопку. Ту самую сопку, с которой несколько часов назад лейтенант любовался цветущей гортензией, мечтая о встрече с Валею. Ветер, здесь уже ничем не сдерживаемый, хлестнул его, и лейтенант едва удержался в седле. Пригнулся к шее. Конь остановился, напряжился.

Отсюда, с сопки, хорошо были видны застава и большая часть участка: песчаный берег с клыками- камнями впереди. Сейчас волны бесились возле камней, а миновав их, со злым стоном круто катились на берег, потом опадали, и их обессиленные пузырячатые языки проглатывал песок. Справа и слева от заставы, на песке, чернели остовы японских шхун, а ветер к берегу гнал ещё три. Одну — почти к самой заставе, две другие — левей примерно на километр. К тем местам уже спешили пограничники.

Лейтенант дождался, пока все пограничники поднимутся на сопку, разделил их на две группы и послал помочь нарядам, вышедшим навстречу шхунам.

— Двигайтесь по опушке. Если кто попытается скрыться в лесу, задерживать.

Сказал и почувствовал какую-то неловкость. Понимал, что нужно бы ехать с одной из групп на берег, но оправдал себя: «Я же должен узнать, что делается на заставе».

И тут же с недовольством подумал: «Почему я должен врать себе? Перед собой оправдываться?! Я хочу скорее узнать о Вале! И что в этом плохого? Успею и к нарядам выехать».

Ракитский отдал коню повод, и конь мелко зарысил сквозь тугой ветер на заставу. Лейтенанту хотелось нестись во весь опор, но он лишь слегка понукал коня, понимая, что не под силу ему скакать навстречу такому сильному ветру. Застава приближалась медленно.

Капитан Жибрун сразу же, как только лейтенант вошёл в канцелярию и начал докладывать, что экипаж японской шхуны задержан, прервал Ракитского и сказал:

— В семнадцать двадцать радиограмма была: «Держусь. Все живы».

Ракитский опустился на стул, уткнул лицо в ладони. Сел и Жибрун. Молчали долго. Потом капитан встал, одёрнул и расправил гимнастёрку. Солдатская гимнастёрка, которую ему дал старшина вместо мокрого кителя, была велика, и капитан казался в ней новобранцем.

— Пойдём, лейтенант, японцев спасать. Распорядись, чтобы куртку старшина мне принёс. Сам быстро переоденься. Три минуты на всё!

Лейтенант побежал домой, а когда открыл дверь и увидел на столе нежные магнолии, телеграмму: «Выехала, встречай», забыл, что нужно спешить. Прошёл в спальню и остановился напротив фотографии.

«Доедешь ли, Валуша?! А что я без тебя делать буду?!»

Он не слышал, как постучал в дверь капитан Жибрун, как вошёл в квартиру. Голос капитана прозвучал неожиданно.

— Ещё не переоделся?! Гибнут японцы! Одну шхуну на кекурах разбило. Побежали. — Сказал и повернулся к выходу.

Ракитский ещё раз взглянул на фотографию Вали и торопливо вышел вслед за комендантом.

А капитан уже пересёк двор заставы и открывал калитку. Лейтенант побежал, чтобы догнать Жибру-на, но это оказалось не так-то просто. Невысокий, щуплый, в великоватой куртке с чужого плеча, капитан Жибрун казался неуклюжим подростком, улепетывающим во время игры в «пятнашки» от водилы, и, как ни напрягался Ракитский, как ни старался делать шаги чаще и шире своими длинными ногами, расстояние между ними почти не сокращалось. Когда Ракитский подбежал к тому месту, где пограничники, собрав в кучку экипаж выброшенной на берег шхуны, пытались вытащить из волн обессиленных японских моряков той шхуны, которая разбилась на кекурах, капитан Жибрун уже кричал громко группе, которая находилась на опушке:

— Лошадей сюда! Галопом!

«Здорово как!» — мысленно похвалил капитана Ракитский, сразу понявший замысел Жибруна. Японские матросы с разбитой шхуны все доплыли до берега, но вырваться из плена одичавшего моря не могли. Швырнёт человека волна на песок, и только начнёт он подниматься, чтобы убежать подальше от воды, следующая волна налетит и утащит назад в пенистый водоворот. Играет, как кошка с пойманной мышью. Обессиленные матросы пытались уползть от волн на карачках, по-пластунски, но и это им не удавалось. Начали рваться у них спасательные жилеты. Люди гибли, а пограничники ничего не могли сделать: волны, если кто подходил поближе, сбивали с ног. Один едва выкарабкался обратно на песок. На лошадях же можно было заехать дальше и подать утопающим чембурь.

— Скорей! — ещё раз крикнул капитан Жибрун, хотя пограничники стегали коней и быстро, насколько позволял ветер, приближались. И как только первый всадник подъехал, комендант скомандовал: — Слезай!

Снял оголовье, затем недоуздок и, надев внорь оголовье, запрыгнул на коня. Направил его к волнам. Конь захрапел, попятился, но Жибрун стегнул его чембуром, конь подчинился. пошёл в пенистые, грохочущие волны, хряпя и вздрагивая.

Капитан бросил японскому моряку недоуздок, тот вцепился в мягкий сыромятный ремень мёртвой хваткой, конь, подчиняясь воле всадника, рванулся на берег, и налетевшая волна лишь обдала брызгами капитана. Один японец был спасён. А в волны уже въезжали Ракитский и другие пограничники. Через несколько минут вытащили всех. Даже совсем обессиленного. Ракитский спрыгнул с коня в воду, ухватил матроса за ремни спасательного жилета и, держась за хвост лошади, выволок его на песок.

— Здорово, — похвалил лейтенанта капитан Жибрун. — Смело!

Ракитский ничего не ответил. Он смотрел на японского матроса, неподвижно лежавшего на песке, и думал: «А кто Валу спасет?! Кто?!» И даже когда один из пограничников крикнул: «Товарищ лейтенант! Ещё одна шхуна!» — он не сразу понял, что докладывают ему.

Шхуну несло ещё на километр левей, и пограничники поспешили туда. Начало быстро темнеть. Жибрун приказал едущему рядом солдату:

— Давай на заставу. Следовые фонари сюда. Передайте: с наступлением темноты включить прожектор. На максимальный режим.

Пока пограничники дошли до того места, куда, как они предполагали, выбросит шхуну, совсем стемнело. Ветер, казалось, подул ещё сильнее. Пограничников буквально валило с ног, а море, теперь ставшее чёрным, рокотало ещё грозней. Ходовые огни шхуны, словно светлячки, мигали в темноте, то взлетали вверх, то исчезали совсем. С каждой минутой они приближались, и вот уже стал виден чёрный силуэт шхуны. Пограничники ждали, пронесёт ли её мимо кекуров или разобьёт о них.

Пронесло. Чёрная громадина с треском и скрипом вылетела на берег, осела набок; следующий вал приподнял корму и, развернув, бросил далеко на песок. Корпус заскрежетал, но не развалился. С палубы скатилась на песок бочка, упали ящики и ещё какие-то предметы. А люди всё не показывались.

Пограничники поближе подошли к шхуне, Жибрун даже крикнул: «Жив кто есть?!» Ветер подхватил этот крик и смешал его с грохотом волн. Со шхуны никто не отозвался.

Вернулся солдат со следовыми фонарями, прыгнул с коня и подал фонари капитану Жибруну и лейтенанту Ракитскому, потом доложил:

— Товарищ капитан, дежурный по заставе про сил передать: связь с нашим кораблём потеряна. Локатором тоже не видно.

Лейтенант молча взял у солдата коня, запрыгнул на него и направил к борту шхуны. Встал на седло и, ухватившись за борт шхуны, поднялся на палубу. Через несколько минут крикнул: «Мёртвые все!», прыгнул со шхуны на песок и пошагал, ссутулившись, на заставу.

— Ох и не ко времени ты со своим докладом! — упрекнул солдата Жибрун.

— Ну вы же приказали дежурному немедленно...

— Приказал!.. Приказал!.. А сам что, совсем без понятия?

Найдёнов скатился по трапу вниз и, вдохнув тёплый, удушливо-кислый воздух кубрика, закашлялся. Вода струйками стекала с бушлата — и на полу сразу же образовалась лужа.

— Товарищи, гость к нам! — радостно воскликнул майор Корниенко и тут же спросил тревожно: — Что там, наверху? — а сам торопливо поднялся, открыл чемодан и начал вынимать из него свитер, тёплое белье, портянки. — Переодевайтесь, пожалуйста. Женщины отвернутся. А воздух... Уж извините. Рвёт Валюшу. Качка. Я убираю, как могу, но...

— Не каждый моряк выдержит такой шторм. Я удивляюсь, как вас наизнанку не вывернуло, — поборов кашель, ответил наконец Найдёнов. — Переодеваться я не буду, не беспокойтесь, товарищ майор. Пойду сейчас. Заглянул проведать. Узнать, не нужно ли чего. И как настроение. Вот только воду из сапог вылью. А наверху ветер и волны. Дождь прошёл.

— Тогда чайку горячего? — спросил майор Корниенко.

— Не откажусь, — согласился Найдёнов и сел за столик.

Горячий чай, тёплый пол, который приятно грел размякшие от мокрых портянок ступни ног, мокрая одежда, прогретая сухим, горячим воздухом кубрика и тёплым компрессом облепившая тело, разморили Найдёнова. Ему нестерпимо захотелось лечь на матросскую койку и уснуть. Но он переборол это желание, ругнул себя мысленно: «Раскис! Или на берегу уже!», потёр ладонью вспотевший лоб и распрямился.

— Спасибо за чай! А теперь о деле. Ради чего я пришел к вам.

— Сказать, что скоро причалим к берегу? — прервала Найдёнова Валя.

— Увы, нет. Утешать и обманывать не стану. Сам не знаю, когда. Мы идём носом против ветра и будем так идти, пока не стихнет ветер. Ни вправо, ни влево мы повернуть не можем: волна захлестнёт корабль. В тайфун попали. В кольцо жарких рук какой-нибудь святой Цецилии или Констанцы. Унесёт она в своих объятиях сотни судов, тысячи моряков и оставит океан в штилевом безмолвии скорбеть о душах погибших. Вот тогда мы пойдём к берегу. И узнаем, именем какой женщины назвали люди этот тайфун. Короче, раунд будет длинным. Так себя и настраивайте. И ещё, самое главное, вам необходимо надеть спасательные жилеты. Немного неудобно в них будет лежать, но что поделаешь?

Найдёнов достал из рундуков три жилета, помог майору Корниенко, Людмиле Тимофеевне и Вале надеть их.

— Теперь я пойду, — сказал он и, натянув промокшие насквозь кирзачи, добавил: — Не унывать. Если что, мичман Лукашин к вам прибудет. Все его команды выполнять беспрекословно.

Затянул капюшон и поднялся по трапу вверх.

Грохот моря и вой ветра оглушили. В глаза сразу бросилось: носовое орудие без чехла. Брезент, только что, видимо, сорванный, лежал ещё на палубе, а волна торопливо сбегала обратно в море через шпигаты. Корабль взлетел на самый гребень, высоко задрал нос, накренился до предела на левый борт, потом, перевалив вспененный гребень, ухнул килем в пропасть между волнами и накренился на правый борт. Казалось, сейчас он проткнёт носом несущуюся навстречу волну и захлебнётся, но волна жёстко, как боксёр в скулу противника,

ударила корабль, подбросила нос, накренив налево, швырнула тонны воды на палубу; вода эта подхватила мокрый тяжёлый брезент, словно лёгонький ситцевый лоскуток, и выбросила его за борт. Найдёнов смотрел на все это, крепко держался за поручни трапа и не решался сделать первого шага. Пропустил ещё одну волну, ещё, ещё... Наконец, выбрав момент, перебежал к орудию и упал, ухватившись за рычаги крепления. Волна перекатилась через него, сорвала сапог и потащила его к фальшборту.

«Уцелеет, может?» — мелькнула мысль, но тут же Найдёнов забыл о сапоге: новая волна едва не оторвала его от орудия.

— Смоет, гадина! — ругнулся Найдёнов, крепче сжимая холодный металл. А как только волна схлынула, перебежал к вытяжной горловине и обнял её крепко-крепко.

Сейчас им владела одна мысль, одна цель: скорее уйти с палубы. Его охватил страх; ему казалось, будто какое-то огромное, невидимое, но живое существо вот-вот схватит его и унесёт в своих объятиях в эти купоросно-пенистые волны. Найдёнов торопливо перебегал по палубе, падал, переживал волны, снова вскакивал — делал все расчётливо, хотя страх, холодивший душу, цепко держал его.

Добежав до люка и спустившись вниз, Найдёнов безвольно прислонился к трапу и смотрел бездумно на лужу, растекавшуюся у ног. Захотелось спать. Так и заснул бы прямо здесь, умопившись на жёстком трапе. Веки отяжелели, и поднять их Найдёнову уже не хватало сил, он уже начал забываться в тяжёлой дреме, но усилием воли поднялся и поспешил в каюту, чтобы скорей сбросить с себя всё мокрое. Переодеваясь, думал: «Нельзя расслабляться! Нельзя! Судьба людей в твоих руках. Их жизнь. И твоя тоже».

А сам чувствовал сильную усталость. Ноги и руки словно распушенная вата и дрожат. Не сдержишь. Найдёнов даже разозлился на себя, встал в боксёрскую стойку, напряг мускулы, как на ринге перед раундом, ударил несколько раз воздух «крюком» левой и правой и, быстро одевшись, прошёл к радисту, узнал, хорошо ли слышен берег и какие новости, потом поднялся в штурманскую. За штурманским столом сидел старпом лейтенант Ергачев и вёл прокладку. Коробка с карандашами «Тактика» ёрзала по столу от бортика к бортику, и Ергачев всё пытался остановить её. Найдёнов склонился над картой.

— Не сносит? Держимся?

— Да, Владимир Георгиевич. Пока держимся. Почти на одном месте, — ответил старпом. — Ветер, однако, усиливается. Думаешь, куда уж сильнее, а вот смотри ты — рвёт.

— Если мы ещё несколько часов...

Громкий голос командира прервал Найдёнова. По боевой трансляции Марушев приказывал:

— Всем надеть спасательные жилеты! Всем надеть спасательные жилеты!

— Что-то случилось?! Почему же командир не информирует? — недоумённо спросил старпом.

— Командир прав. С тайфуном плохи шутки. А случилось?.. Поднимись на ГКП, узнаешь. Думаю, ничего страшного.

Найдёнову и самому не терпелось узнать, отчего Марушев приказал всем надеть жилеты. Двигатели работают нормально, пробойн нет, всё вроде хорошо для такой обстановки — и вдруг.

«Нужно идти к нему. Сейчас же!»

Но поднялся на мостик не сразу. Вышел со старпомом из штурманской, подошёл к рулевому.

Старшина 2-й статьи Цыков, казалось, даже не услышал, что рядом стал замполит. Он продолжал смотреть вперед, на бегущие валы, и крепко держал руль. Он будто прирос к нему и через него чувствовал, куда нужно повернуть корабль, чтобы нос его шёл точно на волну. А чтобы качка не мешала управлять и волна, вскидывающая нос корабля и переваливающая его с боку на бок, не оторвала от руля, не отбросила в сторону, Цыков привязал себя к основанию руля. Лицо Цыкова, широкое, скуластое, сосредоточенное, все было в крупных бусинах пота. Пот стекал к подбородку и висел на нём тяжелой каплей.

— Устал? Не сменить ли, Пётр? — спросил Цыкова Найдёнов.

— Нет. Выдержу.

— Здесь самый тяжёлый участок, — сказал Найдёнов и сам подумал: «Зачем я это?»

И в самом деле, зачем? Петра Цыкова обидели слова замполита. Он, Цыков, сам, не дожидаясь приказа командира, сменил на руле молодого матроса; он был уверен в себе, знал, что выполнит любую команду разумно, быстро и точно, — он понимал всю меру ответственности, которую взял на себя, и напоминать ему об этом не следовало бы. Ответил недовольно:

— Везде сейчас — главный участок. Особенно, товарищ старший лейтенант, на мостике.

— Верно, — согласился Найдёнов. — Но и от руля, сам знаешь, многое сейчас зависит. Почти всё. Так что — обижаться не следует. В общем, так держать.

— Есть.

Найдёнов поднялся на мостик. Громко, чтобы не заглушили его слова шум волн и ветер, спросил:

— Что случилось, Савельич?

Марушев повернулся к Найдёнову. Глаза — как угли горячие, на скулах — желваки, усы топорщатся щетиной.

— Я вот объяснил этому юнцу: шлюпки смыло! Тебе-то, думаю, ясно: случись что с кораблём, некогда будет вязочки вязать! Ремешочки затягивать!

— Я твой заместитель — и не знаю, что смыло шлюпки.

— А их только что...

— Я в каюте находился. Матросы тоже в кубрике и на вахте. Вот и гадают сейчас, что произошло. Не против команды я. Верная она. Только не нужно было ниже пояса бить. Согнуть людей можно. А самому, Савельич, жилет бы снять.

— Всё учишь! Учишь! — огрызнулся Марушев, но жилет начал расстёгивать.

— Советую, Савельич. Советую. Боюсь, люди бы духом не упали. Знаешь, что Цыков сказал? Говорит: наверху самый главный сейчас участок. Ты — флаг корабля! Пойми. Сообщи людям о шлюпках.

— Сам сообщи, — уже более спокойно сказал Марушев. — Ты комиссар.

Найдёнов включил боевую трансляцию.

— Товарищи! Тайфун смыл шлюпки. И не собирается утихать. Бьёт нас по скуле волна. Всем, кто на вахте, быть предельно внимательными. От каждого сейчас зависит наша жизнь. Сколько продлится вахта — никому не известно. Но уставать и расслабляться мы не имеем права. У нас на борту женщины. Командир надеется.

Что-то затрещало позади, за надстройкой, Найдёнов обернулся и увидел: вершина мачты медленно падает.

«Нет флага! Побьёт все мачта. Палубу просадит!» — с тревогой подумал Найдёнов, но, не изменив тона, сообщил:

— Ещё одно испытание: вырвало из гнезда мачту. Придётся, возможно, рубить. — А сам думал: «Риск смертельный! Кого послать?! Добровольцев?!» — И продолжал говорить по боевой трансляции спокойно: — Мы уверены, что матросы нашего корабля выдержат все испытания.

Выключил микрофон, посмотрел на Марушева. Глаза их встретились, и Найдёнов даже удивился: такая спокойная уверенность была в глазах командира.

— Верно сказал: рубить! И выдержать должны. Я пойду к мачте.

— Савельич, я сам, — ответил Найдёнов. — Твоё место здесь. Уводи корабль от островов. Дальше в море — меньше горя.

Сказал, словно обрубил. И не стал ждать согласия командира, спустился вниз, торопливо прошёл ходовую рубку, пробежал мимо штурманской по узкому коридору, стучаясь от качки плечами о переборки, и открыл дверь. Ветер и мелкие хлесткие брызги завихрили в открытую дверь, и Найдёнов невольно прикрыл лицо рукой, и тут же отдернул руку и шагнул на шкафут.

Похолодело у него в груди, когда увидел разбитый прожектор, снесённые леера, горловины, утки и кнехты. А мачта раскачивалась как маятник, продолжая сносить, словно тонкие спички, леерные стойки то на правом, то на левом борту, а когда корабль нырял в провал между волнами, хлестала по палубе. Фалы болтались, будто обрывки гнилого шпагата, от антенн не осталось и следа. Гафельный флаг, оторвавшись, захлестнул верёвкой уцелевшую леерную стойку и неистово трепался на ветру.

«Рубить! Пробьёт палубу над машинным отделением — погибнем. Оверкиль!»

Да, гибель тогда неминуема. Заглохнут двигатели, и не сможет корабль противостоять ветру и волнам, понесётся, как ореховая скорлупа, не подчинённая воле экипажа. А вода, которая начнет попадать в отсеки, нарушит остойчивость корабля, и не выдержит он таких, как сейчас, кренов и наверняка перевернётся. Для Найдёнова было очевидно, что от мачты нужно освободиться во что бы то ни стало. Только не ясно, как это сделать. Вырванная из гнезда, она крепко держалась на болтах башмака в кольце металлической опоры. Она могла оторваться в конце концов и сама, но не скоро. Рискованно ждать этого, но ещё более рискованно рубить её. Она ходила как маятник между спаренными установками крупнокалиберных пулемётов, иногда даже стучаясь об них. При такой качке не то что рубить, просто устоять на краю шкафута невозможно, если не держаться. А держаться за пулемёты опасно: раздавит мачта или собьёт.

«При малейшей неосторожности — гибель. А не срубить мачту — все погибнем!»

Мысли, торопливые, беспокойные, владели сейчас Найдёновым. Окончательное решение никак не приходило.

— Товарищ старший лейтенант, позвольте нам с Данилой Тороповым? — спросил Найдёнова мичман Лукашин. — Вдвоем одолеем.

В то время когда свалило мачту, мичман находился у локатора. Экран сразу угрожающе зашипел, старшина 1-й статьи Торопов выключил локатор и проговорил со вздохом:

— Моя вахта кончилась.

Они слышали, как старший лейтенант Найдёнов торопливо прошёл через ходовую рубку, чувствовали, как вздрагивает корабль под ударами мачты.

— Пойду посмотрю, чем помочь можно, — сказал Лукашин и спросил Торопова: — Не откажешься, если что?

— Да вы за кого меня?..

— Понятно все. Не пыли.

И теперь, стоя за спиной старшего лейтенанта, увидел всё и подумал: «Вдвоем нужно рубить. В связке. Один держится за пулемёт снаружи, другого держит на веревке». Об этом и сказал Найдёнову.

«Молодец, мичман!» — мысленно похвалил Лукашина Найдёнов, а вслух сказал:

— Нет. Двоим не позволю. И я с вами. От двух пулемётов держать станем. Давай топор и концы. Быстро. Я командиру доложу.

Вернулся в ходовую рубку и доложил по переговорной трубке:

— Товарищ командир, рубить будем Лукашин, Торопов и я. Прошу разрешения.

— Береги себя, Володя. Иди, — ответил капитан-лейтенант негромко и спокойно. Найдёнов даже не сразу узнал голос Марушева.

— Всё будет в порядке, Савельич, — ответил Найдёнов и выскочил в коридор. Там уже Лукашин и Торопов, упёршись плечами в переборки, чтобы устойчивей стоять, обвязывались веревкой. На полу лежали два топора. Лезвия их, ударяясь друг о друга, звякали, как далёкий надтреснутый колокольчик.

— Я начну, — сказал Найдёнов, обвязался верёвкой и взял топор. — Двинулись.

Он представлял себе, как трудно придётся рубить, но что это потребует такого напряжения и таких усилий, не думал. Встать пришлось на самый край шкафута, чтобы мачта, если при слишком большом крене и ударит, не придавила бы к пулемёту; а устоять на краю было очень трудно — Найдёнов только сейчас по-настоящему почувствовал, как «ходит» под ногами палуба, то падает вниз, и тогда холодеет внутри, как на самолёте, когда он проваливается в воздушную яму, то взлетает вверх и одновременно кренится вправо или влево. Однако, не главным было устоять. Главное — рубить. Успеть ударить топором, когда мачта приближается. А если не рассчитаешь хоть на немного, удар придется по воздуху, а то и по собственной ноге.

Прошла минута, вторая, третья... Найдёнов всё рубил и рубил. Крепкое сухое дерево звенело, надруб, поначалу неровный, все выравнивался и углублялся. От пота щипало глаза, руки наливались свинцом, но Найдёнов всё рубил и рубил. Ветер хватал мелкие щепки и уносил в

пучину, похожую в свете прожектора на расплавленный, бурлящий малахит. Найдёнов приловчился и уже не стал ждать, когда приблизится к нему мачта, он, наступая и отступая, двигался вслед за ней и рубил почти непрерывно. Теперь Лукашину и Торопову приходилось не просто держать старшего лейтенанта, а то отпускать, то натягивать веревку.

— Всё! Сменяемся! — устало крикнул Найдёнов и, переждав, когда мачта уйдет от него, выбежал к башмаку.

Развязывая веревку, чтобы поменяться с Лукашиным, старший лейтенант увидел, как Торопов достал из кармана носовой платок и украдкой, чтобы никто не заметил, обвязал им кисть руки. Платок сразу побагровел от крови.

«Верёвкой содрал! Заменить? — подумал Найдёнов, но увидел, что и у мичмана Лукашина ладони словно ошпарены кипятком, а вокруг ногтей запеклась кровь.

— Давай, Олег, вперёд, — сказал Найдёнов и шагнул за пулемёт. Обнял ствол, прижался к холодному мокрому металлу и крепко сжал верёвку. Не отрывал взгляда от Лукашина, регулировал натяжение веревки, сообразуясь с движением мичмана и креном корабля. Верёвка вырывалась из рук, он старался не выпустить её и не чувствовал, что из-под ногтей начала выступать кровь.

Мичман Лукашин взмахивал и взмахивал топором, щепки летели через корму в воду, лишь самые крупные падали на палубу, но и их тут же смывала волна. Мачта моталась, как кренометр при сильной качке, хлестала по палубе над кормовым кубриком и машинным отсеком. Кто быстрее. Или они срубят мачту, либо она пробьет палубу.

«Чаще меняться нужно!» — подумал Найдёнов и крикнул:

— Смена!

Торопов рубил ловко. Он, выросший в деревне, умел обращаться с топором. Силы ему тоже не занимать: первый разряд по гребле. Надруб углублялся быстро. Но вот и Торопова удары стали слабеть.

— Смена!

Снова топор в руках у Найдёнова. Снова пот застилает глаза, но Найдёнов рубит и рубит, вкладывает в каждый взмах всю силу, словно это решающий удар, который свалит противника в нокаут.

Ещё взмах, ещё... Мачта в месте надруба треснула. Ещё взмах, ещё... Мачта взметнулась обрубленным концом вверх, зацепила рукав штормовки, разорвала его, выбила топор — Найдёнов покачнулся, но верёвка, натянутая Лукашиным и Тороповым, удержала его. Он стоял и смотрел, как мачта, скользя с борта, медленно, колом уходила в бурлящий в лучах прожекторов малахит.

«Всё!»

Найдёнов подошёл к надстройке, отвязал веревку, подождал, пока сделают это же Лукашин и Торопов, и приказал:

— Отдыхать. Идите к нам, в офицерскую.

— Я в носовой кубрик проберусь, — возразил мичман Лукашин. — К женщинам.

— Разрешите, и я тоже, — попросил Торопов.

— Хорошо. Только передохните немного.

Устало открыл дверь в коридор и взглянул на часы. Начало девятого. Впереди длинная ночь. Страшная ночь. Постояв немного, он медленно поднялся на мостик.

— Срубили, Савельич.

— Видел! Герои вы! А ветер, комиссар, слабеет.

— Спасены, значит!.. Теперь уже точно.

— Куда вы?! Куда?! — вдруг закричал Марушев. Он увидел Лукашина и Торопова, которые выбежали на полубак и упали перед накатившейся на палубу волной. Один ухватился за утку, другой — за вытяжную горловину. — Я же запретил!

— Извини, командир. Я им разрешил. Они попросились помочь женщинам.

— Почему же сразу не сказал?

— Не успел. Виноват.

— Ладно, пусть, — махнул рукой Марушев, отвернулся и увидел, как из кормового кубрика два моториста пробираются к машинному отсеку. Пережидают волну, ухватившись за какое-либо возвышение, и вновь перебегают вперед. Воскликнул недовольно: — А им кто разрешил? Сейчас я им!..

Марушев хотел включить боевую трансляцию, но Найдёнов остановил его:

— Подожди, Савельич, не горячись. Ну, нарушили твой запрет. А ради чего? Почти две вахты люди без смены у машин. Мотористы знают, что это такое. И ты тоже знаешь. Гордись своими подчинёнными. Гордись! Ради товарищей они жизнью рискуют!

— Ну хорошо! Не видел я ничего.

— Верно. И я не видел.

Море молчало. Лишь едва заметные волны безмолвно катились от горизонта и почти бесшумно набегали на песок, и казалось, будто море виновато ласкается к берегу, просит прощения за только что закончившийся ужас, за то, что швыряло на него трупы людей, обломки судов и сами суда, которые теперь, накренившись, грузно лежали на песке. Лейтенант Ракитский смотрел на это успокоившееся море и думал: «Сколько ты погубило людей?! Сколько судеб перековеркало?!» — а сам представлял себе другое море, ласковое, солнечное; видел на Валиных губах, шее, груди, на всём теле Вали его радужные капли, тёплые и соленые; видел лучистую улыбку Вали, слышал радостный возглас: «Ой, Колька, щекотно!» — и ненависть к этому вздрагивающему, хмурому и холодному морю всё росла и росла. Чёрное подарило ему Валю, это — отняло. Он готов был кинуться на него, бить, топтать ногами, но продолжал стоять безмолвно с обнажённой головой на мокром песке. Ласковые пузырьчатые языки лизали подошвы его побелевших от морской соли хромовых сапог.

Вышел он на берег проститься с Валею. Он долго надеялся, что Валя останется живой. И даже тогда, когда дежурный по заставе доложил, что связь с кораблём потеряна и его не ловит локатор, лейтенант ещё заставлял себя не думать о том, что она погибла, да и некогда было думать о личном, когда одну за другой швыряло на берег японские рыболовные шхуны и приходилось спасать обезумевших от испуга людей. Но вот ветер утих, и пограничники вернулись на заставу, лейтенант не мог найти себе места, хотя все ещё пытался убедить себя, что корабль не потонул и Валя не погибла. Но когда, уже утром, капитан Жибрун включил приёмник, чтобы послушать последние известия, и когда диктор подчёркнуто грустным голосом сообщил, что тайфун, пронёсшийся над Курилами и Японией, потопил только у берегов Японии восемьсот семьдесят шесть судов, а на морском железнодорожном пароме погибло более тысячи человек, — лейтенант Ракитский снял фуражку, посидел молча у приёмника, потом встал и пошёл на берег.

Он стоял долго. Даже не заметил, что подул ветер, обычный, какие здесь дуют почти всегда, и море приняло свой обычный вид, зарябило, запенилось у кекуров, зашумело. Ракитский стоял и думал о Вале, о живой, загорелой, весёлой. И не сразу услышал, что к нему кто-то бежит от заставы.

Оглянулся, увидел дежурного. Тот, не добежав, крикнул:

— Товарищ лейтенант, капитан вас вызывает. Скорее велел. И коней приказал седлать.

«Что произошло?!» — подумал Ракитский и быстро пошёл к заставе, не переставая задавать себе вопросы: «Коней зачем? На границе что-нибудь? Заставу бы поднял. А так, для чего?!» И шагал всё торопливей. Потом побежал.

Когда вбежал в калитку, увидел, что коноводы выводят из конюшни оседланных лошадей, капитан Жибрун спускается с крыльца заставы. Крикнул Ракитскому:

— Локатор цель обнаружил. Приближается к заливу. Предполагают, наш «бобик». — Вскочил на подведённого коноводом коня и поторопил лейтенанта: — Пошевеливайся, а то не успеем. — И тронулся рысью.

Конь Ракитского взял, как обычно, с места в галоп, но лейтенант, ещё не догнав капитана Жибруна, передёрнул повод. Ракитскому сейчас хотелось пустить коня полевым галопом, подгонять и подгонять его, чтобы скорей увидеть море и её, Валю, живую, радостную,

нежную. Но разве обгонишь командира, который едет впереди. Рысью. А поваленные деревья, которые, чем выше к хребту, тем чаще попадают, объезжает и вовсе шагом. Похоже, он не спешит.

Капитан Жибрун действительно не торопился. Ему и хотелось успеть к приходу корабля, обнаруженного постом технического наблюдения, и вместе с тем он боялся предстоящей встречи: вдруг это не «большой охотник», не корабль Марушева?

Когда старший радиометрист поста доложил ему, что на экране появилась неопознанная цель и приближается к берегу, а потом добавил: «Возможно, наши это», капитан не сразу решился ехать с Ракитским встречать корабль. Понимал, что если не марушевский корабль, то жестокое это будет испытание для Ракитского: подать надежду, чтобы вновь она рухнула. А если Марушева?! Мог ли он оставить лейтенанта здесь, а сам уехать. Подумал наконец: «Переживём вместе. Или радость, или горе» — и приказал седлать коней. Теперь же, чем дальше уезжали они от заставы и приближались к комендатуре, тем больше сомневался Жибрун, тем назойливей тревожил его вопрос: «Зачем же я лейтенанта взял?! Зачем?».

Коня время от времени всё же стал пускать в галоп, и деревья, угловатые, перекрученные, с плоскими вершинами, добродушно перешептывающимися с несильным ветром, проносились мимо. Когда же выехали на дорогу, Жибрун больше не сдерживал коня.

Выскачили на опушку. Впереди, у причалов, — офицеры, солдаты, жители села. Встречают траулеры, которые укрывались от тайфуна за Палтусовым мысом и теперь один за другим подходят к причалам. Матросы, сойдя на берег, тоже не уходят. Ждут, пока подойдёт поближе корабль, похожий по силуэту на разгруженную баржу. Несколько биноклей переходят из рук в руки.

Капитан Жибрун осадил коня возле толпы, спрыгнул и, ничего не спрашивая, взял бинокль у начальника штаба. Посмотрел на корабль, который уже начал поворачивать в залив, и, передавая бинокль лейтенанту Ракитскому, проговорил взволнованно:

— Наш! Николай Остапович, наш! Живы! Ох, молодцы!

Но лейтенант не слушал капитана Жибруна. Искал биноклем средидвигающихся по палубе силуэтов её — Вали. И увидел. Больше взгляда от неё не отрывал. Когда она скрывалась в носовой кубрик, ждал с нетерпением её появления.

Пограничный корабль, общипанный, побитый, подходил всё ближе и ближе, и теперь Ракитский уже хорошо видел лицо Вали, усталое, осунувшееся; Валя стояла вместе с матросами у надстройки и так же, как и они, молча смотрела на берег. Искала среди толпившихся на берегу своего Николая.

Берег всё ближе. Матросы, зная, что вот-вот прозвучит команда «Приготовиться к швартовке», начали расходиться по своим местам.

— Не терпится швартовы отдать, — проговорил Марушев. — Из смерти выгребли. На твёрдую землю скорее встать хочется.

— Да. Выстояли. Смогли, — согласился Найдёнов. — Выдержали испытание. Не грех и на берегу отдохнуть.

— Любопытная эта штука — жизнь. На берег хочется — это точно. Но мысли уже о ремонте корабля. Об актах на списание погибшего имущества. Ох, уж эти бумаги. Потопим флот под

их тяжестью. — Марушев помолчал немного и добавил: — Да, век себе не прощу, что испугался поначалу. Будто выдул из меня тайфун всё, чему Абориген учил. Если бы не ты...

— Не нужно, Савельич. Я же сказал — выдержали. Вместе. Не каждому выпадает в первый самостоятельный поход такое испытание.

— Что ты утешаешь?! Первый, первый?! Сколько с Аборигеном ходили?! Растерялся я — вот и сказ весь! Нет, мне ещё скоблить и скоблить с себя ракушки! — вспыхнул Марушев, но переборол себя и спокойнее закончил: — Действительно, не нужно. В себе пережить все надо.

— Включил боевую трансляцию и приказал уже совсем спокойно: — По местам стоять. На якорь и швартовые становиться!

Команду эту прервал крик Вали. Громкий, радостный и тревожный:

— Коля! Я здесь!

Валя подбежала к самому борту и, как только корабль коснулся стенки, спрыгнула на причал, прижалась к Николаю и разрыдалась. Ракитский гладил её мягкие волосы и едва сдерживал слёзы.

— Вот она, радость жизни, — сказал Найдёнов и вдруг, побледнев, надрывно закашлялся. Горлом пошла кровь.

— Ты что, Володя?! Что с тобой?! — поддерживая Найдёнова, спрашивал с тревогой Марушев, а когда кашель стих, сказал грустно: — Да, отплавался ты. Какого моряка пограничный флот теряет!

— Не пой панихиду раньше времени, Савельич. Ни разу ещё в нокауте я не был. И не буду. Поплаваем, Савельич. Поплаваем! Помяни моё слово.

И вытер с губ начавшие запекаться капли крови.

РУШНИК

Они вошли без стука. Трое пожилых мужчин в одинаковых светло-серых элегантных костюмах заграничного пошива, в одинаковых светлых шляпах, все трое одинаково рослые и плечистые, каких в народе называют крепко сбитыми, и только лица их — одно по-лисьи заострённое, другое надменно-холёное и третье злобно-хмурое — разнили неожиданных гостей. Злобно-хмурый мужчина остался у двери, остальные прошагали к дивану и, не снимая шляп, вальяжно уселись. Достали сигареты. Чиркнули зажигалками. Тоже заграничными. Всё это делалось молча. Ни тебе: «Здравствуйте», ни тебе: «Дозволяете?» Они вели себя совершенно необычно, но осмыслил это хозяин квартиры Евгений Романив не вдруг. Гости для него — не новость. Последний год к нему приходили разные люди, с различными просьбами. Даже поэты, известные в городе, приносили свои стихи в надежде, что они понравятся и будут положены на музыку; но чаще вваливалась ватага молодых общественников и принималась убеждать его, что если он не выступит у них в клубе, то «земля сойдёт с вековой орбиты» и всё полетит в тартарары; когда же приходили степенные мужчины с подобными просьбами, то и разговоры велись уважительные, солидные. Привыкать уже начал Евгений к своей популярности, к мысли, что нужен людям, но ещё не заматерел и потому, как мог, старался не обойти вниманием. Он только что проводил студента, принёсшего клавир своей дипломной песни. Она понравилась Евгению, тронула его, ибо оказалась созвучной его душевному состоянию; с самого утра он ждал от своей невесты Геленки ответную телеграмму: «Еду. Жди», — а её все не было. Когда студент ушёл, Евгений вновь сел за рояль, чтобы ещё раз проиграть взволновавший его мотив, открыл крышку и начал перебирать клавиши, пытаясь уразуметь, отчего не шлёт ответ Геленка.

Сколько он просидел за роялем? Минуту? Час? Он уже играл не песню студента, а что-то своё; пальцы его машинально гладили клавиши, рождая похоронно-грустную мелодию, но он, похоже было, вовсе не осознавал своего экспромта. И приход гостей он не сразу воспринял как реальность. Потом подумал, ощутив при этом неловкость:

«Не слышал за музыкой звонка. Невеждой сочтут...»

И вдруг метнулась мысль, остудив сердце:

«Я же запираю дверь. Точно! Запираю!»

Гости молчали. Евгений встал, тревожно перепрыгивая взглядом от гостя к гостю и определяя произвольно: «Лис», «Пан», «Боксёр». Ждал, кто же из них первым заговорит.

Но гости молчали. И тогда, храбрясь (какое уж тут спокойствие), решился спросить:

— Яка нужда привела вас до мене? Я слушаю вас...

— Слухать будем мы, — язвительно ответил «Лис», хотя на лице его выдавилось через силу что-то напоминающее улыбку. Не привык он, похоже, и не мог улыбаться, неведома ему доброта в голосе, но пересиливал себя. Отчего? Евгений ещё более оробел, поняв совершенно, что это не грабители.

— Замовкны, — повелевающе бросил «Пан», затем встал и, сняв шляпу и натянув маску полной почтительности на надменное лицо, начал мягко и проникновенно исповедоваться.

Для чего они незванно вторглись? Имеют надежду найти понимание и поддержку у человека с таким именем. Не Коновалец *, верно, а Романив, но всё одно — Евгений. Нет-нет, не денежную.

У них даже марок и долларов в достатке. Им нужен суший пустяк: марш украинских националистов. Через месяц. В крайнем случае, через два. Никто, до лучших времен, не будет знать имени автора. Но с ним они пойдут на Москву, и благодарный народ, став самостийным, воздвигнет ему памятник. Не нужно хмуриться. Памятник и в самом деле — вопрос будущего. Автор сегодня тоже не останется внакладе. Об этом позаботятся закордонные части ОУН. И это не устраивает? Тогда уважаемому композитору можно напомнить наказ Миколы Лебеда *: всякого, кто не хочет оказывать помощь ОУНУ, — сажать на кол. Или, на худой конец, — удавкой. Так даже сподручней. За час до рассвета они вернутся. Сейчас никто здесь не останется. Телефон тоже отключать они не будут. Но если хоть одна живая душа узнает об этом визите, мать и невесту залютуют. Им смерть станет желанной.

Надел «Пан» шляпу, изобразил что-то напоминающее поклон и, молвив: «До побачення», — зашагал к двери. У порога остановился.

— Вас жде тяжкий день. Це буде останний день осуждённого до страти. И ще вся нич, до свиту.

Головной поклон. Жест, предлагающий сотоварищам покинуть комнату. Мягкий шаг за порог. Щелчок замка, и тишина мертвенная.

«Виктором Гюго козыряет! Грамотный! — вскипел Евгений Романив. — Руки коротки выносить приговор! Ушло фашистское время! Ушло!»

Он поднял телефонную трубку, рука его потянулась к диску, и, быть может, он набрал бы 02, но взгляд его, зацепив привычно яркий рушник, подковно охватывающий два портрета в багетных рамках — матери и Геленки, — скрестился сразу с двумя парами глаз: понятливых, благословляющих — матери и зовущих, полных надежд на неиспытанное счастье, — невесты, и Евгений медленно положил трубку на место. Он представил, какими муками для родных ему людей обернулся бы звонок, и от страха сердце ледяно зашлось, перестав биться, а лоб и спина возопрели — он силился вздохнуть, раскрывая рот, словно слетевшая с крючка на жаркий прибрежный песок рыба, в глазах у него запетляли страшные своей броской разноцветностью круги, он покачнулся, вскинул руки, чтобы ухватиться хотя бы за воздух, и тут сердце заколотилось безудержно-гулко, он вздохнул и опорожнённым мешком повалился на ковёр.

Миг блаженного забытья, желанного, ставшего бы вечным, но взгляд его вновь направлен на милые, дорогие лица в багетных рамках. Видит, правда, он иное — невыносимо жуткую картину, острота восприятия которой с годами немного сгладилась, теперь же снова, будто подновленная безжалостной кистью художника-реставратора, вернулась видением ярким, в полной своей обнажённости.

Тогда несколько дней уже прислушивались сельчане к далёким отголоскам боев, одни, скрывая радость, другие — разочарование, третьи — ненависть. И вот на рассвете постучал в окно брат Геленки, сверстник и дружок Евгения, и, трясаясь то ли от страха, то ли от возмущения, надрывно выпалил, что на лесном хуторе оуновцы посадили всех, и хозяев и работников, на колы.

* Коновалец Евгений — один из создателей и руководителей Украинской войсковой организации — УВО (с 1929 г. — Организации украинских националистов — ОУН). Ещё в 1932 году Коновалец встречался с Гитлером, который одобрил проект создания самостийной Украины. Впоследствии стал агентом германской разведки.

* Микола Лебедь — ярый националист, один из руководителей оуновского движения. Был министром иностранных дел закордонного правительства украинских националистов. Теоретик украинского национализма.

«— Бежимо! — не раздумывая предложил Евген. — Знимемо. Може живими залишаться!»

Тропка туда знакомая. Своя тропка, укрытая от недоброго глаза. По ней не раз и не два ходил он, Евген, на хутор. Много было там услышано и узнано от худенького, сутуленького хозяина Луки Карасюка и от его работников, особенно от голубоглазого, с весёлым открытым лицом пана. Имени его Евген не знал, ибо принято было на хуторе одно обращение — пан. Только какие они паны? Увечные все, хромые, однорукие. Один голубоглазый — здоров и крепок.

Неслись они с братом Геленки по тропе, считая, что живодёры Ката Славко ушли из хутора, и потому нимало не заботились об осторожности. А когда поначалу издали, а затем всё явственней заскребли по их детским сердцам дикие вопли, припустились они ещё сильнее, во весь дух, не думая, что сами могут попасть в руки Кату.

Корчиться бы и им на колах, если бы не приспичило одному катюгу до ветру. Вышел на крыльцо да как гаркнет, матюкнувшись смачно:

«— Ори! Ори!.. Застрелю!»

Как косой по ногам прошёлся тот пьяный приказ, хлопнулись ребята в кусты и трясутся, словно увидевшие лису зайчата. Задним умишком осознали, насколько опрометчиво спешили в хутор. Не обошёл бы их вниманием Кат, это уж точно.

А вот от воплей нечеловеческих волосы на голове шевелятся. Поползли пацаны к опушке, надеясь на чудо: вдруг удастся что-то сделать? А может быть, безотчётный страх влёт их вперед?

И вновь рык звериный:

«— Ори, говорю! Застрелю!»

Прилипли к земле ребята, но ужас, рождённый воплями мучеников, подстёгивает. Поползли.

Но лучше бы страх погнал их прочь от зеленой лужайки, такой покойной и уютной прежде и такой жуткой теперь. Девять колов. Хозяин и голубоглазый работник — рядом. Молчат. Только стонут сдавленно. А пьяный оуновец то одного ткнет дулом револьвера в лицо с приказом: «Ори! Застрелю!» — то второго. Грозит, не понимая своей пьяной башкой, что пуля для них — избавление от мучений.

Слева от Луки Карасюка — жена его. Извивается, волосы рвёт на голове, воеет пронзительно; ещё левей, на низеньком колышке, — внучка их малолетняя Наталка. Ей-то за что муки непосильные? Голосок пронзительный, душу раздирает на лоскутки.

Левей голубоглазого — остальные работники. Крепятся изо всех сил, но не выдерживают долго — летят попережку со стонами их вопли над лесом...

А из открытых окон дома плещется разноголосая пьяная песня. И это ребятам кажется особенно страшным. От ужаса они не могут даже пошевелиться. И уползти решимости не хватает. Бегут минуты, и каждая минута — года взросления и понимания, что не обуздан тот, кто упоён безнаказанной властью над себе подобными.

Теперь, воспроизведя в памяти то жуткое прошлое, он видел на маленьком колу не Наталку, а свою Геленку, вырывавшую ключьями пышные русые волосы, извивающуюся от невыносимых болей, но даже в муках сохранившую обаятельность; он слышал её вопли так явственно, будто она кричала здесь, в этой невеликой комнате; но одновременно, как бы напластовываясь на

этот крик, порой даже господствуя над ним, звучал голос Луки, тихий, но скребущий душу не менее вопля: «Годи вони пид юбку — гадюку. Изверги...»

За месяц до того, как посадили на кол Луку Карасюка, рассказывал он ту историю...

Пришёл сын-партизан проведать мать-старушку, да увидел его глаз недобрый. После полуночи бандеровцы окружили хату, стучат прикладами и сапогами немецкими коваными в дверь. А в доме его нет. Мать постелила сыну в бане, и он, услышав шум, через плетень и — за околицу. Благо до леса рукой подать.

Всяко измывались бандюги над старухой, пытая, где сын. Только молчит она. Какая мать выдаст собственного сына?! У неё одна надежда: в баню не пошли бы, не схватили бы чадо её милое. Неведомо ей, что сын её уже в лесу, спешит что есть мочи в партизанский лагерь, думается ей, что спит он в бане сладким сном, не чуя горя великого. Молчит, снося боль и позор. А пришельцы звереют, встретив силу, им не подвластную. Гадюку принесли и — под юбку старухе. Не выдержала та, взвыла от боли, а они ржут, довольные своей выдумкой.

Полдня без памяти пролежала женщина, а как только пришла в себя, они снова требуют указать, где партизанский лагерь. Не добившись своего, вновь гадюку несут.

Поблажила мученица, потом хихикать да причитать начала. Поняли бандеровцы, что лишилась старуха ума, но и тут не успокоились. Верзила с бычьей шеей достаёт из кармана тонкую из конского волоса плетёную веревку и вопросительно смотрит на главаря. Дозволь, дескать. Кивнул атаман согласно, и вот уже волокут мученицу во двор...

Никто не звал верзилу ни по имени, ни по фамилии. Может, даже не знали. Только по кличке обращались — Голодомор. Он исполнял роль виселицы. Встанет на скамью либо на завалинку и, захватив верёвку поближе к петле, вскинет руки, словно открывающийся семафор, и даже шея не побагровеет от натуги. Стоит гордо. Приятен ему похвальный галдёж дружков. Вот и теперь сгрёб в охапку похихикивающую старушку и — во двор. Остальные тоже все высыпали. Кто бездельно торчит, кто дом керосином обливает по приказу главаря, чтобы поджечь, когда отвисит своё на виселице-Голодоморе обречённая.

Петля уже на шею наброшена, встал уже на завалинку палач, и тут хлестнул выстрел из-за плетня. Жаль, не в сердце бычье, а только в плечо извергу. Зачастились выстрелы и очереди, кто из бандеровцев на землю рухнул, а кто ноги в руки и — к лесу, огрызаясь автоматами.

Увезли женщину партизаны в свой лагерь, а оттуда на самолёте, присланном специально за ней, отправили в Москву. И, как говорил Лука, поставили её доктора на ноги.

А Голодомор стал ещё лютее, где надо и где не надо вскидывает семафорно руки с невинными жертвами...

Наслаивались одно на другое два этих видения — полянка с мучениками на кольях и полумрачная комнатка, освещённая керосиновой лампой без стекла, стол с медным, попискивающим от избытка жара самоваром, пяток пацанов, друзей и сверстников Евгена, слушающих дядьку Луку; наплывали также, тесня друг друга, вопли страдальцев и неспешный, негромкий рассказ Луки, страшный своей обнажённой правдой, — всё это пережитое прошлое настолько сильно захватило его, что он вовсе не осознавал сиюминутную реальность, тем более Евгений всё ещё не понимал в полной мере ту опасность, какая нависла над ним самим.

С запозданием пришло это понимание. Вернее, ввихрилось в его мозг. Он представил себя и на колу, и на верёвке в руках Голодомора. Сердце его вновь остановилось, дыхание спёрло,

замелькали яркие блики перед глазами... Но вот — судорожный вздох, лихорадочный стук сердца и успокаивающая мысль: на кол не посадят, не то время. А петля? Он даже почувствовал на шее стальную грубость конского волоса и съёжился, будто силился хоть чуточку согреть заледеневшую душу. Он хотел жить. Он даже подумал, что во всём, что вот теперь произошло, виновата Геленка. Да-да, она! Запела на клубной сцене его песню, которую он сочинил только для неё и только ей спел, аккомпанируя на гитаре. Теперь он даже не вспомнил, как любовался тогда своей коханой, как был благодарен ей и в те минуты, когда видел своих земляков притихше-внимательными, а когда Геленка закончила песню — восторженно-радостными; но особенно спустя некоторое время, когда песню его, занявшую первое место на конкурсе вначале во Львове, затем в Киеве, запели по радио, в клубах и дворцах культуры его родного края, а потом и всей страны, — забыл он о тех благодарных словах, которые тогда повторял и повторял ей. Сейчас в какой-то миг он даже озлился на неё за то, что принесла она ему славу...

Да и ради него ли пела она? Ради себя! Да-да, именно себе добывала славу. И добыла. Солистка ансамбля! Популярна. Теперь и совета не спрашивает, ехать или нет на гастроли. Позвонит только, что уезжает. И нет неделю, а то и две. Ни письма с гастролей, ни звонка. Только уже когда домой возвращается, даст знать, чтобы встретил. И в этом — забота о себе...

Он будто вовсе забыл, какими были те встречи. Дождь ли лил, метель ли мела, палило ли солнце, отправлялись они в лесопарк, к своей скамейке, старой, заросшей со всех сторон черёмухой. Как блаженно летело тогда время!..

А в село к родителям отчего уехала? Почувствовала, что он собирается сделать ей предложение. И чтобы не обидеть отказом, улизнула. Два дня назад, когда ему вручили приглашение на пленум Союза композиторов, отослал он ей телеграмму с просьбой вернуться поскорее, хотел взять и её в Москву, а она не соизволила даже ответить. Что ж, она прославила себя, теперь можно сменить повозку. Зачем же ради изменницы отдавать свою жизнь?! Если бы не мать, раздумывать было бы не о чем.

И вдруг блеснула мысль: позвонить матери, пусть теперь же идёт к Геленке — ладно, что неверная, но не губить же её — и вместе пусть укроются в милиции, пока суд да дело. Развяжет это ему руки. Поднимет он и друзей, и милицию. Попадётся троица святоюрская. Обеспечена будет им засада.

Поменяются тогда роли. Им придётся думать о смерти, а не ему!

Евген потянулся к трубке и — вздрогнул от резкого длинного звонка междугородки. Помедлил, решая, снять или не снять. Он не верил себе, что не расскажет про угрозу, если это звонит кто-то из друзей. Но всё же поднял трубку.

Голос матери. Далёкий сквозь треск и шум. Геленка выехала. Неожиданно хотела, чтобы радость вдвойне. Сказала, что если Евгений не осмелится сделать предложение, она сама сделает это. Завтра в семь часов утра приедет.

— Пизно, — совершенно непроизвольно вырвалось у Евгена.

— Пидеш куды? — спросила мать и посоветовала: — Якщо не зможеш видказатися, записку зальши.

— Ни, не пиду.

— Що ж тоди трапилось?

— Ничего, мамо, все гарно, все добре.

— Любыть Геленка тебе. И до мене ласкова. Не вередуй.

Всё, о чем они дальше разговаривали, шло мимо его сознания — он гневался на себя: «Изверг! Идиот! О чём думал?! Предать Геленку?! Да как я мог?!»

Телефон, разрубив последнее материнское слово, умолк, и Евгений вновь остался один на один со своими пугливо-взбудораженными мыслями. Одно он теперь твёрдо знал, что никому не позвонит о роковом визите, что возможность избавления от угрозы, им увиденная, исчезла, словно утренний туман. Теперь ему одному решать свою судьбу. Его жизнь в его руках.

Евгений молод, его мягких тёмно-русых волос коснулась ластивая рука Славы. А есть ли такой человек, кому это неприятно? Особенно, если он молод. Евгений был обычным человеком, будущую свою жизнь он лелеял бережно, строя если не воздушные замки, то земные, но всё равно чудесной архитектуры, захватывающе-прекрасные. И вот всё это рухнет. Крякнет Голодомор, вскидывая семафорно руки, вопьётся в горло жёсткая волосяная бечева и — конец всему. Чьи-то чужие руки станут перебирать клавиши его рояля, кто-то другой прижмётся, целуя, к Геленке.

Евгений отрешённо застонал.

Человек однако же ко всему привыкает. На то он и человек. Евгений тоже постепенно, исподволь осваивался со своим новым положением, мысли его становились стройней и последовательней, насколько это можно в его состоянии. И хотя перескакивал он от одной мысли к другой, отмерял и взвешивал всё неспешно, словно прижимистый торговец. Благо, до утра ещё очень много времени.

Как обычно бывает в жизни, прежде человек видит, а уж потом осмысливает, как и Евгений вначале, особенно когда был ребёнком, только видел, не совсем понимая, и лишь позже, слушая объяснения матери и, главное, дяди Луки, начинал расставлять всё по своим полкам. Ещё когда находились под гитлеровцами, он возненавидел оуновцев, а уже после освобождения, когда прочитал в газетах и книгах, услышал на лекциях об их злодеяниях, сделал для себя твёрдый вывод: он и националисты — вещи несовместимые. Но, определив свою жизненную позицию, он не засучил рукава, чтобы ринуться в бой. Он боялся их, не признавая в этом даже себе. Слишком много в детстве видел и много пережил. Его имя и близко никто не поставит рядом с именами Александра Гаврилюка, Ярослава Галана, Гавриила Костельника, даже менее активных борцов с национализмом — он со стороны наблюдал за всем, что происходило вокруг, радуясь победам антинационалистических сил, искренне жалел убитых и замученных оуновцами и столь же искренне ненавидел душегубов, называя всех их одним именем — голодоморы. Бывало, в кругу сверстников, надёжных, верных друг другу, когда они возмущались очередной провокацией оуновцев, когда пытались разобраться в сути этого движения (а такое случалось часто, ибо не только катюги и голодоморы ещё оставались в лесах, но и не вся интеллигенция верно раскладывала по полкам добро и зло), когда искали, от какого семени родилось это зло, Евгений читал стихи Гаврилюка:

*...всюду, начиная с «Дела» *,*

распространяясь вишь и вглубь,

реакция вовсю смердела, как разлагающийся труп.

Как будто спор вели злодеи:

кто всех постыдней и подлее...

Евген, хотя вовсе не принимал душой ни униатства, ни православия, пошёл всё же вместе с сотнями людей проводить в последний путь протопресвитера Гавриила Костельника, убитого лишь за то, что тот считал единственным верным путём для верующих путь воссоединения с Русской православной церковью.

Принимал Евген с восторгом, как и все его друзья, статьи и фельетоны писателя Галана.

Однако же не так трудно сострадать и возмущаться, когда знаешь, что не тебе на шею набрасывают удавку. А если на весах твоя собственная жизнь? Не последует ли переоценка ценностей?

Всё, что ещё вчера, ещё сегодня утром казалось Евгению понятным и верным, теперь вдруг начало восприниматься с сомнением.

Нет, Евген никогда не смог бы забыть ту первую в своей жизни страшную ночь, когда вместе с соседом-профессором гитлеровцы увезли и его мать. Он видел, как их выводили на улицу, подталкивая прикладами, как наотмашь ударил профессоршу немец-конвоир лишь за то, что она попыталась поправить сбившийся шарф на шее мужа. Он кинулся вниз, перепуганный, но пока ещё не понимающий своим детским умишком трагизма всего, что только что произошло на мостовой. Пока он сбегал по лестнице, машина, похожая на те, в которые заталкивали бродячих собак, поворачивала уже за угол. Он закричал во весь голос: «Ма-а-ма!», но какая-то женщина подхватила его на руки и, закрывая ему рот ладонью, понесла назад в подъезд. И тогда он услышал ненавистно брошенные слова: «Тварина польска! Рички украинской крови пролили, тепер своею умыетесь!»

Тогда вроде бы совершенно мимо прошли те слова. Во всяком случае, Евген ни разу не вспомнил о них ни в ту ночь, ни после.

Одна соседка сменяла другую, и все они, сиюсь сдерживать слёзы, что особенно пугало Евгена, уговаривали его постараться уснуть поскорее, но заснул он лишь под самое утро, обессиленный вконец рыданиями и неуёмной тоской. Проснулся от грохота разлетевшейся на мелкие горошины хрустальной вазы, вскочил испуганно и оторопело, увидев прежде всего непривычно белые волосы матери, вчера ещё каштановые, затем расстелённую на полу скатерть с яркими весёлыми попугайчиками на зелёных пальмах, которую называли в их семье китайской и которой застилали, дорожа ею, только праздничный стол, и то не для всех гостей. Теперь же мать укладывала на неё свою и его, Евгена, одежду и даже не замечала, что топтала весёлых попугайчиков. Какой-то миг длилось созерцание непонятного происходящего, затем Евген крикнул: «Мама!» — и кинулся к ней, чуть не сбив её с ног, прижался к её мягкому животу и заплакал навзрыд.

Мать не принялась ласкать его, не стала рассказывать сказку, как это делала обычно, когда он плакал, кем-то обиженный, она лишь положила на голову ему свою мягкую руку и сказала скупой и непривычно жёстко:

«— Потим поплачем, колы зальшились живыми. Зараз, сын, треба бигты. Швидко бигты».

Ушли они, однако, из квартиры только после обеда. Воровски прошмыгивали к ним одна за другой те из жён арестованных, которые по непонятным им самим причинам не были увезены вместе с мужьями, и Евген вместе с гостями слушал страшный рассказ матери, впервые, быть может, по-взрослому осуждая себя за то, что смог в такую ночь заснуть. Своим умишком, ещё

вчера детским, доверчивым, так стремительно повзрослевшим за эти часы, силился понять, что произошло. С замиранием сердца слушал он о том, как привезла машина арестованных во двор бурсы Абрагамовичей, что у Вулецких холмов, и начали гитлеровцы швырять их в толпу привезённых раньше узников. Потом ещё пришла машина, потом еще. Всех поставили лицом к стенке и принялись поочерёдно уточнять фамилии арестованных.

Подожли к матери. Спросили грубо: «Кто такая?!». Ответила, что домработница.

«— Фамилия?»

«— По мужу — Романива».

«— Девичья?!»

«— Хохула. Лидия Хохула».

Ей разрешили отойти от стенки. Вскоре ещё несколько женщин оказались рядом с ней. Их отпустили. Когда они выходили со двора, одна машина увезла десяток узников, а совсем скоро застрочили автоматы в овражке на Вулецких холмах. Немного погодя ещё раз строчили, потом снова и снова...

Мать называла фамилии тех, кого знала, а плачущие женщины удивлялись, всхлипывая: так он же лучший знаток карпатских нефтяных месторождений. Или — его знает мир, он перевёл Бальзака, Мольера, Рабле, Вольтера... А Роман Лонгшам де Берне? Он же не поляк. Он потомок гугенотов. Он лучший знаток гражданского права!..

Позже поймет Евгений, что внесли француза оуновцы в один чёрный список с учёными-поляками потому, что был тот делегатом съезда славянских юристов в Братиславе, а когда, с осени 1939 года, стал профессором Львовского университета, встречался часто с профессором Харьковского юридического института, подружился со многими учёными Академии наук, ездил в Москву на научную юридическую сессию.

Позже узнает Евгений, что фашисты расстреливали не только польскую интеллигенцию, глумились не только над ними. Вернувшись в город после освобождения от гитлеровцев, он видел своих земляков — учёных, врачей, музыкантов, артистов, писателей, художников пергаментно-сизыми, еле передвигающимися на язвенных ногах. Им приходилось каждый день долгой оккупации кормить в «институтах» Вейгля и Беринга вшей, которых в коробочках привязывали к их ногам. Чтобы немецкая армия получала противотифозную вакцину. А кто осмеливался протестовать, громко или тихо, того ждала расправа, цинично приправленная музыкой.

Евгений слышал «танго смерти», тоскливо-тягучее. Написал это танго по заказу бригаденфюрера СС Катцмана известный в городе композитор и дирижёр Якуб Штрикс, а затем, в порядке поощрения за услугу, был под свою же музыку расстрелян.

Но ещё до освобождения Евгений понял, что и фашисты, и националисты убивают всех, кто хоть чуточку сочувствует идее братства с русским народом. Как-то при свете коптилки читал на хуторе Лука Карасюк приказ украинской полиции Львова, который, как он сказал, получил из рук верных друзей. На Евгения так повлияли безжалостность и цинизм приказа, определявшего начало чрезвычайной акции на 13 августа 1942 года, что он запомнил его почти полностью, а особенно повеление доносить через каждые два часа о количестве захваченных и об использованных обоях... Лука прочитал тогда приписку к копии приказа, сделанную уже партизанской рукой: «Акция длилась двадцать дней, погибли тысячи жителей. — И добавил от себя: — Хиба вони галичане? Псы вони паршиви! Палачи!».

А мать, когда он пересказал ей услышанное от Луки Карасюка, воскликнула гневно:

«— Гитлерчуки! Гирше звири́в диких!».

Ни о чём том не вспомнил сейчас Евген Романив, и только та фраза, которую, казалось бы, он даже не слышал, всплыла в памяти: «Тварина польска! Рички украинской крови пролили, тепер своею умыетесь!». И в этой с ненавистью брошенной фразе он видел сейчас даже какой-то, хотя и роковой, но оправдывающий оуновцев смысл. Ими руководила месть. Путь не лучший, но кто и когда отказывался от мести, если она представлялась возможной? Они словно бы предъявляли счет польской нации за многовековое унижение, за пролитую, а её и впрямь было пролито неизмеримо много, кровь украинскую. И в прошлые, до Богдана Хмельницкого, века, и после него, и уже в послеоктябрьские годы.

И вдруг споткнулся ход его размышлений, упёрся в один вопрос: «Отчего тогда все националисты хулят почём зря Богдана Хмельницкого?». Великий был тот и политик и воин. Освободил Украину от Речи Посполитой. Сына своего, Тимофея, не пожалел ради святого дела. Ратной силой отдал в зятя господарю румынскому Василию Лупу, чтобы сделать надёжным тыл. На явную гибель отдал. Нет, на Богдана молиться надо, идею его пестовать - без всякой усталости. И впрямь, разве какой иной путь мог быть у украинцев. Единоутробные они с русскими, сыны одной матери — Руси. И вечевые колокола одни во всех городах стояли. И князья все одного рода-племени. И враги общие, и друзья. Кровь лили за жизнь свою вместе, победы тоже вместе праздновали.

А под Польшей оказались после восемнадцатого не с лёгкой ли руки донцовского Союза освобождения Украины? Кормился тот союз с австро-венгерского стола, сам же Донцов не только был консультантом у Симона Петлюры, а и возглавлял на захваченной кайзеровцами Украине пресс-бюро гетмана Скоропадского, взяв в ругань все русское, превозносил Мазепу и попутно просил маршала Пилсудского оборонить от Красной Армии. А чтобы оправдаться перед потомками, написал книжку «Основы нашей политики». Читал её Евген. Там чёрным по белому сказано: союзником Украины может быть только панская Польша. Будто ослеп Донцов, будто слыхом не слыхивал он о расстрелах великих, об арестах безмерных, которые учинялись белополяками на украинской земле.

Так за что же мстить, если сами благословляли?!

Евген возбуждённо заходил по комнате, словно хотел выветрить из головы этот безжалостный для него самый вывод, он искал оправдания, стремился к компромиссу, а выходило вон как? Наоборот выходило!

Но мать же они не расстреляли! И других женщин-украинок. Даже одного из учёных отправили с миром — Францишека Гроера...

О таких, каким Евген был в те минуты, говорят: хватается за соломинку. А за что же хвататься, если ничего больше не попадает под руку? Легко сказать: повешенный. Это когда не ты на сучке. Но каково добровольно подставить свою шею под удавку?

«И в селе нас оставили в покое», — оправдывающе думал Евген, и тот откровенный суд над ними, который начался тут же, как они вошли в свой дом, ещё не открыли ставни, ещё даже не разделись, и который тогда перепугал Евгена до смерти, теперь казался ему вовсе не страшным и не унижительным.

Тогда вошло в дом тоже трое. Также без стука. Протопали подкованными сапогами, яловыми, добротной выделки и крепкого шитья, без меры напоенные дегтем, к лавке у печи, но сели не

вдруг. Покуражились: попросили ехидненько, чтобы, значит, пригласили их «почувать себе, як дома».

Потом спрашивает один из них:

«— А скажи, Лидия Хохула, де твій Леонтий Романив? Чому не прийихав? Злякався чи шо?»

«— Да що тому боятися. Не вбив никого, не ограбив. Сам голову положив...»

«— За Рады та бильшовыкив?!»

Молчит мать. Прижала Евгена к мягкому животу, а руки вздрагивают.

«— Чи невирно кажем?»

Всё правильно. Врач-хирург, он сразу же, как вошла в город Красная Армия, предложил свои услуги. Его обмундировали, дали под начало полковой медпункт, и ушёл он дальше на запад освобождать родную Галицию. Потом писал часто, навещал несколько раз, а в первый день войны попал под фашистскую бомбу. Не помехой свастиковому коршуну оказался даже красный крест.

«— Пришли мы, Лидия Хохула, думку думать: з'єднаты вас з ним, чи дозволиты вам жити на вильный вид москалив земли?»

Долго «обмозговывали» эту проблему гости. Не таясь вовсе, будто перед ними не люди стоят, а безмозглые, бездушные скотинки. И деда вспомнили: крепкий был мужик, хозяйственный, хотя и гордый. Москалей внаём не брал. А уж отцу Евгена все косточки перебрали — поносили на чём свет стоит. Уж совсем было порешили закончить дело удавками, но закавыка получилась, сомнение взяло — не свезли же её на Вулецкие холмы, отпустили. Безгрешна, значит. Не набекрень же мозги у нахтигалецев и эсэсовцев?

Знобко вздрагивали руки матери, но держат Евгена крепко, не выскочит перепуганное сердечко из груди, да и заледеневшая душа хоть чуточку, да оттаивает.

«— Твоё слово, Лидия Хохула? — вопрошает самый пожилой гость. — Що скажеш?»

«— Як бог на душу вам положить», — почти спокойно ответила мать, и даже руки перестали вздрагивать.

Иного, видимо, ждали ответа. Упадёт, предполагали, на колени, молить станет, оправдываться.

А они покуражатся. Но молчит мать, не признаёт тем самым их права судить её, вынуждена лишь подчиняться наглой силе, не более того.

Как такое снести привыкшим к повиновению и заискиванию? Как рассудить? Прикончить горячку — и дело с концом. А вдруг фашисты не просто так отпустили? Тогда беды не оберёшься. Оттого, может, и не склоняет головы?

Хоть нелюбо им, всё же объявляют милость свою, позволяют жить. Но не в сторонке, поглядывая на мир через мережку в занавесках, будет помогать им боёвке, их Украинской повстанческой армии.

Против кого армия восстала? Против большевиков и против фашистов. Гитлер Бандере обещал самостийность, да, пусть лихо ему станет, не твёрд оказался в слове.

А мать возражает: иль «Львовски висти» не читали? Во Львове провозглашена Украинская держава. Правительство назначено. Голова его — Ярослав Стецько. Он сказал, что новая держава будет дружить с Адольфом Гитлером, поможет ему создать новый порядок в Европе и во всём мире. Чего же восставать против него, коль Стецько друг ему?

Не уловили скрытого юмора в словах женщины бандеровцы, по-иному оценили сказанное: не просто так защищает гитлеровцев. И определилась в те минуты окончательная судьба матери и сына — волос с их головы не упадет. Но вслух об этом не скажешь, раз именуешь себя повстанцами. Повели дипломатическую игру. Вице-губернатор Львова Бауэр, дескать, ту державу не признал. Нет, утверждает, западноукраинского правительства, а Стецька знать не знает и знать не хочет. Вот Бандера и повелел: будем биться с немцами, пока самостийности не дадут.

«— Ось твий будинок, Лидия Хохула, стане приютом для лесовиков. Але щоб — ни гу-гу. Зрозуміла?!»

Попрощались гости чинно и ушли, а мать ткнулась в плечо Евгена и зарыдала, подстанывая: «Прости, Леонтий! Прости!». Евгений не понимал, почему мать так мучается, ему казалось, что всё получилось хорошо, они будут теперь жить, никто их не станет трогать, а помалкивать, если кто и погостует, — трудно ли? С поклоном ушли дядьки. С поклоном.

Не вдруг, не сразу понял он, отчего так горестно рыдала мать. Получилось, что они предали отца, предали его убеждения, за которые тот сложил голову. Предали ради того, чтобы самим жить. Но первые недели, первые месяцы он, можно сказать, с упоением слушал, как лесовики, напарившись в бане, за стаканом самогона костили гитлеровцев и поляков. Евгена даже не особенно задевал вывод тех бранных излияний: убивать всех, кто против самостийной Украины!

Шло время, а в селе никто ни разу не сказал об убитом или задавленном удавкой немце, а о зверствах против польских крестьян шептались много. Но с особой опаской пересказывали друг другу сельчане о том, как лютовали оуновцы, если находили у кого-нибудь раненого красноармейца: звёзды на спине вырезали, в колодец вниз головой опускали. Наизмывавшись досыта, всех, и кого нашли, и у кого нашли, — на удавку. Голодомор силушку свою демонстрировал. Дом «москалям продавшихся» непременно сжигали.

В селе меж собой, конечно, украдкой, прозвали боёвку катюгами. Поначалу главарю боёвки прилепили кличку Кат, а потом уж всем без разбору.

Не верилось Евгену, что обходительные, особенно добрые после бани и первачка дядьки могли делать то, о чём с ужасом говорили люди. И всякий раз, когда мать, проводив гостей, долго рыдала, причитая: «Що ж це я витворяю?! Як же так можно жити?!» — он старался успокоить её. Искренне успокоить.

Он и теперь, вспоминая то прошлое, выцеживал из него любое доброе, что встречал у оуновцев, но чем больше вспоминал и сравнивал, тем более прозревал. Как и тогда. Только тогда потребовались для этого месяцы и годы, теперь же, чтобы прозреть вторично, воспринять жестокость так же оголённо, с таким же состраданием, как и в те детские и отроческие годы, не нужно было столько времени. Память, напластывая события на события, сваливала в одну кучу сразу всё пережитое за годы оккупации — копайся в этой куче, ищи истину.

Только, если говорить честно, никакой нужды искать истину не было. Он давно нашёл её. Давно...

Началось это, можно сказать, случайно. Закусывали катюги после бани чинно и мирно, но вот заговорили о партизанском налёте на немецкую комендатуру. И прежде о партизанах велись разговоры, большевистскими прихвостнями их называли, но выльют, бывало, порцию злобы, на этом всё и заканчивалось. Сегодня же заспорили за столом. И понял Евгений, что одних гневит быстрое увеличение партизанских отрядов, пополняющихся добровольцами, других же возмущает то, что гуцулы, которые, по всем понятиям бандеровцев, должны ополчаться против партизан, наоборот, укрывают их, снабжают продуктами, оповещают об опасности. Скольких уже повесили, сколько хат спалили, только проку пока мало от всего этого. Вот и распаляют себя, всех пособников партизан грозят не вешать, а на колы сажать. А двое, помоложе остальных, первый раз появившиеся в их доме, возьми да и засомневайся: надо ли губить людей, если они добро делают? И бандеровцы против гитлеровцев, и партизаны, так не лучше ли объединиться, не лучше ли вместе фашистов бить? Посильней будет удар.

Тихо стало за столом. Совсем тихо. Потом проскрипел высокий худой лесовик — Евгений его остроносым сухарём окрестил, — что, дескать, услышал бы такое Славко, атаман, крышка всем им тут же. Лучше не разевать рта не подумавши...

Не унялись молодые, доказывают правоту свою. Надеются, видимо, что кто-то их поддержит. Только зря. Плохо вышло. Схватили их и поволокли на улицу.

Вернулись не все. Посланцы вернулись. Забрали оружие и одежду, какая осталась, и тут же ушли. Не попрощавшись даже, как прежде. А на следующий день соседские парнишки покликali Евгения в лес. Показать что-то. И показали: два молодых оуновца висят рядышком на одном сучке, синюшные лица и руки будто пылью покрытые. Только не пыль это, а комары. Последнюю кровинку досасывают. Остолбенел Евгений от ужаса. Вот тебе и добрые дядьки. Верно, выходит, казнит себя мать, что иродов привечает. Так гадко стало на душе, хоть в омут головой. За мать позорно, спасу нет. Впору скулить голодной бездомной собакой. И заскулил, всхлипывая всё громче и громче.

Почувствовал руку на плече. Не материнскую, мягкую, а сильную, мужскую, но участливо-добрую. И голос человека услышал, будто проникшего в его мысли: «Не хулы матир. Тебе рады муку хрестну несе».

Поднял голову Евгений, видит — дядька Лука Карасюк, хозяин лесного хутора. Ткнулся ему в грудь и зашёлся в рыдании. Совсем забыл, как мать говаривала презрительно о Карасюке, что раздобрел, мол, хутор на горе людском, запряг Лука убогих и погоняет бессовестно. Да и как не забудешь, если так участлив человек?

Увёл дядька Лука Евгения к себе в гости, чаем напоил и постарался ответить Евгению, за что повесили бандеровцы своих. За правду. Пелена с глаз слетать начала, а это негоже. Если все начнут думать, что к чему, от ОУНа один пшик останется. Оттого и лютость такая.

Сказавши всё это, помалкивал после, посчитав, видимо, что для первого раза вполне достаточно. До околицы проводил едва приметной тропкой. На прощанье сказал:

« — Приде нужда, хата видкрыта. Тильки не напоказ.»

Через день появился Евгений на хуторе. Так захотелось ощутить на плече решительную мужскую руку, что спасу нет. Ещё и за советом пришел. Как сделать, чтобы угорели в бане лесовики, когда снова в гости пожалуют? Отомстить как за безвинно повешенных?

Похлопал добродушно Лука по ребячьей спине и сказал серьёзно, будто отмеряя каждое слово:

« — Учадять-то вони учадять, а дале що? Вас з мамою — на колы. Пригодно чи таке? С толком жити треба. Зря гинуть? А якщо така твоя доля загинуть, то загинуть треба з розумом. За дило...».

За какое дело? Хитрит дядька Лука, скрытничает. А может, не хитрит вовсе, а только важничает.

В комнату вошёл молодой мужчина. Одежда изрядно поношенная, но сидит на нём ладно. И держится мужчина вольно, пригоже, хотя и работник. И красив. Волосы русые, словно ветром расшевеленные, а глаза голубые-голубые, как небо в погожий рассвет. Отчёт даёт хозяину, что скошено, что на гумно свезено, где копну завершили, а сам нет-нет да и глянет на Евгена. Внимательно, изучающе, как будто в душу намеревается заглянуть.

Ни словом тогда не обмолвился он с Евгеном, вышел, доложив всё хозяину, и только когда третий, четвертый да пятый раз пожаловал Евгений на хутор, заговорил голубоглазый пан с ним. Ответил на вопрос, который Евгений задал Луке Карасюку, опередив его:

« — Спрашиваешь, правда ли, что Гитлер Бандеру заарестовал? Скажу так: вроде бы и правда, только ложь всё это. Бандера с Гитлером снюхался, ещё когда тот только-только примеривал власть. С тех пор говорят: «Бандера — служака у Гитлера на побегушках». А посадили его, чтобы мозги затуманить народу. Вот, дескать, какие вожди националистов принципиальные, и против поляков, и против большевиков и евреев, и против немцев, раз они самостоятельность не дали, раз считают, что не для того Украину захватили, чтобы украинцы хорошо жили. А Бандеру отпустят. Не так, конечно, просто, за здорово живёшь, а побег подготовят. Сами же. Только кто об этом узнает? Наоборот, станет Бандера ещё более почитаем: как же, от самого Гитлера сумел сбежать! Известный приём. Очень известный...»

Евген слушал пана работника, вроде бы тот разумно говорит, только чудно как-то, как будто с Гитлером советовался, и тот все свои планы выложил, как священнику на исповеди. Не знал Евгений, верить или нет голубоглазому. Долго не знал. Пока не вышел ещё один случай.

Пришли бандеровцы, как обычно, из лесу на готовую баню, только не хмурые, как всегда, а возбуждённо-веселые. А когда уже сели за стол да промочили горло первачком, то и вовсе в раж вошли. Прицепились и к матери, и к нему, Евгению, чтобы, значит, выпили с ними за большую радость. Едва отговорились мать. Тогда они сами подняли стаканы и выпили за благополучную встречу командира своего с немецким комендантом. Евгений испугался, что и на сей раз кто-либо станет возражать против того, чтобы глава боёвки восставшей против немцев армии пошёл в гости к фашисту, и тогда снова выволокут несогласного и повесят, но все дружно выглотали из стаканов и принялись поспешно толкать в рот квашеную капусту.

Теперь, годы спустя, он забыл фамилию коменданта, да и не силился её вспомнить, тогда же, услышав её, он повторял и повторял, пока не убедился, что не забудет, а как только гости ушли, он выскользнул из дома и побежал на хутор.

Дядька Лука и голубоглазый встревожились его поздним появлением и, выслушав сбивчивый пересказ, велели тут же воротиться домой, чтобы, не дай бог, не заметили лесовики его отсутствия. Евгений сейчас будто вновь переживал и то, как был доволен своим поступком, и то, как надеялся на гибель Ката и его боёвки (Евген тогда уже понимал, что хуторские работники связаны с партизанами), ибо уверен был, что партизаны, узнав о предстоящей встрече, обязательно сделают засаду. Он переживал сейчас и то разочарование, которое испытал, когда появился вновь на хуторе дня через два после своего сообщения. Шёл с надеждой услышать,

хотя бы намёком, о разгроме боёвки Ката, но вместо этого ему показали исписанную аккуратным почерком бумагу-договор. Показали с радостью. А он недоумённо спросил:

« — Що з нею робити?»

« — Такие бумаги, дорогой братишка, покрепче пулемётов стреляют, — весело объяснил голубоглазый пан работник. — Во Львов пошлём. Во Львов!»

Ну и что? У Евгена Львов остался в памяти как опустелый город, на улицах которого то и дело прохаживаются либо полицейские патрули, либо нахтигалевские, а чаще всего — немецкие. На многих перекрёстках — пункты проверки документов, и никому неведомо, чем каждая проверка окончится. Трусливы стали во Львове все, мало кто осмелится сбавить шаг, если увидит наклеенную на стене листовку. А она вон какая длинная, эта бумага. Лучше бы Ката прибить, чем ненужное затевать. Ради чего, выходит, бежал он, Евгений, на хутор, преодолевая страх?

А голубоглазый и дядька Лука посмеиваются, несмышлёнышем называют. И чем больше слушает их Евгений, тем больше убеждается, как он не прав. Львов, выходит, не весь трясётся от страха. Львов борется. Живёт подпольный Львов. Действует народная гвардия имени Ивана Франко, выпускает газеты «Новости дня», «Партизан», «Борьба» на украинском, польском и русском языках. И расходятся те газеты по всей Галиции...

Чем катюг Славко силен? Иные боятся его, оттого и поддерживают, но многие верят ему. Уничтожать бандеровцев нужно — слов нет, но важнее изменить отношение к ним народа. Прочтёт гуцул фотокопию договора оуновцев с фашистами, где чёрным по белому сказано: оказывать помощь в доставке контингента для работы в Германии, доносить всё о партизанах и их сообщниках в сёлах, и задумается, что же это за такая повстанческая армия, которая свой народ продаёт врагам? Да если ещё в той газете будет рассказано, что оуновцы ходят почти открыто на богослужение в собор на Святоюрскую гору, а хоронят своих главарей на городском кладбище безбоязно, тут и вовсе глаза у человека откроются. А если один повернётся к Кату спиной, другой, третий — туговато ему придётся. Великая сила у слова!

Его отроческих представлений о сути людских отношений было тогда мало, чтобы воспринять услышанное, теперь же он вполне понимал всю истину сказанного тогда, да и он сам по-настоящему узнал размах жестокости националистов, всю его мерзость тоже из газетных статей и книг. Уже после войны. И то подумать: разве ему, Евгению, признался бы заместитель начальника второго отдела германской разведки и контрразведки Эрвин Штольце в том, что ещё задолго до нападения фашистских орд на Советский Союз он дал указание германским агентам Мельнику (кличка «Консул Первый») и Бандере организовать с первого же дня войны провокационные выступления на Украине?

Разве не из газет и книг он узнал о том, что чёрные списки, по которым арестовали и расстреляли фашисты львовскую интеллигенцию, были тоже подготовлены задолго до начала войны. Газета поведала ему и ту истину, что ни одна боёвка Украинской повстанческой армии не уничтожила ни одного оккупанта, не пустила под откос ни одного поезда, не взорвала ни одного моста, чтобы хоть как-то помешать захватчикам перевозить оружие и войска для порабощения и уничтожения украинского народа, а в то же время оуновцы вместе с гитлеровцами зверски замучили на Украине около четырёх миллионов человек и почти два миллиона увезли на каторгу.

Уже после войны узнал Евгений и о том, насколько был прав голубоглазый пан работник, предсказывавший скорое освобождение Бандеры. Евгению в руки попал информационный

бюллетень оуновцев, где без всяких пояснений напечатано было сообщение, что в начале октября 1944 года Степан Бандера и с ним триста оуновцев вышли из немецкой тюрьмы на волю. Для тех, кто знал судьбу Эрнста Тельмана, Юлиуса Фучика, Габриеля Пери, судьбу тысяч других политических заключённых (а Евгений знал), та маленькая заметка давала пищу для серьёзных раздумий.

Газета познакомила Евгения и с указаниями заместителя министра правительства самостийной Украины Александра Барвинского, который вещал, что украинский национализм не должен считаться ни с какими принципами солидарности, милосердия, гуманизма. Любой путь к своей цели хорош, невзирая на то, будут ли это другие называть героизмом или подлостью...

Да, милосердными к нему, Евгению, националисты не будут, ждать нечего. Путь один, чтобы остаться жить, — надо писать марш. Тем более что имя автора, имя его, Евгения, останется неизвестным другим. Думает так Евгений, а слышится ему надрывное причитание матери: «Що ж це я витворюю?! Як же так можно жити?!» — но упрямо он пытается отмахнуться от видений прошлого, убедить себя, что живёт мать и по сей день. Теперь уж и совесть, наверное, угомонилась, притерпелась.

И тут же ругнул себя: «Подлец! Она ради тебя муки несла». Да и как сравнить то, чем поступилась мать, с тем, что предложено ему?! Евгению представилось, что на хуторе из пьяных глоток, заглушая вой корчившихся на колу мучеников, выплёскивается не рваная бахвальски крикливая пошлость, а возвышенно-торжественная песня, покоряющая гармонией звуков; и они, эти звуки, стали уже рождаться в голове Евгения, стали захватывать его. Он стиснул пальцы до боли и застонал.

Но не отступило безжалостное воображение, не смягчилось: поют марш (а экспромт уже налился силой, зазвучал уверенно) катюги, наслаждаясь тем, как мучает старую женщину гадюка, и не «танго смерти» заглушает хлесткие автоматные очереди на Вулецких холмах, а его, Евгения, марш, и не Якуба Штрикса проклинают в последний миг сражённые фашистскими пулями, а его, Евгения Романива; топчется седая мать по китайской скатерти, выдавливая из весёлых попугайчиков зовущие к славе аккорды, их подхватывает строй, вдохновенно марширующий по улице с чёрно-красным и жёлто-голубым знаменем впереди. Евгений челночил всё быстрее и быстрее по комнате, словно хотел обогнать, оторваться от наваливающих, как в белой горячке, видений, но это никак не получалось. Казалось ему, будто не шагает он возбуждённо по комнате, а стоит, стиснутый сельчанами, на краю лесной поляны у хутора и терпеливо ждёт, когда закончат пограничники ставить привезённый ими обелиск с красновзвёздным венцом, а потом вскинут автоматы, чтобы салютом чести почтить мужество. Видится всё это Евгению, но слышит он не те слова, что говорят в толпе о голубоглазом пане работнике: «Политрук заставы, оказывается. Партизан!», — а музыку свою, марш, свой, наплывающий из леса тугими волнами, в которых и торжественность отлаженного оркестра, и пьяная разноголосица сцепились мёртвой хваткой...

Залп и — музыка; залп и — музыка. Залп — музыка, залп — музыка, залп — музыка. Он сдвинул виски руками, повалился на диван-кровать со стоном. Он чувствовал, что сходит с ума.

«Нет! Нет! Только не это!»

Хихикать, когда станут тебе набрасывать на шею удавку — как это страшно, как жутко. А может, лучше? Уйти в небытие, не осознавая этого и не сопротивляясь?

Ход мысли сменился, и какое-то время Евгений философствовал о бытии и небытии отвлеченно, вообще, и это переключило его внимание, немного успокоило. Сколь бrenно бытие, столь и

суетно. Вечно кто-то кому-то будет делать либо добро, либо зло; вечно судьба кого-то возносит, а кому-то готовит бесславный конец — но велика ли всему этому цена, где грани чести и бесчестия и кто более счастлив, убийца или убитый? Евгений даже усмехнулся, реально оценив у кого-то заимствованные рассуждения. Пусть убитому лучше, пусть! Только почему он, Евгений, должен быть убитым? Рок? А что это такое — рок? Не выдумка ли убийц?

Решительно он встал с диван-кровати, подошёл к телефону и снял трубку. Рука потянулась было, чтобы набрать 02, но безвольно опустилась. Положил Евгений трубку, боясь поднять голову и глянуть в глаза матери и Геленки.

«Идиот! Хлюпик!»

Нет, чтобы остаться живым, у него один путь — написать марш. Никто не будет знать его имени «до лучших времён», как пообещал «Пан». А что это такое — лучшие времена? Снова удавка и колы, выстрелы в лицо, колодцы, набитые трупами, сиротливые печи, оставшиеся от домов. Это, наконец, пресмыкающееся раболепие перед завоевателями, ибо никогда не смогут сами воплотить в жизнь свою идею националисты. Им нужен чужой штык. Без него они — нуль без палочки, как говаривал дядька Лука. А какой флаг на этом штыке — немецкий ли, американский, — им всё одно.

«Отпустить грехи содеянные и благословить на новые?! Нет-нет! Лучше смерть, чем вечное угрызение совести».

Но смерть-то безвестная. Кто оценит его жертву, кто всхлипнет, проклиная зверей националистов, когда станут снимать с дерева, кто склонит в почтении голову у могилы его, кто пойдёт, как за Костельником, за его гробом, и будет ли гроб вообще? И друзья забудут быстро, и Геленка...

А как было с ними хорошо. С каким шумом влетели они к нему с вестью, что в Торонто, в любимом украинцами-эмигрантами уютном сквере, куда приходили они отдыхать целыми семьями, пели его песню. С каким шиком выстрелила тогда бутылка шампанского, как радужно искрились фужеры. Он тогда ликовал. Да и было отчего.

В сквер стекаются толпы украинцев, которых злая доля оторвала от родины, поют песни украинские, родные, свои, народные. И уж если там приняли его, Евгения, песню, значит, она поистине народная, значит, вложил в неё душу своего народа.

Он ликовал!

А как смеялись они вместе над сообщением о том, что найдены будто бы регалии гетмана Мазепы, а особенно над тем, что не только растрезвонили на весь мир о находке националисты, но и повезли их по странам показывать в украинских общинах. Для чего? Тогда они, молодые парни, не поняли глубинного смысла, рассудив, что затея вся ради сбора денег. Теперь Евгений воспринял тот демарш в его истинном смысле: кто владеет регалиями, тот продолжает его дело, тому — почёт и власть.

До слез, бывало, хохотали они над своим товарищем, который ловко пародировал «известных украинских певцов и певиц», тоскливо певших с контрабандно привезённых националистами пластинок, что «последний час пробил со львовской ратуши, и теперь осталась у них одна заветная думка: если умереть, то только во Львове...».

Да, тогда Евгений смеялся вместе со всеми. Теперь же он размышлял обо всём этом вполне серьёзно.

Борьба за души. Повезут из города в город регалии Мазепы, а перед тем, как раскрыть драгоценный сундук, исполнят марш. Не грубо-бульварный, отталкивающий, что пели во Львове нахтигалеvцы, а новый, торжественно-чарующий. И дрогнут сердца слушающих...

И в Торонто не преминут националисты в противовес его же, Евгена, песне исполнить новый марш. Пусть никто не назовёт его фамилии, но дойдёт слух о новом марше сюда, и не одно проклятие будет брошено во гнев в автора, пусть неведомого... Евгений представил настроение друзей, когда узнают они о новом марше, поёжился, предполагая, как отзовутся об авторе...

Или тот профессор, что раскармливал долгие оккупационные годы кровью ног своих вшей, чтобы получали гитлеровские молодчики противотифозную вакцину?! Определённо призовет на голову композитора-предателя кару божью и людскую. Проклянёт, как проклинали с последним вздохом и фашистских палачей, и автора «танго смерти»...

А если узнает мать? Обзовёт презрительно малодушным. И не вспомнит в тот миг, как малодушничала сама, чтобы спасти его, Евгена, от удавки. Но мать если и не простит, то смирится. На то она и мать. А вот Геленка? Отвернётся. И будет права: она уже несколько раз вынимала из почтового ящика письма с требованием прекратить петь русские песни, но поёт их. Так же душевно, как и гуцульские...

Евген метался по комнате, как мечется обложенный флажками зверь в загоне, предчувствуя скорый конец. И мысли его, обрётшие на какое-то время уравновешенную последовательность, начали вновь путаться, мешаясь в стремительном водовороте, а комната наполнялась и наполнялась дикими криками мучеников, безысходным материнским плачем, автоматными очередями, хриплоголосой песней марширующих по улицам Львова нахтигалеvцев, трусливо-тихим шёпотом сельчан, от которого дыбятся волосы, всхлипом старушки в толпе возле повешенной бандеровцами учительницы и шепотом её, полным горечи и ненависти: «Чого лютують, ироды! Хоч бы бога побоялися!».

Евген застонал от невыносимой тяжести, но даже не услышал своего стона среди стопа и крика других. И вдруг встал вкопано: явственно донёсся до него из прошлого голос Луки Карасюка, приглушая все остальные голоса, господствуя над всеми: «Ну а судьба решит если, то и гибнуть нужно с толком. Не попусту, за дело». Решительно рубанул Евгений ребром ладони воздух и сказал громко, сам вздрогнув от этой громкости:

— Житы, щоб совість грызла?! Хиба так можно?!

Он ощутил слабость и, подойдя к диван-кроватьи, прилёг, стараясь больше ни о чём не думать, и вскоре заснул. Как и в ту ночь, когда увезли в машине-клетке фашисты его мать в бурсу Абрагамовичей.

Они вернулись, как и обещали, перед рассветом. Вошли тихо, как тени, и всё же Евгений проснулся сразу, будто кто-то сдавил его сердце и тут же отпустил, и оно заколотилось торопливо-торопливо и испуганно-гулко. Огромным усилием воли Евгений удержал себя на диван-кроватьи, лишь повернул голову в сторону гостей.

Постояли пришельцы минуту-другую молча, удивлённые необычностью ситуации. Приговорён к смерти, а спит? Нарушил затянувшуюся паузу тот, кого Евгений прозвал «Паном». Тихо, опасаясь, чтобы соседи не слышали хоть какой-либо звук, спросил:

— Выходить, выршыив, коли спиш?

— Выходить, — столь же тихо ответил Евгений, встал и, подойдя к портретам матери и Геленки, несколько минут глядел на них, прощаясь. Затем снял обрамляющий их рушник — подарок

матери и Геленки — и повернулся к стоявшим в недоумении пришельцам: — Пидем. Мисце я покажу сам.

Геленке казалось, что поезд ползёт. Она торопила миг встречи с милым, любимым Евгеном, какой уже раз, рдея от смущения и радостного волнения, повторяла приготовленную фразу: «Я — твоя! Совсем твоя!». Она видела, как вспыхивали его глаза, она чувствовала, как он сжимает её, аж дух захватывало, в порывистых объятиях. Она торопила время и удивлялась странному, безотчётному беспокойству, всё более и более охватывающему её душу. Причин к тому вовсе никаких не было, если не считать, что она не ответила на его телеграмму, заставив его тем самым погрузить немного, но зато и радость будет вдвойне. Она это уже испытала, когда после гастролей возвращалась домой. Разве были бы так нежны их встречи, если бы она звонила ему из каждого города, из каждой гостиницы? Она успокаивала себя, радостно предвкушая встречу, но душа не внимала её логике, беспокойно ныла и ныла. И с каждым часом всё сильнее и сильнее.

К дому, где жил Евген, она почти бежала. И радость несла её, и безотчётное предчувствие чего-то недоброго.

Позвонила она длинно, вслушиваясь, как с праздничной беспечностью трезвонит колокольчик. Сейчас, вот сейчас откроется дверь и...

За дверью тихо. Геленка ещё раз нажала на кнопку звонка, ещё раз. Не мог не проснуться, если дома. Непослушными пальцами принялась она искать ключ в сумочке, торопливо переворачивая её содержимое один, да другой, да третий раз. А он преспокойно лежит в боковом кармашке. Вспомнила, наконец. Открыла дверь. Нет, не думала она, не гадала, что придётся ей входить в пустую комнату.

Всё в ней было привычно, всё на своих местах. И портреты в багетных рамках. А где рушник? Сколько вечеров вместе с его матерью провела она, выдумывая узоры? Он же знал об этом. Это подарок. Матери и её, Геленки. Неужели отнёс кому? Она начала перебирать в памяти своих подруг, с кем знакомила Евгена, и пыталась определить, у какой из них он мог, не дождавшись от неё ответа, коротать время до отъезда в Москву.

«Опоздала!»

Она хотела сесть за телефон, чтобы обзвонить друзей Евгена, но отказалась от этого: рано, многие ещё спят и будут недовольны звонком. А самое главное — унижительно. Вот вернётся когда, тогда можно будет и выяснить всё.

Прошло долгих полчаса в тихом одиночестве, прошёл час. Геленка не выдержала, направилась в лесопарк, оставив вещи на самой середине комнаты. Тревоги той, что донимала дорогой, уже не было, а возникло чувство собственной вины.

«Доигралась!»

Она никогда даже не предполагала, что возможны какие-либо изменения в их отношениях. Она любила его, он, как ей виделось, тоже любил. Она привыкла к тому, что во время её гастрольных поездок он вечерами всегда сидел дома, ждал её звонка. Скучал, как много раз сам ей признавался. Она жалела его, но продолжала поступать всё так же, оправдывая себя, что маленькая хитрость её женская направлена не против Евгена, не на то, чтобы сделать ему больно, а на то, чтобы поласковой и посмелей был он после разлуки, чтобы вырвалось в конце концов у него предложение о женитьбе. Чтобы не разлучаться. Теперь она всё больше сомневалась, стоило ли так долго и так однообразно испытывать их любовь?

Пыталась она уверить себя, что ушёл он из дома по делам, срочным, необходимым, но тут же отказывалась от своих же доводов: слишком рано для деловых визитов, а по логике прошлого поведения он должен был ждать либо её телеграммы, либо звонка. Но отчего-то не ждал. Осерчал? Да, скорее всего, устал ждать. Недоверие и ревность победили.

Привычно шла она по их дорожке всё глубже в лесопарк, иногда останавливаясь то возле одной, то возле другой, где было что — то памятное, а затем продолжала путь к той заветной скамейке, где он первый раз поцеловал её, где первый раз, несмело расстегнув кофточку, робко притронулся к её груди. Как долго ждала она этого момента. Сама поначалу тоже робкая, постепенно перебарывала девичью застенчивость, поощряла, как могла, его любовь. Она же жила только им. С того первого страшного часа.

Она возвращалась домой, машинально ускоряя шаг, когда проходила мимо соседнего дома с вечно закрытыми ставнями. Геленке он казался жалким, покинутым всеми слепым стариком и нагонял на неё тоску и страх. Она семенила, втянув голову в плечи и стараясь глядеть только себе под ноги, а не на дом, и вдруг ойкнула испуганно, чуть не натолкнувшись на мальчишку, тяжело тащившего большой яркий узел. Их взгляды встретились, и Геленке стало жутко от той тоски, какая была в глазах пригожего мальчика.

« — Чи не Геленка? Сусидка наша?» — спросила шедшая за мальчиком полная женщина, ставя на землю чемодан и большую сумку. Она, похоже, обрадовалась возможной передышке.

« — Да, — ответила Геленка, узнавшая хозяйку брошенного дома. — Здравствуйте. С приийиздом. Давайте допомогу».

« — Спасибі, доченька. Тепер мы уже дома».

Долго мать и сын открывали заржавевший замок, а Геленка не уходила. Отчего? Вряд ли она отдавала в том себе отчет. Возможно, ждала, не обернётся ли Евгений, и увидит тогда она ещё раз его печальные глаза.

Не оглянувшись. Потащил узел в дом, как только открылась наконец дверь. И тут же мимо Геленки прошагали дядьки-бандеровцы. Ёкнуло девчоночье сердечко, сжалось жалостью. Ох как боялись в селе этих дядьков, тихих до прихода фашистов, а теперь вершивших суд и расправу. Если уж вошли в дом — не жилицы на божьем свете хозяева. Успела Геленка уже наглядеться на муки людские. Век бы не видеть такого. Только вот оно — новое горе.

Мать покликнула домой. И то верно, не торчать же торчком возле покосившегося палисадника, не ведая чего ради. Ничем ведь она помочь не может. Совершенно ничем.

А дома и брат старший, Евгению ровесник, и отец у окошка стоят. Вздыхают. Отчего, дескать, лютуют люди. Живи, расти хлеб да скотину, не зарься на чужое, не учи всех жить на свой, тебе любимый манер — вот и ладно в мире будет, покойно.

Мать подошла к окну. Пожалела:

« — Бидни люды. — Потом добавила опасливо: — Якщо хату запалять, на нашу може перекинутися!»

« — Може, — согласился отец, — сгорим и мы».

А она боялась за Евгения, жалела его. Не думала она, что пробивается едва заметным родничком любовь, которой расти и шириться от года к году.

Ушли дядьки. Отец, мать и брат занялись обычными делами, а она ещё долго стояла у окна и ждала, не выйдет ли на улицу Евгений.

На следующий день она часто подходила к окну и наконец увидела его. Так хотелось ей выйти, поздороваться, но постеснялась, пересилила себя. А хитрить тогда ещё не умела. Этому научится она потом, спустя месяцы. Всяко изворачиваться станет: увидит их с братом, найдёт предлог спросить что-либо у брата. Так вместе и окажутся. Или одного увидит Евгения, тоже будто невзначай появится у него перед глазами. И опять — вместе. Хоть и стыдилась, что сама бегаёт за парнем, осуждала себя, пыталась перебороть влечение, не выходить к нему, пока не позовёт, но так получалось, что разум отступал перед порывом.

Потом и с тётей Лидой подружилась Геленка, уважительней к ней относилась, чем к родной матери.

А как же радовалась она, когда Евгений спел ей песню, сочинённую для неё! Купалась в безбрежном счастье. И решила, не говоря ничего ему, спеть её в сельском клубе. Пусть все земляки разделят её счастье. Они поймут её, и это — прекрасно.

Как бы всё было проще, не сделай она этого. Жили бы они в своём селе, никому не ведомые, хлебоборили бы и уже давно бы поженились, имели бы сына или дочку. Не в славе счастье. Оно — в любви. В детях. Что слава? Её не приголубишь, не прижмёшь к груди. А голову она кружит. Вред только от неё — от этой славы...

Вначале она увидела туфли. Его, Евгения, бордовые туфли. Потом брюки, а уж потом только его всего, висевшего в полуметре от их скамейки на рушнике. Затормозилось её восприятие реальности, она с каким-то недоумением смотрела на Евгения. Родное, милое лицо, что гриб синюшный. И по этому лицу, по яркой вышивке рушника ползали большие синие мухи, воронено вспыхивая, когда оказывались в лучиках солнца, игольчатыми пучками пробивавшихся сквозь тихую густоту дерева. Ноги Геленки подкосились, и она повалилась на песчаную дорожку. Последней её ясной мыслью была мысль о своей во всём этом вине.

Его хоронили всем миром. За гробом шли и городские власти, и интеллигенция, и школьники. Жалели его, наложившего на себя руки из-за неразделённой любви. Особенно откровенно плакали женщины и девушки. Молва всегда быстро находит окончательное и совершенно бесспорное объяснение всему, и смерть Евгения не стала исключением. Друзья осуждали его за малодушие, прожившие жизнь люди с мудростью стариковской глаголили, что не волен человек сам себя лишать жизни, грешно, дескать, это. Всяк по-своему воспринял случившееся, но все убеждены были, что никакой ошибки в понимании причин печального конца едва начавшего жить талантливого композитора нет и быть не может.

И только седая, совершенно постаревшая от горя мать Евгения не поверила, что сын её — самоубийца. Но кто прислушается к её словам? Матери всегда заблуждаются, когда оценивают поступки своих детей.

ОДИССЕЯ СТАРШИНЫ РОКЧЕЕВА

ГЛАВА 1

«— Аксакал, вам письмо!»

Курсант Худоятов сказал это необычно торжественно, а в маслянисто-чёрных глазах его прыгали лукавые бесенята.

Старшина Рокчеев, кого торжественно извещал Худоятов, не сразу отозвался. Он аккуратно уложил тренировочный костюм в дипломат, поочерёдно защёлкнул замки, попробовал, крепко ли они держат, и лишь тогда поднял голову.

«— Давай.»

И сказано это было так, словно Рокчеев делал услугу, принимая письмо. Он не обратил внимания ни на лукавую улыбку курсанта, ни на то, что Худоятов не крикнул своё обычное «Суюнчи», как делал это всегда, когда сообщал радостную весть, за которую должен получить по меньшей мере дружеское спасибо. Рокчеев, осанистый, ладный, посмотрел равнодушно на письмо, прикидывая, распечатать ли его теперь же либо сунуть в тумбочку и прочитать после возвращения.

Письмо было от Раи Ольховой, его невесты, как он сам называл её ещё на втором курсе, показав в минуты откровения ребятам её фотографию.

«— Ого! Отхватил!» — с явной завистью бросил кто-то из-за спины. А Саид Худоятов, в быту Серёжка, по-восточному витиевато изрёк:

«— Лунолика газель. Она достойна столь почтенного воина, аллах наградил которого мужественным лицом, руки и грудь снабдил силой борца и самбиста, ноги подвижностью и послушностью танцовщика, а мозг глубокими извилинами, которые позволяют, пропуская почти все самоподготовки, учиться только на пятёрки.»

Всеволоду Рокчееву тогда понравилось такое необычное сравнение: газель. Фигурка у Райки действительно точёная. А лицо её, с чутьку выдвинутыми скулами, без косметических прикрас, было удивительно чистое, мягкое, словно умытое молоком. Взгляд мягкий, неизменно добрый, даже в минуты обиды. И коса. Длинная толстая каштановая коса — предмет тайной зависти и частых насмешек многих девчонок. Коса, за которую сколько раз Всеволод хотел дёрнуть, как дергали все мальчишки из их класса, но так ни разу и не дёрнул.

На первом и на втором курсах Рокчеев часто доставал из кармана фотографию Райки и подолгу смотрел на неё; тогда он писал ей письма часто, не ожидая даже ответов. Но после того как его постоянной партнёршей по танцевальному кружку стала Эмма Неймарк, он стал писать реже, поначалу оправдываясь перед Раей надуманными причинами, а потом, уже вовсе без объяснений, отвечал не на все письма. Рая всё больше и больше отдалялась от него. Она проигрывала в сравнении с Эммой. Рая выглядела, как теперь воспринимал Рокчеев, по-домашнему буднично. На ней даже новое платье казалось привычно-будничным. Да и длина Райкиных платьев оставалась неизменной — чуть ниже колен. Она не принимала мини, не приняла и макси.

У Эммы же всё было словно напоказ, всё привлекало, всё волновало. И одевалась она по последнему слову моды. Платья яркие, то длинные и узкие, с вырезом на полспины, то короткие и широкие, на узеньких ляпочках, как у ночной сорочки; а брюки — то вельветовые в обтяжку, то расклешенные джинсы. И лицо на каждом занятии танцклуба разное. Чёрный парик, чёрные брови с загибом к вискам, тёмные тени — ну, прямо наложница из бухарского гарема. Или взбитые, словно завихренные шальным ветром, светлые кудри. «Поэтический беспорядок» — так называла Эмма эту причёску, и она особенно шла ей, делала её очаровательной, похожей на русалку архангельских наших земель либо Скандинавии. Танцевала Эмма тоже не так, как Рая, — гибко, самозабвенно, а разгорячённая прильнёт, бывало, к нему порывисто, а то не удержится и поцелует. При всех. И не робко. Эффектная девушка Эмма, ничего не скажешь, и в сердце старшины Рокчеева занимала она всё больше места, вытесняя настойчиво Раю.

Последние две недели Рокчеев вовсе не слал Рае писем. И почти не вспоминал о ней.

Всеволод знал, что в письме не будет упрёка, как не было их прежде, когда он позднился с ответом. Однотонные страницы без эмоций, без всплесков радости и печали, спокойный рассказ об институтских новостях, о какой-нибудь проделке студентов; бесстрастная, хотя всегда точная оценка прочитанной книги. Но именно эта постоянность тона, которая так нравилась Рокчееву прежде, последнее время раздражала его, а ему сегодня было очень важно сохранить бодрость духа, ибо сегодня предстояла не просто тренировка в клубе самбо — сегодня тренер намеревался провести пробные поединки, чтобы отобрать кандидатов для соревнования на первенство области. Рокчееву же очень хотелось попасть в сборную области, и он бы, видимо, бросил письмо в тумбочку, но услышал предостерегающее:

«— Несравненная газель, о отрок, не менее толстое письмо адресовала и нашему глубокопочтимому замполиту батальона!»

Рокчеев досадливо поморщился. Подумал: «Жаловаться вздумала, что ли?» — и с явной неприязнью вскрыл конверт.

Он не увидел привычного: «Здравствуй, Сева», — и ухмыльнулся снисходительно: «Умеет всё же обижаться.»

Но первые же строчки письма сбили с лица Рокчеева снисходительную ухмылочку. «Ты авгур! И вряд ли дано тебе понять, что пережила и переживаю я после того, как узнала правду...». А чем дальше торопливо пробежал он глазами аккуратно уложенные строчки, тем заметнее менялось его лицо. Скулы, грубовато выпирающие, вспыхнули, словно перекалились на солнце, а мясистый нос его покрылся испариной и побледнел до того, что, казалось, брошенный меткой рукой снежок угодил в лицо, да так и прилип между скул, обжигаясь о них и подтаивая.

Серёжка Худоятов имел дурную привычку, вручая письмо, ждать, пока оно не будет вскрыто и курсант не отключится от мира сего умиротворённо, и тогда только, довольный содеянным добром, уходил разыскивать следующего счастливицу, чтобы крикнуть и ему: «Суюнчи». На этот раз Серёжка растерялся, даже испугался. Подумал с тревогой: «Не умер ли кто из близких?! Или другое несчастье?!».

Худоятов не уходил, готовый утешить либо предложить свои услуги, если нужна помощь, но старшина Рокчеев словно не видел Худоятова; он дочитал письмо, затем сразу же начал перечитывать его. Он смотрел на знакомые, ровно уложенные строчки, на сей раз не однотонные, а насмешливо-злые, и с замиранием сердца представлял себе, как майор Сужков,

замполит батальона, на партийном собрании зачитывает письмо Ольховой, а все коммунисты с возмущением и издёвкой бросают реплики: «Ну, герой. Долго водил нас за нос!». Он будто уже слышал эти реплики, и они казались ему больнее удара ножом в грудь, но вместе с тем вызывали протест, возмущение несправедливостью упреков. Он никого не обманывал. Он не приписывал себе несовершенного. Кто спросил его в школе, как всё произошло? Никто ничего не спрашивал и в училище.

«За меня все говорили, меня же теперь и обвиняют!» — всё более и более озлоблялся Рокчеев. «— Пусть обсуждают. Я им отвечу! Отвечу! Многим не по себе станет!».

А голос совести пытался пробиться сквозь злобную упрямость и готовность защищать себя от упреков и насмешек, защищать привычную уже славу. Рокчееву слышался ответ Сужкова: «Позиция телёнка всегда выгодна. Спокойно. Да и руки погреть можно при желании...».

...Их было четверо. Старший наряда — мужчина лет сорока, который представился ведущим инженером научно-исследовательского института, двое молодых рабочих, высоких, ладно скроенных и добротно сшитых парней, и Всеволод Рокчеев, ещё по-юношески угловатый акселерат, ученик десятого класса. Они неспешно шли по широкому тротуару, переговариваясь о пустяках. Ярко светила реклама над уже закрытыми магазинами, кулинарией, сберегательной кассой, пивным баром; дробили каблучками спешившие с занятий студентки-вечерницы, у пивного бара, с полчаса как закрытого, липкие кучки дюжих мужчин и ломких подростков хотя и громко, но мирно обсуждали прожитый день и мировые проблемы; косясь на них и невольно прибавляя шаг, проходили мимо этих возбуждённо-шумливых скоплений пожилые пары, которые, видимо, уверились в учении Амосова, что только в движении спасение от старости, и каждый вечер прогуливали кто только себя, кто себя и свою собаку, живущую в доме на привилегии любимых внучат и вместо них, — вечерняя жизнь текла на бульваре обыденно, и ничто не требовало вмешательства дружинников, ничто не предвещало трагедии. Ребята уже утомились от долгой однообразно-спокойной ходьбы, и уже несколько раз ведущий инженер поглядывал на часы, но время шло удивительно медленно.

Вот один за другим потухли огни рекламы, потускнели светильники, и ещё таинственней стали берёзовые аллеи, слились в однотонную полосу и живая изгородь, и ярко-оранжевые скамейки, часто расставленные вплотную к зелёному кустарнику, — не схватывает больше глаз контрасты цветов, всё таинственно-темно, всё тает в мглистом мареве; но дружинники только поглядывали на глухую темноту аллеи и не заходили туда: там обычно в такое позднее время никого не бывало, а, значит, никто никого не мог обидеть. По другой же стороне бульвара, за берёзовыми аллеями, где тоже выключилась реклама и притухли фонари, за порядком присматривал ещё один наряд.

Проехал не спеша, будто отплёвываясь от темноты синими пучками света и оглядывая всё окрест, милицейский «москвичок», и вновь неподвижная сонливость воцарилась на бульваре. Старший наряда глянул, когда подошли поближе к фонарному столбу, на часы и повелел:

«— Ещё один раз пройдём свой участок и — по домам.»

«— Может, не пострадает мировая революция, если мы теперь же домой двинемся? — предложил один из парней. — Нам утром за станок, Всеволоду — за парту.»

«— А инструктаж забыл? — ещё раз глянув на часы, спросил старший. — Сказано: не уходить раньше времени! Значит, нельзя. А нам ещё полчаса бдить.»

«— Революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг», — с пафосом прочитал Блока Рокчеев, все улыбнулись и больше уже не понуждали старшего к самовольству.

Они отходили положенное им время, распрощались недалеко от метро, старший наряда и Рокчеев пошагали было к трамвайной остановке, рабочие парни повернули обратно — они жили кварталов за пять от метро и домой привыкли ходить отсюда пешком, — но именно в это время (случается же такое в жизни) из темноты берёзовой аллеи, чуть поближе пивного бара, донёсся пронзительный девичий крик. Оборвался он так же неожиданно, как и возник, будто кто-то отсёк его на самой высокой ноте.

«— За мной!» — крикнул старший наряда и потрусил по тротуару.

Выполняя команду, все поначалу тоже потрусили следом за ведущим инженером, но Рокчеев не выдержал и рванул вперед. Остальные тоже побежали во всю силу.

Они подоспели, как принято говорить в таких случаях, к шапочному разбору. Но ведь не их вина в том, что милицейская машина, оказавшаяся неподалёку, имела значительно большую скорость, и когда дружинники, осилив три сотни метров, подбегали к пивному бару, двое милиционеров уже выводили из темноты на свет высокого парня в замшевой куртке и в фирмовых джинсах. Пышная причёска его походила на взбитый парик приказчика, который по случаю разбогател и, причислив себя к знати, неумеренно подражал ей. Следом за парнем плелась запуганно съёженная девушка. Волосы растрёпаны, под левым глазом отталкивающе чернел большущий синяк.

Парень совершенно не сопротивлялся. Казалось даже, что не его ведут милиционеры, заломив руки за спину, к машине, а он тянет их за собой; на подбежавших дружинников он посмотрел с неподдельным удивлением: «А вы зачем здесь?» — и даже улыбнулся им. Вёл, короче говоря, джинсово-замшевый парень себя так, словно всё, что здесь происходило, его вовсе не касается и даже не вызывает досады это недоразумение. Разберутся и отпустят. С извинениями отпустят.

Задержанного подвели к машине. Милиционер, продолжая держать парня одной рукой, стал открывать дверцу, а тот вдруг крутнулся волчком, вырывая руки, метнулся вправо, и на пути его оказался Рокчеев, такой же высокий, тоже сильный, но вовсе не готовый к действию. Всё произошло мгновенно и, главное, так неожиданно, что Рокчеев опешил. Испуга не было, но не было и решимости задержать убегающего или хотя бы подставить ему ножку. Парень резко тряхнул рукой, из рукава куртки выскользнул нож, и в следующий момент удар в грудь свалил Рокчеева на асфальт.

Не видел уже Всеволод, как бросились за убегающим и милиционеры, и ребята-дружинники, не слышал, как ведущий инженер крикнул девушке, ещё более съжившейся: «Что стоишь?! Помоги!». Не чувствовал, как тот поднял его, уложил на заднее сиденье, затем вновь, уже не так грубо, приказал девушке: «Садись и держи, чтобы не упал», а сам сел за руль. Не чувствовал Рокчеев, как опасно и в то же время бережно держала его голову девушка и беззвучно рыдала, — ничего не видел и не чувствовал Всеволод до тех пор, пока машину не тряхнуло на трамвайных рельсах, только тогда дикая боль пронзила всё его тело, он вскрикнул, а сердце зашло в бешеной скачке.

«— Потерпи. Потерпи пяток минут.»

Не услышал и этих слов Рокчеев. На счастье, сознание его снова отключилось.

Рана оказалась серьёзной, но не смертельной; дежурного врача больницы беспокоило другое – тяжёлое сотрясение мозга и сильный ушиб шейных позвонков, а мог быть повреждён и спинной мозг.

Врачи и смерть несколько дней одолевали друг друга без успеха. Победу всё же праздновали врачи. После второй операции Рокчеев вернулся к жизни, и мать, увидев, как робко дрогнули, а затем тяжело поднялись веки, увидев осмысленный взгляд сына, сердцем почувствовала, что теперь будет он жить, и зашлась в рыдании. Её едва отходили.

Первыми навестили выздоравливающего Рокчеева те двое милиционеров, из рук которых вырвался преступник. Всеволод, возможно, и не узнал бы их, одетых в белые халаты, но один из них, постарше, взял, как говорится, с места в карьер:

«— Не убежал твой преступник. А тебя к медали представляем. «За отвагу». По заслугам и честь.»

Неожиданно и, как показалось Всеволоду, неуклюже прозвучала похвала. Он не мог не радоваться тому, что силы возвращаются к нему, но сильней той радости была холодившая душу мысль о том, что его трусость стала известна всему классу, всей школе; он представлял себе первую встречу со своими «бэшниками» как встречу позора. Он готовился к ней, перебарывая свою робость, готовился пережить насмешки ребят достойно и открыто — он был уже уверен, что не отведёт глаз от впервые недоброго Райкиного взгляда, скажет ей прямо всё, что думает о себе.

Всеволод бесчисленное количество раз проигрывал в воображении возможные варианты своих действий на бульваре в тот критический момент: вот он, словно разъяренная рысь, прыгает на задержанного, лишь тот начинает вырываться, либо подсекает уже вырвавшегося преступника подножкой, отпрянув в сторону от занесенной руки с ножом; но чаще всего он представлял себе, что он, как ловкий каскадер в кино, выбивает легко нож из рук преступника и сильным ударом валит его на асфальт, — в те минуты Рокчеев сам себе казался смелым, дерзким, натренированным; но всякий раз мечты прерывались вдруг, чаще всего мнившейся репликой Райки: «Оттого ты и не дергал за косу, что трус». Он уже твердо решил, как ответит на эту реплику: «Я не дергал за косу потому, что она красивая». Он внутренне уже был готов к насмешкам или к снисходительности, и вдруг... Медаль «За отвагу». Как гром среди ясного неба.

Откуда мог знать Всеволод о том разговоре, который произошел в отделении милиции- после того, как доставили туда задержанного преступника.

«— Из-за нелепости вся трагедия», — со вздохом произнёс ведущий инженер. — «Парня жаль. Если и выкарабкается, всё равно невесёлая жизнь, я вам скажу, будет у него. Изводить станут сверстники. Особенно те, кто позлей да потрусливей. По-иному бы в школу сообщить...»

Предложение это поддержали, и тут же был написан рапорт, в котором главное место занимал рассказ о том, как бросились дружинники на шум, а Рокчеев оказался проворнее всех и первым прибежал к месту происшествия, описание же действий милицейского патруля свелось к тому, что он «подоспел своевременно» и задержал преступника. После удара ножом или до него, в рапорте не уточнялось.

Не ведал Всеволод и того, что его окровавленный комсомольский билет висит в школе на специально оформленном небольшом стенде с броским названием «Подвиг нашего ученика» и что ребята всей школы, и малыши и десятиклассники, все перемены толкуются возле стенда.

Не придал Всеволод значения словам «твой преступник» — просто, видимо, не уловил их смысла. А именно в них была заключена его будущая слава.

Понял это Всеволод Рокчеев через несколько недель, когда вошёл через калитку во двор своей школы. Хотя и моросил дождичек, на асфальтированной площадке перед главным входом стояли почти все учителя во главе с директрисой, а за ними теснилось десятка два учеников в парадной форме и с цветами в руках, и как только Рокчеев подошёл поближе, ученики (представители всех классов, отличники и активисты) выбежали навстречу и хором прокричали:

«— Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!»

И директриса, Роза Самойловна, подошла. С радостной улыбкой протянула руку:

«— Поздравляю тебя с возвращением в родную школу.»

Чего ради его поздравлять? Куда ж ему деваться, если врачи сказали: «Здоров»? Он бы с удовольствием ещё недельку-другую побездельничал, но... Надо учиться. Ведь десятый класс.

А Роза Самойловна берёт под руку осторожно, словно больного, словно боясь причинить нечаянно боль, ведёт к двери и говорит всё с той же радостной улыбкой:

«— Вся школа собралась в актовом зале. Тебя послушать.»

Верно, актовый зал битком набит. На сцене стол, уставленный цветами. А вот слушать его никто не стал. Посадили в центре стола, рядом с директрисой, и стали говорить за него. Вначале Роза Самойловна по-матерински мягко превозносила до небес его мужество, а потом трещали с трибуны, захлёбываясь от восторга, девчонки-отличницы, призывали всех брать пример с Всеволода Рокчеева, быть такими, как он. Всеволод же сидел скованно, весь пунцово-красный от стыда. Ему бы встать и сказать всему этому залу, что не он первый задержал преступника, не дрался он с ним, не сходил в смертельной схватке, не проявлял ни героизма, ни мужества, но даже мысль об этом пугала его. Даже пот выступил на носу и на лбу. А тут ещё Роза Самойловна со своей душевной заботливостью. Платочек подала и шепчет:

«— Радуйся с нами вместе. Гордись собой, как гордимся мы, вся школа. Ты теперь у нас — маяк. Пойми всю ответственность за это.»

Заманчиво иметь в школе своего героя, учить на его примере других гражданскому долгу, гражданской смелости...

В классе тоже хором поздравили Всеволода, а каждый урок начинался с одних и тех же слов: «Сегодня у нас праздничный день...». Преподаватели менялись, а слова — нет. И больно они хлестали Всеволода, холодело от них в душе, а лицо краснело.

Но кончился тот мучительный день действительно празднично. Рая, недоступная Рая, сама предложила ему:

«— Пойдём домой вместе.»

И в добром её взгляде Всеволод уловил что-то необычное, волнующее.

Она сама взяла его под руку, когда они вышли за калитку, и спросила участливо:

«— Устал?»

Он промолчал. Он действительно устал. Устал от многословия, устал от стыда, который мучил его весь день, устал от своей нерешительности, от того, что не хватило мужества остановить многословные восторги. Он понимал: время сейчас — его враг, и чем дальше, тем труднее ему будет решиться сказать правду. Вот и теперь в самый бы раз открыться Райке, но он вновь не осмелился на такой поступок. Он представил её удивленно-отчуждённый взгляд, представил, как она отшатнется от него и скажет: «Дальше я пойду одна», — и добавит то же самое, что говаривала ему не единожды: «Не ходи за мной», — он представил всё это и промолчал, понимая, что мосты над пропастью догорают.

А Рая продолжала своим ровным мягким голосом, по-домашнему спокойно:

«— Копьё Гонора прикоснулось к твоему плечу...»

Она всегда вот так. О возвышенных вещах говорит совершенно бесстрастно, словно речь идёт о двойке, поставленной нелюбимым учителем не за знание, а за какую-то шалость на уроке.

Прошли молча недолго, и Рая спросила:

«— Отчего ты никогда не дёргал за косу? Боялся, что рассержусь? Да?»

Вот тебе раз! Ждал он этот вопрос. Правда, не совсем такой и не в такой обстановке, но всё же... Поборол волнение и ответил уже давно приготовленными и отшлифованными словами:

«— Потому не дергал, что красивая она.»

Румянец у Раи в полщеки. Так и поцеловал бы. Или подул, чтобы остудить вспыхнувшее пламя, чтобы не обожгло оно нежность Райкиного лица. Да разве сделаешь это, когда столько учеников обгоняют их, спеша домой? Да и Райка не осерчает ли?

Шли дни. Постепенно бум убывал, и уже не так часто звали Всеволода на пионерские сборы, и не с таким почтением усаживали его за стол президиума, и это задевало его самолюбие — Рокчеев уже не краснел, когда пионервожатые призывали своих подопечных брать с него пример, он привык к почёту. Медаль, которую приехали в школу вручать пожилой подполковник милиции и райвоенком, Всеволод принял с достоинством. Даже пообещал:

«— Буду стараться не посрамить этой награды.»

Фразу ту, правда, директриса подсказала. Но никого в это он не посвящал, и ответ прозвучал внушительно, ещё выше поднял его авторитет.

И когда военком сказал, что такому герою самое место в офицерском училище, ответил: «Это моя мечта», — хотя ещё минуту назад вовсе не думал ни о каком училище, а накануне вечером они с Райкой договорились подавать документы в МГУ на исторический факультет.

Сказал и глянул на Райку, которая сидела на первом ряду и не могла не слышать ответа. Ничего, не изменила взгляд. Добрый, ровный. Согласна, значит.

А когда шли они домой, Рая сказала ему:

«— Верно ты решил. Служение Беллоне — достойно мужчины. А я дождусь тебя. Ладно?»

Это здорово! Она будет ждать. Значит, можно завтра же идти в военкомат и писать заявление. Точнее, рапорт. Жаль конечно же мечты стать историком, но слово сказано. Громко, на весь актовый зал.

Всеволод привыкал к новой роли всё более и более. Его нисколько не удивило известие о том, что комсомольский билет будет передан в музей. Когда же дали ему в школе характеристику

для военкомата, прочитал её ревниво-внимательно, готовый возражать, если что будет не так. Остался доволен, весьма доволен. И запомнил её. Для училища запомнил, если там станут расспрашивать. Теперь он уже без волнения и без угрызений совести, расчётливо продумывал детали рассказа о своём подвиге, вернее, несколько вариантов рассказа: краткий, или скромный, как он неожиданно для себя назвал его, и сколько потом не отбивался от этого слова, оно прилипло, как банный лист; более полный вариант и, наконец, с описанием ночного бульвара и всех чувств, которые пережил он в эту трагическую ночь...

Вся эта подготовительная работа оказалась, однако, совершенно лишней.

Училище он нашёл легко: спросил у милиционера на привокзальной площади, и тот охотно объяснил:

«— На «девятку» вон садись и до конца. Там рукой подать. Любой укажет.»

Троллейбус ехал по незнакомым улицам долго, и Всеволод с любопытством рассматривал новый для него город, если верить историкам — старинный, а судя по однообразию добротных кирпичных двухэтажек, приплюснутых панельных пятиэтажек, между которыми нелепо-броско высились высотные «башни», — совсем молодой, не более сорокалетнего возраста. Очень походил город на московские окраины — Бабушкино, Кунцево, Тушино. А район конечной остановки, как показалось Всеволоду, и вовсе не отличался от московских окраинных микрорайонов: дома-близнецы вольно рассыпались по пустырю, а между ними — едва прижившиеся деревца, детские качели, яркие и скрипучие, поломанные песочницы и самодельные футбольные ворота. И люди, как в Москве, спешат по своим делам. Много людей, но каждый сам по себе. Со своими заботами, со своими мыслями.

«Хорошо. Как дома», — удовлетворённо решил Всеволод и пошагал к училищу, всё более и более волнуясь при мысли о предстоящей встрече с неведомым.

Подошёл он к проходной в самый раз. Десятка полтора абитуриентов, раньше Всеволода собравшихся здесь, рассаживались в крытой машине, а посадкой руководил, властно покрикивая, сержант в летней форме с двумя полосками на рукаве. Он уже был принят в училище и теперь помогал офицерам встречать абитуриентов-школьников.

«— Тоже к нам? — спросил сержант у Всеволода и, внимательно изучив предписание военкомата и паспорт, приказал: — Садись!»

Более часа везли ребят вначале ходко и нетряско по асфальту городских улиц, потом, ковыляя по ухабам проселка; но вот, наконец, машина остановилась, и сержант, выпрыгнув из кабины, крикнул:

«— Выходи строиться!»

Построили их на просторном плацу перед приземистыми казармами полевого учебного центра — ПУЦа. За их спиной стоял ряд большегрузных машин-фургонов, на крышах которых лежали похожие на огромные лопушиные листья антенны; за машинами щетинился тёмным бобриком сосновый бор с берёзовой проседью; бор этот вдали, справа и слева, спускался в низины пейзами, такими же тёмными и густыми, с такой же серебристо-снежной проседью — а дальше, насколько виделось глазу, желтели поля не сжатой ещё пшеницы.

«Шумит, шумит пшеница золотая...» — нелепо возник напев давно услышанной по радио песни. Всеволод ухмыльнулся: «Надо же!» — и тут прозвучала резко и властно команда сержанта:

«— Смирно! Равнение на середину!»

Из казармы вышел подполковник, высокий и подтянутый, как истинный офицер-строевик. Эффектно вскинув к козырьку руку, подполковник выслушал — весь внимание — рапорт сержанта, затем, чеканя шаг, подошёл поближе к строю и, теперь чеканя каждое слово, поздоровался:

«— Здравствуйте, товарищи абитуриенты!»

Попытались ответить хором — как-никак в школе проходили военное дело. А подполковник улыбнулся снисходительно и успокоил:

— Ничего, научимся. Дисциплина армейская — дело наживное. — Сделал паузу и, вновь вскинув к козырьку руку и приняв стойку «смирно», продолжил: — Докладываю: я ваш командир батальона. Подполковник Панкратов. С теми, кто осилит конкурс, будем четыре года вместе...

Каждый жест, каждое слово подполковник Панкратов подчинял одной цели — произвести впечатление, чтобы врезалась в память будущих курсантов эта первая беседа. И он добился своего. Абитуриенты восприняли своего комбата как образец офицера.

После, когда привели ребят в отведённую им комнату, кто-то сказал: «А комбат — клёвый мен», — и тут все заговорили, давая оценку подполковнику: и умён, и доступен, и подтянут, словно юноша (спортом, наверное, занимается), и мундир на нём сидит ладно — в общем, командир что надо, с командиром им повезло. И это мнение надолго останется господствующим среди курсантов, хотя уже через полгода им надоеет и артистизм выходов к строю командира батальона, и его длинные «воспитательные» речи с медленным, вкрадчивым прохаживанием перед строем; они разглядят его повнимательней и поймут, что он угловат и не шлифован, что лицо его далеко не интеллигентное, а взгляд нечасто бывает добрым, — но, даже поняв это, они не изменят общего мнения о нём до конца учёбы и станут обсуждать в курилке лишь частные его просчёты. Но это будет потом, а пока подполковник Панкратов в перекрестье восторженных взоров ребят неспешно знакомится с абитуриентами, задаёт привычные и даже надоевшие ему, но сильно волнующие ребят вопросы: откуда прибыл, кто родители, как закончил школу?..

«— Рокчеев», — назвал свою фамилию Всеволод и готов был отвечать на все вопросы, но, к общему удивлению, да и удивлению самого Рокчеева, подполковник протянул ему руку и, крепко пожав её, сказал громко, с пафосом:

«— Такие герои нам нужны. Надеюсь, вы успешно сдадите вступительные?!» — не то задал вопрос, не то горячо обнадёжил он Рокчеева. И ещё раз подтвердил: — «Нужны нам такие. Нужны!»

И всё. Впустую Всеволод переживал и обдумывал свои ответы, боясь сфальшивить. Просто-то как оказалось. А с ребятами уже легче. Когда спросили, отмахнулся скромно:

«— Пустяки. Дружинили на бульваре и задержали одного.»

Больше ни слова. Никаких объяснений.

Ещё несколько раз, особенно в бане, когда видели шрам на груди, пытались курсанты разговорить Всеволода, но он всякий раз отшучивался или отделялся пустяшной фразой. Отстали в конце концов. Но относились с уважением, потому что часто слышали от комбата: «Герой...», «Мужественный...». Ну а раз комбат говорит, значит, правда.

Нет, чиста совесть Рокчеева. Его хвалили — это было. А сам себя он не возвеличивал. Не было такого. Правда, он готовился выступить завтра на встрече с родителями старшего сержанта Евгения Кривенкова, но опять же не сам проявил инициативу. Замполит попросил. Надо, и всё тут. Как эстафету отцов молодёжь подхватывает. И потом — готовился только. Может, и не выступил бы. Вдруг взял бы и заболел.

Рокчеев свернул наконец письмо, повертел конверт в руках, не зная, как с ним поступить, затем сунул его в задний карман брюк.

«Поговорим ещё! Поговорим! Пусть вызывают!».

Он расстегнул дипломат, швырнул в тумбочку тренировочный костюм, нимало не заботясь об аккуратности, бросил дипломат на кровать и решительно пошёл в ленкомнату, где курсанты роты смотрели хоккей, но с каждым шагом решительность его убавлялась, и он остановился на полдороге. Ему отчего-то казалось, что вся рота уже знает о Райкином письме, а скоро узнает весь батальон, всё училище. И не счистить ему Райкиного «авгура». Так и прилипнет. Один выход — писать рапорт. Уезжать. А куда? Домой? Там наверняка уже все знают правду. Рокчеев пошагал в комнату сержантов, где сейчас никого не было, чтобы в одиночку ждать вызова замполита и думать о своей будущей судьбе.

«— Ну и что, замполит, предлагаешь предпринять?!» — брезгливо отодвинув письмо, спросил Панкратов. Сейчас он не заботился о том, эффектно ли выглядит, и был самым собой: тесноватый китель расстёгнут, и воротник, казалось, подпирает снизу уши, чтобы не свисали; желваки под скулами играют, взгляд сурово-злой.

«— Ничего, Василий Остапович. Зашёл проинформировать», — спокойно ответил майор Сужков. — «Совершенно ничего.»

«— Как это ничего?!» — воскликнул гневно Панкратов и даже встал. Решительный, грозный, готовый к действию сейчас же, сразу. — «Батальон нужно, Иван Никитович, построить. Весь батальон. Я сам прочитаю это письмо. Ишь ты — гусь лапчатый! Мы ему все на тарелочке: танцульки хочешь — на, самбо заниматься — пожалуйста, пятерки, если что не так, — ходатайствовали... А он! Я ему руку жал, герой, дескать! Я за него со сколькими преподавателями отношения обострил! Нет, я не могу, чтобы вот так — ничего. Сам на вечернюю поверку пойду. А ты, думаю, завтра же его на внеочередное партсобрание. Место ли ему среди нас?! Вот как нужно ставить вопрос! Начальнику училища я сейчас должен доложить. Нет в кабинете, домой позвоню. Дело-то вон какое, из рамок выходит!»

«— Присядь, Василий Остапович, и погоди метать громы и молнии. Погоди. Письмо лично мне адресовано, и решать вопрос о докладе по команде буду я сам. Я ведь и тебе мог о нем ничего не сказать. Честно говоря, и не хотел поначалу. Не доложить, Василий Остапович. Не доложить. А обговорить дальнейшее наше отношение к старшине Рокчееву.»

Майор Сужков тоже расстегнул китель, как бы подчеркивая этим, что разговор предстоит долгий и он готов к этому. Подождал, пока сядет комбат, и продолжил:

«— Не обвиняй меня в хлыстовских тенденциях. Я тоже не сторонник самобичевания: недовоспитали, недоглядели, весь коллектив в ответе... Человек за свои поступки должен отвечать сам. Обязан отвечать.»

«— Вот и пусть ответит! Пусть сполна ответит!»

«— Верно. Только за себя. А вину других не станем на него валить. Хорошо?»

«— Что-то я, Иван Никитович, не могу в толк взять твои шарады. Растолкуй несмышлёнышу.»

«— Зачем этот тон? Не так ведь всё просто, как может показаться на первый взгляд. Мне видится, Рокчееву славу создали.»

«— А сам-то он, сам?! Выгодно-невыгодно. Нам тоже, хочешь сказать, выгодно промолчать?»

«— Нам? Не только о нас речь. О Рокчееве в первую очередь нужно думать. Не о старшине роты, даже не о будущем офицере — о человеке думать, о гражданине. Да, да. Я без пафоса говорю. Серьёзно говорю, — майор Сужков помолчал немного, словно ожидая возражения комбата, но тот, недовольно взирая на своего заместителя, тоже молчал. Тогда Сужков продолжил: — Есть у Льва Толстого притча. Не помню названия, но суть её вот в чем. Сидит в тенёчке под вековым деревом мудрец-философ и размышляет о судьбах человечества, а неподалеку детвора шумливо играет, мешая о их же будущем благе думать. Когда шалуны вовсе надоели мудрецу-философу, подозвал он их к себе и говорит, что яблоки-де дают бесплатно. И назвал довольно далёкий квартал, чтобы подольше не возвращались. Детвора, естественно, ноги в руки и — врассыпную. Остался философ один, сидит и размышляет о

бренности бытия. Но глядит — мимо люди пробегают. И ребята и взрослые. Спрашивает одного, другого, третьего, каждый отвечает, что яблоки, дескать, дают бесплатно. И называют место, которое сам философ указал. Удивился поначалу философ, сильно удивился, но потом засомневался: раз люди бегут, значит, неспроста. Вдруг и вправду дают яблоки бесплатно. Подхватил полы своей тоги и — дай бог ноги. В обгон бегущих пошёл. Чтобы не опоздать... Вот, Василий Остапович, и суди: пожилой, мудрый человек своей же выдумке поверил, а что же с юноши спросить? Тем более что нож-то ведь бандюга всадил. Парня едва-едва спасли.»

Помолчали. Обдумывали свои позиции, своё отношение к Рокчееву. Панкратова притча не убедила. Подумал с неприязнью: «При чем тут яблоки? Вещи-то совсем разные». Комбат не мог сейчас мыслить спокойно и логично — не давало ущемлённое самолюбие. Панкратов вспомнил и то, как впервые искренне пожал руку Рокчееву, тогда ещё абитуриенту, и то, как он пересказывал характеристику Рокчеева всем преподавателям и членам приёмной комиссии и просил их отнестись к мужественному парню более внимательно, более лояльно; вспомнил о том, как перед строем всего батальона называл Рокчеева героем и призывал брать с него пример, — вспомнил всё, что предпринимал, чтобы иметь в своём батальоне маяка, и даже стукнул от досады по столу. Воскликнул гневно:

«— Смеяться же курсанты надо мной будут. И поделом. Что я им отвечу?!»

«— Если бы дело касалось только нас, я сейчас бы пошёл и сказал громко всему батальону: плохие мы с комбатом воспитатели, ошиблись в Рокчееве, примите наши извинения, что ставили его в пример всем вам, честным ребятам. Но дело-то, Василий Остапович, не в нас. В Рокчееве дело. И потом... Вдруг всё же мы не ошиблись? Давай на весы бросать факты. Вступительные как он сдал? Отлично. Московская школа. Подготовлен прекрасно был. И наши хлопоты оказались совершенно лишними. Учиться как начал? Отлично. Выходит, слава на него не дурно подействовала. Наоборот, мобилизовала. А дальше давай смотреть. Не мы ли на него что-то лишнее навалили, что-то разрешили сверх меры, на что-то глаза закрыли? Вот и пошло-поехало. Ведь, как говорится, лень — зло, но ещё большее зло — стремление везде поспеть, всё сделать. И нигде ничего не успевать всерьёз. Мы сами к этому его подталкивали, а потом, осознавая свою вину, бросали ему время от времени спасательные круги. Когда нужно, когда не нужно. У меня такое предложение: поступать так, будто ничего не произошло. Пусть сам с собой разбирается.»

«— Снова возвышать?! Ходатайствовать перед преподавателями, чтобы тройки не ставили?! Уволь, Иван Никитович. Уволь!»

«— Этого, безусловно, делать не станем. А вот завтрашнее выступление его отменять — я не отменю.»

«— Как знаешь. Оно как бывает: любую пакость благими намерениями прикрыть можно. Я же умываю руки.»

«— И ещё, — словно не слыша комбата, продолжал майор Сужков. — Почему мы не можем сомневаться, почему не спросим себя: верно ли всё в этом письме. Раздуем сейчас, доложим везде, а на проверку окажется — липа.»

«— Какая липа?! Девушка же не требует ничего», — Панкратов взял письмо. — «Вот: «Уверена, ярлык лжеца на Севу вы не повесите, притчей во языцех он не станет. Я пишу вам, чтобы вы, воспитатель, знали его лучше и помогли ему обрести себя...»

«— Сам себе, Василий Остапович, противоречишь. Любой злой умысел благими намерениями можно прикрыть. Сам же говорил только что. Заревновала, допустим. Вот тебе и месть. Но

давай не будем плохо думать о незнакомой нам девушке. Согласен считать письмо искренним и от этого плясать. Она просит меня не раздувать кадила. Считаю, нужно поддержать её просьбу. Ни в коем случае командованию училища докладывать пока не буду. И тебя убедительно прошу этого не делать. Пусть наш разговор останется неофициальным. Вроде за чашкой чаю. Ладно?»

«— Ладно-то ладно. А вдруг девица ещё одно письмо пришлёт? И уже не нам?»

«— Я ей сегодня же напишу. А в отпуск поеду, сделаю остановку в Москве. В милиции побываю, в школе. И с Ольховой встречу. — Сужков прихлопнул ладонь к столу, как бы ставя точку. Но подумав немного, добавил: — Если не осилит себя Рокчеев, тогда и сделаем вывод. Тогда я сам рапорт на имя начальника училища напишу.»

«— Замполит прикрывает командира своей широкой спиной. Куда как благородно. Ну, давай — дерзай. Погляжу я пока. Погляжу.»

До слуха старшины Рокчеева донёлся зычный голос дежурного: «Рота, выходи строиться на вечернюю проверку», — а вслед за этим почти сразу же распахнулась шумно дверь, и в комнату сержантов энергично вошёл Женя Кривенков, чтобы взять список роты, специально сделанный для вечерней проверки: мелко, но разборчиво написанный повзводно и наклеенный на плексигласовую пластинку с обеих сторон. Он подошёл к своему столу и вдруг уставился на Рокчеева удивлённо: старшина ещё после обеда сказал, как обычно: «Проводи вечернюю. Я — на самбо. Отборочные сегодня», и Кривенков считал, что старшина в отлучке. Увидев Рокчеева, даже спросил для уверенности:

«— Ты? Уже вернулся?»

Обычно старшина с занятий в спортивных кружках возвращался лишь к отбою, а с танцкружка и того позже, и Кривенков подумал сейчас сочувственно, что кто-то из соперников оказался сильнее. Выбыл Всеволод из борьбы, а болельщиком не захотел оставаться до конца отборочных поединков.

Рокчеев, мысли которого бродили, как в заколдованном круге, по строкам Райкиного письма, переключился на реальность не вдруг. Сидел, не подняв головы, пока Кривенков не повторил вопроса:

«— Что рано так? Не пробился в область?»

«— Не ходил я, Женя. Совсем не ходил», — ответил нехотя Всеволод. Подумал с неприязнью: «Ну, чего темнишь?» — но увидел искреннее недоумение во взгляде старшего сержанта и даже растерялся. А Кривенков спрашивал:

«— А как же первенство области? С твоими данными — и в тени?»

Никакой фальши. Словно он ничего не знает ни о каком письме.

«А откуда ему знать?» — вдруг сделал открытие Всеволод. — «Я письма не показывал никому... Замполит ещё не вызывал. И сам не приходил...»

Отпустила Всеволода сковывающая неловкость. Вернулась уверенность. Не прежняя, когда на всё он смотрел свысока, с вершины славы, — вершины-то уже нет. Но, как говорят, привычка — вторая натура. За три с лишним года старшинства повелевать он привык. Приказал Кривенкову:

«— В строй иди. Я сам проведу проверку и прогулку.»

Вновь он оказался, что называется, в своей тарелке: от устава ни на йоту, всё подчеркнуто чётко, всё эффектно (он не признавался даже себе, что подражает комбату), фамилии курсантов называет громко, выдерживая нужные паузы.

Привычно шла проверка, так же привычно прошла и вечерняя прогулка с песнями по плацу; но когда Рокчеев подвёл роту с плаца к казарме и подал команду «Разойдись!», курсанты не потекли, как всегда, мимо него к курилке, чтобы покайфовать перед сном, неспешно попыхивая сигаретой и обсуждая день минувший, — вся рота толстой подковой обхватила своего старшину и загалдела возбуждённо. Поначалу Рокчеев даже опешил, когда же понял, что встревожило курсантов, даже улыбнулся. Ответил неопределённо:

«— Не убежит самбо. Все ещё впереди.»

Не удовлетворил роту ответ. Все ждали, что их старшина сегодня вернётся с отборочных соревнований победителем (для роты — гордость), и вдруг такое: вовсе не ходил. Постояли, подождали, может, что добавит, и пошли в курилку огорчённые. Только Худоятов остался. Спросил игриво:

«— Не лунолика, свет очей твоих, повелела бросить спорт? Она против мужества джигита?»

Вздыхнув, пошагал Всеволод в казарму. Не остался со всеми в курилке. А Худоятов пожал плечами удивлённо, не понимая, на что обиделся старшина. Шутливый вопрос Саида больно хлестнул Всеволода. Всю ночь он, притворяясь спящим, то вёл мысленный спор с Райкой, горячо доказывая ей свою невиновность, то пытался понять, отчего замполит ни его, Рокчеева, не вызвал к себе, ни сам не появился в роте, то сожалел, что смалодушничал и не пошёл на отборочные встречи и многое оттого потерял. Мысли Рокчеева были тревожными, тоскливыми, он ещё и ещё раз представлял себе, как изменятся к нему курсанты, когда узнают о Райкином письме (шила в мешке не утаишь). И только когда он думал об Эмме, порывистой своей партнёрше, мятущаяся душа его немного успокаивалась и он даже начинал дремать, но вновь, словно наяву, видел он добрый взгляд Райки и едва сдерживался, чтобы не застонать от бессильной злобы, не вскочить с кровати.

«Эмма не поступила бы так. Ни за что не поступила бы!»

Хотелось видеть лицо Эммы, яркое, зовущее, а виделось Райкино. Спокойное, мягкое. Слышался её ровный голос: «Служение Беллоне — достойно мужчины. А я дождусь тебя. Ладно?» Вот тебе и дождусь! Авгуром назвала.

Вопреки воле Всеволода, вопреки его желанию, в его воображении возникал добрый взгляд Райки. И как ни противился Рокчеев, сдавал он одну позицию за другой в этом заочном споре с той, которую, казалось, ненавидел он сейчас больше всего на свете...

Когда за четверть часа до общего подъёма дежурный по роте подошёл к кровати старшины, чтобы разбудить его, тот, все так же притворяясь спящим, ставил точку своим ночным спорам и раздумьям: «Всё! Хватит телячьей позиции. Хватит!».

Днём чудес назовёт вечером в курилке Саид этот день. Начался он обычно: подъём, физзарядка, заправка коек, умывание. Рокчеев выполнял свои обязанности так же, как вчера, позавчера, как все дни старшинства, но, делая всё ему положенное, ни на минуту не забывал о предстоящей встрече с майором Сужковым, ждал её с тоскливым замиранием сердца, хотя перед подъёмом его мысли были смелыми, а предполагаемые действия — решительными. Нет, что ни говори, а совесть мучила его, страх перед тем позором, которого ему не миновать, как только появится замполит, оказался сильнее принятого перед рассветом решения смело смотреть правде в глаза.

Когда дневальный по роте крикнул зычно: «Рота, смирно! Дежурный, на выход!», Всеволод напряжился, увидев же майора Сужкова, который поспешно скомандовал дневальному: «Вольно, вольно», и, не ожидая рапорта дежурного, направился прямо к нему, Рокчееву, он отрешённо подумал: «Вот и всё». Выступивший на лбу и мясистом носу пот Рокчеев вяло отёр ладонью и стал старательно обтирать её о полу гимнастёрки. Делал это совершенно безотчётно. В голове — ни одной мысли. Пустота полнейшая. До звона пустота.

Майор подошёл степенно и протянул руку Рокчееву:

«— Здравствуй.»

Они стояли друг против друга, один — типичный акселерат, другой, хотя по критериям его поколения был даже выше среднего роста, казался рядом с Рокчеевым совсем небольшим. Но если вчера, позавчера, все прежние дни Рокчеев, разговаривая с майором Сужковым, как бы давил его своим ростом и своей уверенностью, то теперь старшина походил на испуганную дворнягу с поджатым хвостом, Сужков же напоминал избалованного бульдога, который с высоты своего породного превосходства мог позволить себе снисходительность.

«— Готов к выступлению на вечере?» — спросил майор, и это вконец обескуражило Рокчеева. Он обалдело смотрел на Сужкова и ничего не мог понять. После такого письма и — напоминает о выступлении? И тон обычный, вкрадчиво-спокойный. Словно ничего не произошло.

Рокчеев начал обретать способность мыслить: «Может, Саид перепутал что? Или не написала Райка замполиту всего? Странно...» — одновременно недоумеая и радуясь тому, что майор Сужков может ничего и не знать, пытался осмыслить происходящее Рокчеев. А Сужков, словно не замечая состояния старшины, продолжал:

«— Не очень затягивай выступление, но и не комкай. Надо, чтобы прозвучало оно солидно. Люди-то заслуженные будут. Учти это.»

Кивнув ободряюще, Сужков направился к выходу. Оставил Рокчеева со своими думами.

И тоскливые мысли старшины, и разговор с майором Сужковым, который не только обескуражил вконец, но и обрадовал Всеволода, — всё это осталось в нём самом, и, вполне понятно, никто из курсантов ничего не заметил, и повода для разговора в курилке, естественно, пока не возникло. Удивил Рокчеев свою группу на занятии по технике радиорелейной связи. Вести предмет этот несколько месяцев назад начал майор Арчаков, седовласый и сухощавый. Китель сидел на нём мешковато, будто с чужого плеча, и был основательно подмаслен; верхняя пуговица на воротнике рубашки расстегнута, а галстук, немного сдвинутый и неплотный, походил на незасупоненный хомут; колени у неуклюжих

брюк вытянуты — в общем, типичный армейский технарь, который в своём деле, как говорится, акулу проглотил, разобрал не один блок, «сжёг» не один килограмм канифоли, не единожды загорал под машиной или колдовал у мотора, помогая солдату-водителю найти искру, и всё делал основательно, всё у него получалось, за что обретал твёрдое уважение и офицеров, и солдат, но с которым из-за невнимательности к уставной этике случались частенько казусы, и становился технарь притчей во языцех, анекдоты же о нем, украшенные юмором ротных остряков, вызывают такой смех, что звенят стекла в курилках, а дым мечется испуганно под потолком.

Над Арчаковым тоже начали было подшучивать. Рапортовали о готовности группы к занятию, вскинув руку к пустой, как принято говорить в армии, голове; однажды, когда Арчакова назначили дежурным по училищу, посоветовали ему более придирчиво проверить штык-ножи у младшекурсников, которые по неопытности и по лености своей (мы такими не были) совершенно не точат штык-ножи, и они, особенно у рукояток, затуплены до невозможности. Арчаков клонул на морышку, во время развода и впрямь проверил штык-ножи у наряда от первого курса и даже сделал внушение (вполне серьёзное), что небрежение в уходе за оружием неуместно. Вполне понятно, что случай тот, с добавлениями и переосмыслениями, весело, особенно в первую неделю, обсуждали курсанты не только в минуты отдохновения после вечерней прогулки, но даже на самоподготовках.

Арчаков же словно не замечал, что над его промахами потешаются, а может, и в самом деле не замечал, спокойно шёл сквозь смех по своей тропе. Он буквально выбил у снабженцев десяток листов плексигласа и с раннего утра до позднего вечера сверлил, точил, паял, и рождались схемы «трудных» приборов, глядя на которые курсанты вдруг делали открытие, что всё, оказывается, просто и понятно. Густо потянулись к нему курсанты, хоть отбавляй добровольцев-помощников, и Арчаков спланировал их вокруг себя щедро, никого не отталкивая.

Правились курсантам и то, как вёл занятия Арчаков. Вроде сумбурно, не соблюдая уже устоявшихся методических приёмов: он больше спрашивал, чем объяснял, а оценок не ставил. Спорить на занятиях позволялось сколько угодно. Даже с самим Арчаковым...

«— Что ж, начнём», — выслушав рапорт старосты группы и подойдя к столу, проговорил Арчаков и, чуточку подумав, уточнил: — «Начнём с повторения. Думаю, не уяснили твёрдо на прошлом занятии технические характеристики, устройство и работу по принципиальной схеме задающего генератора. И ещё, давайте вернёмся к амплитудным и фазовым условиям самовозбуждения... Старшина Рокчеев давно у нас скромничает.»

«— Я не знаю», — отказался Всеволод. Постоял с понуро опущенной головой и повторил упрямо: «— Совсем не знаю.»

Группа удивлённо притихла. Обычно Рокчеев либо поднимал сам руку и тогда отвечал блестяще, либо обещал, когда спрашивал его Арчаков неожиданно, ответить на следующих занятиях, объясняя это тем, что по чрезмерной занятости не успел твёрдо выучить тему, но давал слово непременно ликвидировать «хвост» на ближайшей самоподготовке. Арчаков поначалу называл такие обещания ускользанием от знаний, но после того, как с ним несколько раз поговорил Панкратов, стал снисходительней. Ухмыльнётся, бывало, только, но согласится: «Хорошо, спрошу на следующем занятии». Иногда и впрямь спрашивал, а чаще делал вид, что забыл. К этому привыкли и курсанты и Арчаков. И вдруг — совершенно непонятный отказ.

«— Как, совсем?» — переспросил Арчаков и даже пожал недоумённо плечами.

«— Запустил всё, вот и не знаю», — всё так же не поднимая головы, выдавил из себя Рокчеев.

«— Что ж, садитесь», — разрешил преподаватель и повёл урок дальше, больше уже не обращаясь к Рокчееву. Всеволод же до самого звонка раздумывал над тем, верно ли поступил. Возьмёт Арчаков и поставит «неуд» — пятно на группу, скатится она с первого места, а это значит, что и взводный зачастит на самоподготовку, чтобы усилить контроль, ротный непременно беседу проведёт, да и Сужков не обойдёт вниманием. А уж комбат, тот перед строем все свои ораторские способности проявит. Да, Рокчеев нарушил одну из незыблемых основ курсантских правил: «Не вреди себе и своим товарищам» — и понимал, что его осудят за это.

Никто ничего не спросил у Рокчеева во время перерыва, никто не упрекнул за нелепое откровение. Покурили и пошагали вниз, в класс тактики на лекцию. Возможно, остался бы без внимания и диалог старшины с майором Арчаковым, не случись ещё выходок Рокчеева.

Тематический вечер «Я Родины славный защитник и воин», как назвал майор Сужков встречу с отцом и матерью старшего сержанта Кривенкова, начался не в обычное, отведённое расписанием время после самоподготовки, а сразу же, как батальон пообедал. Расписание сдвинули оттого, что гости вечером уезжали домой. Поначалу всё шло обычным чередом: курсанты громко аплодировали, пока родители Кривенкова шли в сопровождении майора Сужкова к столу, накрытому красной скатертью и украшенному букетом цветов, рядом с которым нелепо торчали бутылки с минеральной, затем майор Сужков торжественно, чем ввёл в немалое смущение гостей, объявил о том, что герои войны любезно согласились встретиться с сослуживцами своего сына. И, сделав паузу, объявил:

«— Слово Валентине Куприяновне Кривенковой. За героизм и мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, она награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степени, многими медалями.»

Курсанты захлопали, а Валентина Куприяновна, зардевшись, отмахнулась: зря, мол, напраслину возводит майор, не по заслуге честь... Это развеселило курсантов, аплодисменты набрали силу и долго не смолкали.

Валентина Куприяновна, дородная русская женщина, стояла и смущённо улыбалась, а во взгляде её было искреннее недоумение — ну, для чего шум такой? Она и начала с вопроса:

«— Ладонки пооббивали небось?» — и пожала плечами, когда курсанты вновь весело захлопали. Переждала, пока зал утомонится, и заговорила неспешно, будто прикидывала, то ли слово выбрала либо ещё какое поискать, чтобы уж совсем верное. «— Иван Никитович героями нас с Петром Андреевичем называл. Не слишком ли? Горе-нужда стряслись тогда. Миром всем и поднялись. А мы-то что ж, других хуже? Или Россия нам мачехой приходилась?» — Валентина Куприяновна вздохнула, опустив голову. — «Ни за что бы не пришла вот на эти смотрины. В казарме, на табуреточке сидя, разговор — иное дело, а трибуны — они ведь больше так, для показу. Но вот всё же пришла, не перечила командирам вашим. И то сказать, как удержаться, чтобы не рассказать, что здесь вот, где сын теперь учится, высота, безымянной её называли, кровью нашей с Петром Андреевичем смочена. Кровью однополчан моих. Здесь Пётр Андреевич фашистских мессеров довольно посшибал...»

При этих словах Пётр Андреевич точно так же, как прежде Валентина Куприяновна, отмахнулся и сказал с мягким упрёком:

«— Полно, Валюша. На земле вам жарче пришлось.»

«— Ну, Героя за здорово живешь никому в войну не давали», — отпарировала Валентина Куприяновна и, вновь обращаясь к залу, продолжила: «— Здесь мы с Петром Андреевичем встретились, высота эта безымянная судьбой нашей стала.

Два дня выбивала наша дивизия фашистов, дом за домом. А дома — одно название. Церковь у моста цела, да за мостом бывший Госбанк стоит невредим. Остальное все — кирпичи да головешки дымные. А потом застопорились мы. Ну, что лбом в стенку. Никак вперёд не двинемся. Тогда наш полк и бросили в обход города. Нашей роте вот эта высотка досталась. Легко досталась, да горячо потом пришлось. Фашисты нас окружили и ну молотить. Ещё и самолётов напустили на нас — темно в небе. Только тут наши спасители подоспели», — кивнула Валентина Куприяновна в сторону мужа, — «и давай фашиста клевать. Один фашист да другой — носом в землю. Мы даже «ура» кричали. Только вот не остерёгся один наш лётчик, не увернулся от пули лихой, задымил самолёт. Ткнул напоследок в бок мессера, и оба вместе — винтом вниз. Дух захватило у нас. Отлетался, говорим, сокол наш ясный. Ан нет. Смотрим — парашют. С фашистского самолёта лётчика не видать, а наш успел выпрыгнуть. Радости у нас, что у малых ребятшек. Но тут один фашист, да второй, да третий — все норовят стропы крылом рубануть, из пулемётов очередь пускают, будто по мишени. Что ж, негодуем, наши соколы смотрят?! Глядим, вырвались из смертельной круговерти два наших «ястребка» и окольцевали горемыку-лётчика. С земли по ним зенитки ударили, а они — хоть бы что, кружатся возле парашюта, не пускают фашистских лётчиков близко.

Спohватились и мы, тоже за пулемёты, миномёты и орудия, чтобы фашисту с земли не так вольготно было бить. Хотя патронов у нас и снарядов — кот наплакал. Только ведь как не поможешь. Что потом будет, чем бой вести станем — не думали.

Упал лётчик на нейтральной, но чуток поближе к нам. Смотрю, пополз. Только не очень прытко. Ранен, думаю, не иначе. Я тогда из окопа и что есть духу — к нему. Где бегом, где ползком. Так мы первый раз с Петром Андреевичем встретились. А после войны разыскал он меня. Подполковник, Звезда Героя — как тут устоишь. Вот и коротаем жизнь вместе...».

Всё, что происходило дальше, как бы скользило мимо Рокчеева, рикошетило от него. Сказать, однако, что он находился полностью во власти рассказанного Валентиной Куприяновной, было бы не совсем точно. И сам рассказ, и особенно реакция на то, как её встретили, и особенно её последние слова «коротаем жизнь» — не купаемся в волнах славы, нет, а просто живём, как все, а может, и тише, покойней, — всё это воспринял Рокчеев как упрек. Он не мог представить себя сейчас на трибуне.

«А если рассказать всё, как было?» — подумал Всеволод, и у него похолодело в груди от этой мысли. Дождавшись, когда зал вспыхнет очередными аплодисментами, теперь уже Петру Андреевичу, он на цыпочках и отчего-то полусогнувшись, как проходят перед экраном или сценой опоздавшие зрители, заспешил к выходу. Ему казалось, что в спину впились удивлённые взгляды курсантов, ветеранов-гостей, майора Сужкова, и он бежал от этих взглядов.

Как далёк он был от истины. Сужков предвидел такой поворот дела и уже имел резервного выступающего, а курсанты, кроме его группы, не обратили внимания на уход старшины. Значит, нужно, раз ушёл. Дозволено, значит. Лишь группа переглянулась. Саид даже недоуменно зацокал.

Но и эта странная выходка (во взводе знали, что Рокчеев должен выступать на встрече) не обсуждалась на перекуре после встречи. И Всеволода никто не спросил, отчего он не выступил. Впереди был ещё вечер, не менее странный. Рокчеев пошёл не на занятие

танцкружка, а на самоподготовку. Вместе со всей группой. За последний год — впервые. Вот тогда Саид Худоятов не вытерпел:

«— Волей аллаха или своей волей досточтимый старшина божественное бабушкино танго поменял на скучную тишину сампо?»

«— Аллах, Серёжа, ни при чём. На носу — выпуск. Вот закончим, тогда можно будет и танго танцевать.»

«— Пойдут ли умные формулы на ум, когда знаешь, что неотразимая Эмма ждёт одиноко и грустно своего партнера?»

«— Ты прав, сходить, видно, нужно. Погрызу часок науку и пойду. Последний раз.»

Сказал и обрадовался сказанному. Он твёрдо решил бросить и все спортивные секции, и танцульки. Сразу рубануть и — всё. Но сегодня Эмма Неймарк может обидеться. Он же не предупредил её, что не придёт.

Он собирался позвонить ей по телефону. «Позвоню завтра — она поймёт. Будем встречаться в увольнении», — успокаивал он себя, хотя не представлял себе предстоящего разговора с Эммой. Что он ей скажет? Запустил, мол, учёбу? Наивно. Но не скажешь же ей о Райкином письме, об угрызениях совести, о твёрдом решении, возникшем после встречи с ветеранами войны, жить единым распорядком со всеми курсантами, жить без привилегий, какие создала ему незаслуженная слава; не скажешь же ей, что сам себя он теперь стиснет в ежовых рукавицах. Тем более не скажешь по телефону. Вопрос же Саида подсказал выход: сходить на часик и, провожая до троллейбусной остановки, объяснить с ней (по ходу можно будет найти убедительные доводы) и договориться о встречах.

Рокчеев едва дождался перерыва и сразу же, собрав книги и тетради в дипломат, поспешил в клуб. И чем ближе он подходил к клубу, тем более возбуждался нетерпением увидеть Эмму.

«Какая она сегодня?» — думал Всеволод, а виделась она ему пышноволосой блондинкой с бледно-голубыми тенями и бледно-розовыми губами: он даже ощутил мягкое прикосновение её губ к щеке, слышал её не очень сердитый упрёк: «Не предупредил, а сам опоздал». Он всё убыстрял шаг, а когда вошёл в клуб, то, сокращая путь, направился в танцкласс через пустой зрительный зал.

Быстро Всеволод пересёк зал и, откинув защёлку с двери запасного выхода, вошёл в коридор. И сразу же увидел её. Густые волосы падали чёрным водопадом на зелёный в ярких маках батник, и этот контраст цветов примагничивал к себе взгляд. И батник, и зелёные из шелкового трикотажа брюки так плотно облегали её тело, что она казалась вовсе нагой, только раскрашенной смелой кистью художника. Шла Эмма со своей подругой из института культуры, Галинкой, девушкой сутуловатой и с грубыми чертами лица. Партнёра постоянного она не имела, а танцевала со всеми ребятами.

Рокчеев хотел было окликнуть Эмму, но его остановили слова Галинки:

«— Пошлишь ты, Эмка. Меру теряешь... Неужели сама не чувствуешь?»

«— Мера! Вкус! Этика!» — раздражённо бросила в ответ Эмма. — «Ты со своим тонким вкусом прозябаешь, а я вон москвича закадрила. Москвича. Столица, думаю, лучше тебя вкус имеет.»

«— Разберётся он в тебе, дай срок...»

«— Не дам. На яркое все парни падки. А пока проморгается — я его жена. Жена офицера. Звучит? Москвичка!»

Рокчеев нырнул назад в тёмный зрительный зал и осторожно, чтобы не стукнуть дверью, прикрыл её. На душе гадко, а перед глазами её лицо: брови иссиня-чёрные, широкие у переносицы, к вискам суженные до иголочного острия, похожие на стремительно летящие стрелы, синие до черноты тени, змеиным жалом протянутые тоже почти до висков, маковояркие губы, розовые щеки — всё кричаще-броское, всё для него, падкого на яркое. Ему стало стыдно за самого себя. Как он мог не догадаться, что эта львица Эмма, как кто-то назвал её однажды, чем сильно обидел его, Рокчеева, подбрасывала ему к носу, словно игривому котёнку, пышный бантик на ниточке, да ещё не только ради забавы. Теперь он понимал, что она вела искусную игру, холодно рассчитанную, старательно обдуманную и не менее старательно отрепетированную до каждого жеста, до каждой интонации в голосе.

«— Дубина!» — зло обозвал себя Рокчеев и решительно пошагал по мягкой ковровой дорожке на выход.

У самых ступеней невысокой просторной лестницы сбавил темп и задал себе вопрос: «Куда бегу?», — и, напустив на себя усталую беспечность, неторопливо и уверенно поднялся по ступеням и направился в класс.

Никого из офицеров в классе не было, и потому, как только Рокчеев вошёл, все курсанты позакрывали учебники, поотложили ручки. Хотелось не столько узнать, отчего старшина так быстро возвратился, сколько оторваться от утомительных формул и запутанных схем радиоприборов и немного отвлечься. Ожидали только, кто первый спросит, чтобы включиться в разговор.

Кривенков нарушил неловкое молчание:

«— Не работает танцкружок сегодня, да?»

«— Время самоподготовки не для пустой болтовни», — начальствующе ответил Рокчеев, сел за парту и достал учебник по радиосвязи.

Нехотя раскрыли книги и все курсанты. Ожидаемого отдохновения не получилось. Если начальство учит — подчинённому сам бог велел.

Зазвенел звонок, и группа, как и весь батальон, всё училище, пошагала с песней в казарму, чтобы, как принято в армейском лексиконе, привести себя в порядок перед ужином. Едва только поднялись на свой этаж, дежурный по роте сразу же подошёл к Рокчееву и доложил:

— Товарищ старшина, вас ждёт у проходной Эмма Неймарк.

— Этого ещё не хватало! Будут ещё звонить с проходной. Скажите: некогда мне! — ответил недовольно Рокчеев, но сразу же спохватился, ведь вины дежурного в том, что Эмма, встреча с которой ему, Рокчееву, вовсе не нужна, пришла к проходной, совершенно нет, и добавил извинительно: — Устал я очень. Не до неё мне. А ей пусть скажут, что занят по службе. Хорошо?

— Ясно, товарищ старшина, — ответил дежурный и крикнул зычно: — Рота, приготовиться к построению на ужин!

Рокчеев вместе со всеми привычно делал всё положенное в это короткое перед ужином время — уложил в тумбочку аккуратно книги и тетради, почистил сапоги, а затем помыл руки, продолжая при этом распалять свою обиду на Райку и особенно, на Эмму. Себя он обвинял

всё менее и менее в том, что не разглядел львицу Эмму, её холодно рассчитайную притягательность — он возмущался коварством женщин вообще, соединяя воедино и письмо Райки, и подслушанные неожиданно признания Эммы. Сейчас он мог вполне причислить себя к жено-ненавистникам.

И ещё одна мысль одолевала Рокчеева — почему замполит никак не среагировал на сорванное выступление? Всеволод ждал упрёка сразу же после встречи, готовил ответ Сужкову, но тот не появился. «Провожает гостей», — предположил тогда Рокчеев. Но теперь ветераны давно уже уехали. Более того, майор Сужков сегодня ответственный дежурный по батальону. Наверняка он побывал в нескольких группах во время самоподготовки, сейчас тоже здесь, в какой-либо роте, а к нему, Рокчееву, не спешит подойти.

«Если не станет выяснять, почему не выступил, значит, всё знает. Райка то же самое, значит, написала ему», — сделал для себя окончательный вывод Рокчеев и с нетерпением стал ждать встречи с майором Сужковым.

После ужина не сел вместе со всеми к телевизору, а прошёлся с дежурным по спальным комнатам, проверяя, аккуратно ли заправлены койки, порядок ли в тумбочках. Обход этот занял более полчаса, а майор Сужков всё не появлялся.

«Странно», — всё с возрастающим беспокойством думал Рокчеев. — «Очень странно».

Оставшееся время до вечерней проверки Рокчеев провёл в комнате сержантов, благо все скучились в ленкомнате у телевизора. Всеволод намеревался сам выйти к Сужкову, как только тот появится в роте, и прислушался, не крикнет ли дневальный: «Дежурный, на выход!».

Нет, не пришёл в роту майор Сужков, и Рокчеева это вовсе выбило из колеи. Прежде такого не бывало, чтобы замполит не заглядывал в роту, особенно если был ответственным дежурным.

«Знает всё», — думал Всеволод. — «Знает!»

И как ни старался Рокчеев перед выходом на вечернюю проверку взять себя в руки, курсанты всё же заметили, что старшина чем-то удручён и подавлен. Не так уверенна походка, не так артистично ведёт переключку. Когда же рота вышла на вечернюю прогулку, Рокчеев вёл себя как нерадивый командир, вовсе не заботился о чётком шаге, мимо ушей пропускал разговоры, возникавшие в строю. Рокчеев шагал рядом со строем, но не чувствовал строя, он решал задачу всего с одним неизвестным: что написала Райка майору Сужкову.

Встрепенулся Рокчеев лишь тогда, когда запевала без команды начал любимую курсантскую песню, а рота подхватила: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалён... Москва, спалённая пожаром...», и дальше повёл строй привычно властно, как заботливый хозяин.

Когда же рота остановилась у крыльца, припечатав подошвы сапог к асфальту, а затем по команде «Разойдись» устремилась к курилке, старшина Рокчеев снова сник и, постояв одиноко, начал трудно, словно ноги его отягощали вериги, подниматься по ступенькам, чтобы укрыться в комнате сержантов и просидеть там до тех пор, пока курсанты не разойдутся по своим спальным комнатам и рота не притихнет до подъёма. Но Рокчеева окликнул Саид Худоятов:

«— Товарищ старшина, сигаретку перед сном?»

«— Не хочу, Серёжка», — вяло отмахнулся Всеволод, а Саид уже стоял рядом.

«— Помощь какая нужна, скажите?» — спросил он заботливо, безо всякой бравады, без восточной витиеватости.

«— Да нет, всё в норме, Сергей. Все в норме», — нехотя выдавил Рокчеев. Ему вдруг нестерпимо захотелось поделиться своими думами, своей болью с этим на вид балаболистым, но готовым разделить и радость, и неприятности каждого товарища парнем. Начал: «— Понимаешь, Сергей...» — и замолчал тут же, словно наткнулся на что-то непреодолимое, и пошагал в роту, больше уже не обращая внимания на Худоятова.

Саид проводил сочувственным взглядом Рокчеева и, вздохнув, пошёл в курилку, к своему взводу. Доставая сигарету, проговорил без обычных своих выкрутас:

«— День чудес. Совсем плохо старшине. Вчера был один, сегодня — другой. Спрашиваю, помочь, может? Нет, отвечает.»

Будто подтолкнули эти слова ребят. Заговорили сразу бурно, заинтересованно. Высказывались самые различные догадки о причинах столь необычного поведения Рокчеева. Ибо, когда человек не знает истины, он принимается гадать, давая полный простор фантазии. Он чувствует себя озабоченным судьбой ближнего, не думая, что ближнему-то вовсе и ни к чему эта озабоченность, она тяготит, а то и оскорбляет, — никто с этим не считается и, не задумываясь, наделяет себя правом запускать грубо пятерню в душу своих друзей и недругов. Крылья фантазии обрубил Саид Худоятов. Неожиданно и вроде бы даже неуместно он негромко и грустно прочёл двестише:

«— Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. Нет! Ты упавших поднимай — и будешь благороден!»

«— О, загнул. Никто никуда не падал. Никто никого топтать не собирается», — ответил кто-то из курсантов. — «Просто обмениваемся мнениями о странных выходках нашего передовика учёбы...»

«— И я об этом же», — с усмешкой ответил Саид.

Никто не поддержал этого начавшегося спора, все молча докуривали сигареты и, бросая их в пепельницу, роль которой выполняла врытая в землю и наполовину наполненная водой бочка, молча шли в казарму.

Мелькали курсантские дни своей колготной чередой, приближалось время стажировки — большой, на два месяца, с исполнением офицерских обязанностей — и, естественно, команда «отбой» всё заметнее теряла свою магическую силу. Курсанты хотя и расходились по своим комнатам, но укладывались в постели неспешно, а потом ещё подолгу мечтательно беседовали о чем угодно, но только не о стажировке, хотя она была на уме у каждого и будоражила курсантские души.

Не «гонял» курсантов за нарушения распорядка дня ни дежурный по роте, ни даже старшина, кому просто по обязанности надлежало блюсти уставные устои. Рокчеев и сам иной раз участвовал в ночном ленивом переливании из пустого в порожнее. Тот пьедестал, который совсем недавно возвышал старшину роты над курсантами, пьедестал, созданный самим Рокчеевым, как-то незаметно опадал, как перекишее в квашне тесто; и все постепенно начали привыкать и к тому, что старшина всё положенное ему делал сам, не перекладывая на старшего сержанта Кривенкова, и к тому, что он, как и надлежит добропорядочным курсантам, получал не только пятерки, и к тому, что в общении с подчинёнными он стал проще, доступней, не вещал, а разговаривал — в общем, не звезда славы, не круглый отличник, а простой смертный, обыкновенный курсант, у которого лишь жизнь хлопотней, да спрос с него двойной — не только учиться прилежно, ибо ты командир и должен показывать пример, но и командуй ещё добросовестно, не панибратствуй. Всё это весьма по душе пришлось роте, и курсанты охотней и старательней выполняли все приказания и команды старшины Рокчеева, на перекурах кучились возле него и шутили без опаски, на полную катушку, говоря языком связистов, разматывали смех.

И группа не очень-то переживала, что лишилась отличника, а значит, и первого места. Курсантов, правда, немного удивляло, что упрекали их за потерю первого места только взводный и ротный. Они стыдили, призывали и Рокчеева, и всю группу восстановить утраченные позиции. Что же касается комбата и его заместителя по политчасти, то те словно ничего не знали и знать не хотели.

Рокчеев начал свыкаться с мыслью, что подполковник Панкратов и майор Сужков либо не поверили письму Райки, либо не хотят предавать его огласке. То, что они ничего не знают, Всеволод исключил вовсе. Вели бы тогда себя иначе. Наверняка комбат пофилософствовал бы на тему «тройки», развил бы свою теорию о чести передовика, чести отличника. Он мог бы бросить камень в огород Рокчеева и не называя его фамилии (как-никак старшина, авторитет его блюди). Но камня-то нет. Значит, в действии педагогический приём — пусть сам разбирается в себе. Так умозаключил Рокчеев и был благодарен и Панкратову и Сужкову. Тем более что и в самом деле сумел же он сам в себе разобраться и перестал «доить» славу.

Рокчеев ошибался. Знай он истину, не чувствовал бы он такой успокоенности. Сторонником невмешательства был только один Сужков, и он едва сдерживал подполковника Панкратова от решительных мер. Разногласия особенно обострялись после каждой очередной тройки.

«— Так что — он бездарь, что ли?!» — возмущался Панкратов. — «Или лентяй?! Пора что-то делать!»

«— Всё, Василий Остапович, образуется», — успокаивал его Сужков. — «Всё вернется на круги своя. Останется Рокчеев отличником. Добрым отличником.»

«— Возможно, но ведь тройки даёт. Тройки! Кататься нравилось, а как санки возить — нет его. Вправить ему нужно мозги, а не сидеть сложа руки.»

Сужкову всякий раз приходилось всё труднее в таких спорах. Панкратов становился настойчивей и настойчивей, и тогда замполит предложил:

«— Курсанты едут на стажировку, я — в отпуск. Встречусь с Раисой Ольховой, побываю в школе, в милиции... Узнаю истину, тогда и решим, что предпринять. А пока давай повременим. Дров ведь можно наломать. Ты же согласен, что слепо верить письму мы права не имеем.»

«— Письмо можно не трогать. За тройки спросить. Серьёзно спросить. На партийном собрании. Пусть объяснит причину сам.»

«— Давай потерпим. Время покажет. Многое оно просветлит.»

«— Хорошо. Согласен. Хотя не уверен, правы ли мы...»

Но согласие Панкратова повременить, как понимал Сужков, не было твёрдым. Не дай бог двойку отхватит Рокчеев, тут уж никакие обещания не остановят комбата. Засучит рукава. Удастся ли тогда сдержать его горячность?

Не знал, да и не мог знать ничего этого Рокчеев, боязнь, что он будет разоблачён принародно, у него прошла, тревожные мысли больше уже не отвлекали его от учёбы, и он вновь стал покорять преподавателей и курсантов своим умением эффектно подать знания, получая всё чаще столь привычные для него отличные оценки. Всё с меньшей обидой думал он теперь о Райке и, если честно признаться самому себе, ждал от неё письма. Об Эмме Неймарк стал вовсе забывать, хотя неприятно ему было слышать, когда ребята говорили, что Эмма-львица закадрила себе нового партнёра, тоже выпускника, но из другой роты. Рокчеев, однако, скрывал это и даже сам вместе с курсантами прокатывался по её адресу. Одно его угнетало — одиночество.

Прежде, до письма, сложившиеся отношения с курсантами группы и всей роты Всеволод считал вполне нормальными, более того, он гордился своим превосходством, которое давали и звание старшины и слава, теперь же он тяготился этим превосходством, пытался сблизиться с курсантами, но... Люди с привычками расстаются неспешно и нехотя. Его вроде бы перестали остерегаться, откровенней с ним вели себя, но до дружбы дело не доходило.

Так вот и шли дни за днями, пока не настало время отъезда на стажировку.

Лёгкок вроде бы сбор курсанта — всё одно что голому раздеться. Направление и проездные в карман, баул либо дипломат или чемоданишко в руки и — на вокзал. Но колготиться всем батальоном начали ещё накануне отъезда, а в день отъезда многие поднялись прежде подъёма. Кто решил погладить и без того отутюженные брюки, кто простирнуть и затем высушить утюгом носовой платочек, кто пуговицы закрепить понадёжней, чтобы дорогой не оторвались ненароком... Может, и не нужно было ничего этого делать, но набились ротные бытовки битком. На целых же два месяца разъезжались, вот и искали курсанты повод, чтобы побыть вместе.

Группа за группой уезжали на вокзал. Опустела рота. Прошёлся по комнатам Рокчеев — кровати старательно заправлены, в тумбочках если что оставлено, тоже всё аккуратно сложено. На два месяца всё это осиротело, на два месяца тишина воцарилась в этих уютных комнатах. Только будет стоять у входа солдат дневальный, охранять тишину.

Никогда не думал Рокчеев, что вот эта курсантская казарма станет так близка, что расставаться с ней будет грустно. И в самом деле, здесь столько пережито, столько передумано...

Обойдя все помещения и доложив командиру роты, что везде оставлен порядок, Рокчеев вошёл в комнату сержантов, где стоял приготовленный в дорогу дипломат, но не сразу взял его. Несколько дней уже нет-нет да и возникало у Рокчеева желание написать письмо Рае. Выплеснуть душу. Всю, без остатка. Но он никак не осмеливался сделать это. Сдерживала не только боязнь, что Райка может не понять его исповеди, но и обида, которая всё ещё жила в нём за письмо замполиту. Думал: «И мою исповедь возьмёт да перешлет майору Сужкову. Ещё веселей будет тогда». А сейчас, перед отъездом, ему вновь захотелось поделиться с Райкой своими заботами, своей тревогой о предстоящей стажировке — сейчас он так остро, как никогда прежде, почувствовал своё полное одиночество и тяжело опустился на стул. Кому нужна его исповедь? Кто поймёт его? Не отцу же с матерью писать о своих трудных мыслях? Зачем их беспокоить. Для них он всё тот же отличник, которому предстоит стажировка на благодатном юге. Но ведь и Райке ничего не напишешь. Близких друзей тоже нет. Порастерял их, пока катился на гребне славы.

Вошёл Кривенков. Веселый, ещё не отсмеявшийся после какой-то шутки.

— Готовы, Всеволод, все. Пора трогаться в путь-дорогу.

— Я тоже готов.

Дюжину курсантов из разных групп направляли в одну часть. Теперь, когда старшина освободился и всем им можно было ехать, возбуждённой стайкой высыпали они на крыльцо и, забыв, что по городку нужно ходить только строем, пошагали беспечно и вольно (как же — стажёры, без пяти минут офицеры) к проходной, где ждала их машина.

Никто из офицеров не остановил их, все понимали их состояние и прощали это невольное нарушение строгого училищного уклада.

Сколько раз пересекал город Рокчеев вот по этим улицам. Уже привык к их однообразной невыразительности и не удивлялся тому, что старинный русский город — без старинных купеческих и дворянских особняков; он даже не думал об этом, а вот теперь смотрел на все эти дома послевоенной торопливой постройки и представлял себе, как валятся прекрасные особняки от взрывов фугасок, как упрямо бьют прямой наводкой орудия, чтобы проломить брешь в толстой стене, куда рванулась бы пехота. Сейчас он как бы воспроизводил в своём воображении, обогащая собственной фантазией, так потрясший его рассказ Валентины Куприяновны Кривенковой, и это полностью отвлекло его от грустных мыслей о своем одиночестве.

Но когда остались позади и эти улицы, и вокзальная сутолока, когда поезд, набрав скорость, ритмично заклацал стыками рельсов, когда понеслась за окнами насильно выращенная дорожниками однообразная пыльно-зелёная высокая стена деревьев, которая скрывала милые взору русского человека и необъёмные пахотные поля, и пасущиеся стада коров в поймах рек и на полянах у перелесков, и деревни, разбросанные на взгорках у ленивых равнинных речушек, и торопливые грузовики, бегущие, словно испуганные жучки, по пыльным просёлкам, — когда вагонное однообразие вошло в свои права, Рокчеева вновь охватила тоска одиночества.

Вроде бы противоестественно — ехать в куче жизнерадостных ребят, слушать их шутки, самому шутить, петь вместе с ними под гитару, ходить вместе на обед в вагон-ресторан и даже вместе пить пиво, но быть совершенно одиноким. Увы, именно так было с Рокчеевым. Он был

не с ними, а как бы возле них, рядом. И никак не мог войти в этот дружный круг, хотя и старался.

Как, однако, сделать это, если ты скрываешь от ребят что-то важное, вынужден, следовательно, фальшивить. И пусть твои товарищи не знают и даже не замечают фальши, ты-то сам знаешь о ней. Выход один — открыться. Но у Рокчеева и в мыслях такого не возникало. Все его усилия были направлены на то, чтобы скрыть от ехавших с ним курсантов свою тоску, и это ему вполне удавалось.

Вот, наконец, поезд остановился на той станции, где курсантам предстояло пересест в машину. Ребята высыпали из вагонов и пошли плотной гурьбой по мягкому от жары асфальту перрона туда, куда направляло их остриё указателя «Выход в город». Рокчееву всё: и донельзя переполненный солнцем воздух, и бездонное, почти бесцветное небо, и облитый солнечными лучами до рези в глазах белый вокзальчик, и буйной зелени сквер, отгороженный для чего-то голубым штaketником от перрона, и светлые платья женщин и девушек, которые как бы подчёркивали загар, — всё здесь казалось необычно притягательным, очаровывало.

На площади, окруженной пирамидальными тополями, похожими на готовые к старту ракеты, и пышными, как взвихренные ветром девичьи волосы, акациями, между которыми уютно устроились пятнистые ларёчки, ждал курсантов рафик и изнывающий от жары прапорщик.

Помитинговав немного о том, ехать ли в часть сразу, либо предварительно, как было сформулировано Кривенковым, изучить достопримечательности незнакомого города, сошлись на том, что нужно ехать. Особенно после того, как прапорщик авторитетно заявил:

— Что здесь изучать? Пыль на улицах если только. Так мы и так поглощаем её.

Что это была не шутка, курсанты поняли сразу же, лишь только рафик нырнул с привокзальной площади в одну из боковых улочек. Тормознёт водитель перед ухабиной, а пыль тут как тут — лезет во все щели.

— Что, асфальта в городе нет? — спросил старший сержант Кривенков прапорщика. — Дома эти вот задохнутся в пыли.

— Нам так ближе, — ответил прапорщик.

Он, видно, привык к этой дороге, тем более что пыль, как считают южане, — не копать, вреда не принесет.

Минут через десяток выкатили на околицу совершенно деревенской улицы, о которой вполне подходяще сказать, что она утопает в зелени и пыли, и перед взором курсантов открылась чудеснейшая панорама. Небольшой выгон, на котором паслись привязанные длинными верёвками к кольям телята и козы, а за выгоном, справа от дороги, — подсолнечное поле в цвету. Левее дороги — виноградник. А дорога, неширокая, но с хорошо накатанным асфальтом, стелется межой, теряясь вдаль. У горизонта темнеет, словно ребристая плотина, горная гряда. Туда, к этим горам, и рванулся рафик, выруливший через околицу на асфальт.

Подсолнечник, уже желтеющие хлеба, отяжелевшие, ждущие косарей кукурузные поля, отягощённые сытыми початками, виноградники со стыдливо упрятавшимися в зелени листьев аппетитными гроздьями, яблоневые сады, с ветками, пригнувшимися почти до самой земли от тяжести плодов, словно для показа ярко нарумянившихся, — всё это, сменяя друг друга, тянулось справа и слева от дороги. Но у курсантов не вызвала никаких эмоций ухоженная щедрость южной земли: чем ближе рафик подъезжал к горам, тем меньше становилось разговоров, тем властней воцарялось сосредоточенное молчание. И неудивительно. Впереди,

почти рядом, вон в тех горах, — два месяца испытаний на самостоятельность. Как они пройдут?

Горы приближались. Теперь они уже не походили на однообразную плотину, и с каждым километром всё рельефней обозначались скалистые гребни, всё явственней различались ущелья и даже расщёлки, а вскоре отчётливо стали различимы кряжистые ели, щетинившиеся на склонах, и гибкие ивы, облепившие густо неширокие ручейки, пенно бегущие вниз. От гор уже потянуло прохладой.

Ещё несколько минут пути, и рафик, обогнув невысокую гряду, похожую на баранью морду, уткнувшуюся в зелень долины, вкатил в довольно широкое ущелье, всё в деревьях, напиханных сюда до отказа. Деревья, казалось, не росли, а трусливо жались друг к другу, боясь гордо высившихся гранитных скал. В рафике тоже стало сумрачно и зябко. Но вот дорога вырвалась из хмурого леса, и Кривенков присвистнул от изумления, а Рокчеев восхищенно воскликнул:

«— Явь от мифа о золотом веке.»

И в самом деле восхитительную красоту увидели курсанты: большая поляна, зелёная, вся в солнце, окружена щетиной хмурого леса, как частоколом; в центре поляны, огороженные невысоким старательно побелённым забором, стояли, словно в строю, трёхэтажные дома, тоже хорошо побеленные; окна домов искрятся, будто непомерные алмазы хвастаются непревзойдённой красой, — всё это белое, искрящееся, вроде бы вовсе не соответствующее и нежной зелени поляны, и хмурой темноте леса, на самом же деле воспринималось естественно, будто не люди построили городок, а сама природа создала его для полной гармонии этого уголка.

«Райке бы описать всё», — мелькнула мысль у Рокчеева, но он даже хмыкнул. Нет, это неисполнимо.

Рафик гуднул, ткнувшись к воротам, и они, певуче поскрипывая, отползли вправо. Солдат-дневальный ловко козырнул, чем вызвал одобрителный кивок прапорщика, и рафик юрко покатил к штабу, где курсантов уже ждали. Вначале их встретил дежурный по полку, а затем и командир. Не к нему повели, а он сам уважил стажёров, вышел на крыльцо. Высокий, с лихими усами казака-рубачи. Никак не скажешь, что инженер, технарёв. Строевику иному нос утрёт.

«— Ко времени прибыли», — пожимая поочерёдно руки Рокчееву, Кривенкову и другим курсантам, довольно говорил он. — «Через пять дней — полевые занятия. Будет полная возможность сразу проявить себя. Правда, штатные начальники все на местах. Кроме одного», — командир полка посмотрел внимательно на Рокчеева, затем перевёл взгляд на Кривенкова, потом вновь на Рокчеева. И остановил выбор на нём — не только званием повыше, но и поосанистей, представительней, и колодка медали «За отвагу», а встречают все, в том числе и солдаты, как говорится, по одежке. «— А вам, старшина, придется командовать самостоятельно. Справитесь?»

«— Так точно», — уверенно ответил Рокчеев, хотя себе он мог бы признать, что его основательно смутило и озадачило решение командира. Так сразу командовать станцией на полевых занятиях — шутка ли?!

«— Вот и ладно», — удовлетворённо заключил командир полка, довольно поглаживая усы. «— Вот и прекрасно.»

Но если Рокчеев совладал с собой и казался спокойным, то остальные курсанты выглядели опешившими. И немудрено. Полевые занятия — дело не шуточное. По училищу знали. Там вроде бы и маршрут стабильный, и задачи год от года мало меняются, а, значит, загодя известны группе, как ни пытайся от неё скрыть; но ни один выезд, даже при таких условиях, не проходил без каких-либо случайностей. Но там учёба. Снизит оценку преподаватель, потом исправить её можно. А здесь другое дело, здесь тебе дадут характеристику как будущему командиру. И характеристика та ощутимо ляжет на весы при распределении после выпуска.

Понять курсантов можно. Хоть и невелико хозяйство радиорелейной станции — все в машинах, да и народу при тех машинах раз, два и обчёлся, но все они специалисты, у каждого свой гонор. Без пуда соли тут не обойтись. А много ли за пять дней из этого пуда осилишь? Не больше горсти. Ну от силы пригоршню. Явно маловато. Да если ещё надо учесть, что у каждого приёмника, у каждого передатчика — свой норов, хотя их по одной схеме собирали, на одном конвейере, но как добрый конь привыкает к своему седоку, так и тумблеры, ручки настройки к одному хозяину. Каждый связист это прекрасно усвоил. А «примет» ли тебя за пять дней вся эта уважающая себя и требующая к себе особого подхода аппаратура? Уверенно никто не ответит...

Тревоги эти, однако, оказались вовсе зряшными. И дни перед выездом, и сами полевые занятия, а здесь уместней бы их называть горными занятиями, прошли для всех курсантов вполне удачно. Их даже похвалили. Испытания им подбросила природа, совсем неожиданно, когда уже к концу подходила стажировка, и вполне приличные характеристики были, можно сказать, у курсантов в карманах.

Особенно трудно пришлось старшине Рокчееву. Так, во всяком случае, определило командование части.

Радиолинейщиков подняли по тревоге в полдень. Моросил надоедливый дождь, необычно холодный, как в Подмосковье в конце сентября. Деревья понурились, цветы поблекли — осень и осень. Хотя вроде бы рановато для юга. Но кто природу-своевольницу приструнит, если она вдруг закапризничает?

Пока экипажи станций готовились к выезду, начальникам станций и стажёрам ставил задачу командир полка.

«— Снежная лавина повредила в горах телефонный кабель. Нам приказано на период ремонта кабеля обеспечить устойчивую связь. Задача, как вы понимаете, чрезвычайно важная и чрезвычайно сложная. Конкретную задачу каждой станции и время готовности к работе доложит начальник штаба», — закончил свою короткую речь командир и, привычно погладив усы, уселся в свое кресло. По его лицу не было видно, что он обеспокоен свалившимся неожиданно трудным делом. Зато начальник штаба заметно нервничал.

«— Главное, очень ограничены сроки развёртывания станций», — говорил он, резко бросая каждое слово. «— Но не уложиться в них мы не имеем права. Особенной собранности требую от экипажей, которым предстоит выдвигаться на дальние перевалы!..»

Станции старшины Рокчеева определено место на Куш-даване. Путь недалёкий — километров сто пятьдесят. Дорога знакомая. Как раз перед Куш-даваном разворачивали станцию во время полевых занятий. Довольный тем, что маршрут оказался лёгким, Рокчеев поспешил к экипажу.

Сержант Виктор Голенко, невысокий и плотный, как гриб боровик, встретил Рокчеева докладом:

«— Двигатели автомашин прогреты, силовые двигатели опробованы. Неисправностей нет. Экипаж к выезду готов.»

«— Тогда в путь», — скомандовал Рокчеев. — «На Куш-даван.»

Куш-даван — Орлиный, значит, перевал. Во время полевых занятий Рокчеев, удивившись столь громкому названию перевала, рассматривал его в бинокль (от Безымянного перевала, где развернули они станцию, Куш-даван отделяла лишь глубокая впадина шириной, как показалось Рокчееву, не более двух километров), пытаясь увидеть либо гнездовья орлов, либо их самих, парящих над хребтом. Ни того, ни другого, однако, не заметил. Впадина, где теснились сосны, не могла быть пристанищем для орлов. Орёл — не лесная птица. Вряд ли по душе мог прийти и сам хребет, через который, словно примяв его своей тяжестью, перевалила каменистая дорога: лес хотя и редел, поднимаясь по крутому склону хребта, всё же оставался довольно густым. Там, дальше, за перевалом, высились причудливые скалы, удобные для орлиных гнездовий, но там уже был не Куш-даван. Так и не понял тогда Рокчеев, отчего носит такое название перевал, но запомнил его.

Колонне предстояло проскочить несколько десятков километров просёлочной дорогой по предгорью, а лишь затем свернуть в горы. Во время полевых занятий этот участок проехали примерно за час. Столько же времени, как считал Рокчеев, потребуется и теперь.

«Раньше срока доложу о готовности станции», — уверенно думал Рокчеев, но как только машины свернули с асфальта на просёлок, понял, что заблуждался. Твёрдая, без глубоких рытвин и колдобин в сухую погоду, дорога сейчас стала совершенно иной: набухшей и скользкой, словно её щедро намазали солидолом. Конечно, мощные ЗИЛы не застрянут, не забуксуют, но слишком-то и не разбегутся. Ведь обочина им тоже страшна. Не дай бог занесёт задок — тут же по самый мост засядет тяжёлая машина в мягкой, как не домашнее тесто, глине. Не обойтись тогда без троса. Времени потеряешь уйму. Вот и вёл свою машину ефрейтор Пётр Тубольцев аккуратно, словно не баранку держал в руках, а ручку детской коляски со спящим ребёнком.

Рокчееву, безусловно, хотелось ехать быстрее, он то и дело поглядывал на часы, а потом даже спросил Тубольцева:

«— Нельзя ли газку добавить?»

«— Можно», — согласился Тубольцев, но скорости не прибавил.

«Приказа ждёт», — осерчал Рокчеев. — «Сам не хочет рисковать».

Но и Рокчеев не намеревался рисковать. Иное дело, если водитель сам поторопится, а приказать — тут нужно подумать. Потом могут и упрекнуть: поспешил, мол, и людей насмешил. Оставалось одно — поглядывать на часы, стрелки которых просто закусил удила и неслись вскачь, да смотреть в боковое зеркало, идут или остальные машины?

Вот в конце концов поворот в ущелье. Ещё немного маслянисто поблескивавшей глины, и под колёсами успокаивающе зашуршала каменная твердь. Тубольцев надел фуражку и изрёк:

«— Теперь — айда-пошёл!»

И верно, машина начала набирать скорость, и вскоре уже, к радости Рокчеева, просто летела, не снижая её ни на спусках, ни на подъёмах. Благо, пока они были не так круты.

Недолго, однако, длился резвый бег машин. Колонна врезалась в снежный заряд, налетевший с дальних хребтов, и пришлось снижать скорость да включать фары.

«Вот тебе и лёгкий путь», — досадуя на свою преждевременную радость после получения приказа, грустно думал Рокчеев. — «Накаркал, похоже».

Заряд пронёсся вниз, чтобы там, превратившись в дождь, вылиться на поля, и без того уже разбухшие от излишней воды, но водитель лишь чуть-чуть прибавил скорость. Каменистая дорога, покрытая снегом, так же коварна, как и мокрая полевая. К тому же здесь, если занесёт, трос может вовсе не понадобиться.

Чем выше в горы забиралась колонна, тем чаще налетали заряды, тем тяжелей становилась дорога. Машины, однако, упрямо лезли с одного перевала на другой, переминая протекторами шин девственный снег.

Вот он, наконец, Безымянный. Правда, не такой приветливый, как полтора месяца назад, безветренный и солнечный. Сейчас он упруго ударил поднявшиеся на него машины хлётким снегом, словно пытался, завывая от натуги, столкнуть их обратно в лощину.

Рокчеев глянул на часы. До выхода на связь оставалось чуть больше двух часов. Подумал удовлетворенно: «Успеем. Даже маленький резерв есть».

Только как мудрость народная учит: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но зачем вспоминать об этом, если, считай, на месте уже. Вот он — Куш-даван, рукой подать. Считанные минуты на спуск в лощину, чуть-чуть побольше, чтобы подняться и — ставь антенну.

Увы, не тот оказался расчёт. Когда колонна спустилась с Безымянного перевала, Тубольцев, остановив ЗИЛ, спросил старшину Рокчеева:

«— Разрешите осмотреть машину?»

«— Не долго только. Времени в обрез», — согласился Рокчеев и тоже выпрыгнул из кабины.

Ветер, такой сильный на перевале, здесь запутался в густом лесу и едва чувствовался; снег падал мягко, налипая на разлапистые сосны, и ветки их отягощённо сгибались, едва удерживая непомерный холодный груз.

На дороге снег тоже лежал пушистым слоем и походил на взбитую перину, уложенную узкой полосой до самой вершины перевала. Такого прежде Рокчееву не приходилось видеть. Снег на соснах и в подмосковном лесу не редкость, но здесь, в горах, всё казалось привлекательней, необычней. Чувствовалась какая-то нетронутая сила во всём этом, какая-то сказочность.

Водитель, проверив скаты, подошёл к Рокчееву и сказал озабоченно:

«— Больно крутой подъём. Боюсь, не осилим по такому снегу.»

«— Не здесь же станцию разворачивать», — возразил Рокчеев. — «Выход, один: вперёд.»

«— Это верно. Выбора нет», — согласился Тубольцев и полез в кабину. Подождал, пока усядется старшина, включил скорость, и машина поползла на перевал. По-черепашьи медленно.

Чем выше забиралась колонна, тем круче становился подъём. Когда стояли внизу, дорога казалась Рокчееву не такой уж и крутой, у него даже мелькнула мысль, что водитель зря тревожится, но теперь ему виделось иное — машина будто поднялась на дыбы, как нерасчётливый, закусивший удила конь, и вот-вот завалится на спину. Неуютно стало в просторной и тёплой кабине, зябко как-то. А тут ещё передок зарыскал по дороге самовольно, не подчиняясь рулю. Положеньице! Хуже губернаторского.

«— Всё. Нельзя дальше», — проговорил Тубольцев уж очень спокойно, как показалось Рокчееву, нажал на тормоз и дал два длинных гудка. Подождав, пока задние машины продублируют сигнал и начнут спуск, включил заднюю скорость.

«— Дверцу, товарищ старшина, откройте», — попросил Тубольцев. — «На всякий случай.»

Спустились, слава богу, благополучно. А дальше что? Минуты бегут. Ситуация — хуже некуда. Вспомнив теперь ту мудрую пословицу о том, что прежде времени гопать не следует, обругал себя Рокчеев последними словами за легкомыслие.

«Предупреждал же водитель! Вот и нужно было бы подумать. Что-то предпринять. А что?!»

«— Передок бы утяжелить», — словно размышляя вслух, проговорил Тубольцев. «— Сцепление лучше. И противовес.»

Подошёл сержант Голенко. Озабоченный. Тоже мысли вслух излагает:

«— Без снега если бы, куда ни шло. Глядишь, осилили бы подъём. А теперь — хоть караул кричи.»

«— Пётр предлагает передки утяжелить», — ответил Рокчеев. — «Только вот чем?» — И вдруг его осенило: камни! Кабелем к бамперу прикручивать. Сдержал радость и сказал спокойно:

«— Камнями утяжелим. Только бегом всё делать. Времени у нас нет.»

Поторапливать солдат нужды не было, для каждого связиста время выхода на связь — святое время. А там, наверху, нужно ещё вкрутить в гранит колья, собрать да поднять лебёдками антенну. Не так это просто и быстро сделать на ветру. Вот и спешили ребята, но работали без суеты, расчётливо и сноровисто.

Через четверть часа колонна вновь поползла на перевал. Вот уже миновали то место, откуда вынуждены были спуститься, но ничего — скребутся ЗИЛы, мнут пухлую снежную перину. До жути крутой подъём. Рокчеев подался к ветровому стеклу, от напряжения взмокли лоб и нос, но он этого не замечал, так и сидел, словно сжатая пружина.

До перевала полсотни метров. Крутизна начала убавляться, и машина пошла легче. Тубольцев переключил скорость и — случилось непоправимое. То ли замешкался он при переключении, то ли газанул слишком, только машину начало заносить влево. Тубольцев вывернул руль до отказа вправо, вновь врубил первую скорость, но ничего не помогало. Машина медленно сползала к обочине, за которой начинался хотя и не глубокий, всего метра три-четыре, но всё же обрыв. А деревья на этом участке как на грех росли редко. Угодит машина между ними — пиши пропало.

«— В обрыв потянет — прыгай», — приказал Рокчеев водителю и выпрыгнул из кабины. Шагнув на середину дороги, закричал во весь голос, чтобы слышали водители идущих следом машин: «— Без остановки вверх! Скорости не переключать!»

Кричал ещё и ещё, пока не убедился, что его поняли, только тогда кинулся к сползавшей уже почти к самому обрыву антенной машине и закричал властно:

«— Прыгай! Прыгай!»

Но Тубольцев, выключив скорость, продолжал удерживать руль вывернутым вправо до предела, и сносить машину стало медленнее. Теперь она катилась ещё и вниз. Открыв дверцу, Тубольцев смотрел назад, выбирая момент, чтобы затормозить перед первым же крепким

деревом. Рокчеев понял манёвр водителя, ругнул себя за то, что приказал Тубольцеву выпрыгнуть из кабины. Крикнул:

«— Чем помочь?»

«— Тормозну когда, подтолкните задок», — ответил Тубольцев.

Всё с большим ускорением скатывалась машина вниз, и Рокчеев шагал рядом с задним колесом, готовый надавить плечом в кузов, как только колёса застопорятся. Миновали деревце, росшее у обочины, второе миновали. Не рискнул Тубольцев в них уткнуться. Ниже, метрах в десяти, стояли рядом с дорогой две кряжистые сосны. Туда и тянул машину Тубольцев. Риск велик — вдруг сползёт в обрыв машина раньше времени.

«Держись, держись! — умолял Рокчеев, торопливо шагая рядом с колесом по пухлому снегу. — Дотяни!»

А сам ещё и на колонну поглядывает: поднимается ли?

Ползёт без остановки. Вот уже вторая машина почти рядом. Дверца кабины открывается, и из неё, прямо на ходу, выпрыгивают в снег сержант Голенко и радиорелейный механик рядовой Ерачин. Пропустив машину, спешат к Рокчееву.

«Верно поступили. Три плеча — это уже ощутимая сила».

Вот они и деревья. Пора бы тормозить.

«— Давай!» — крикнул Рокчеев, но водитель не послушался. Он всё ещё выжидал. Наконец он, выкручивая руль влево, резко тормознул, машина будто вздрогнула, но продолжала ползти вниз, хотя теперь юзом и тише, не подчиняясь рулю.

«Опоздал!» — зло ругал Тубольцева Рокчеев, толкая изо всех сил плечом в борт машины. — «Завалимся!»

А Тубольцев включил скорость и нажал газ. До полика, как говорится, нажал. Мотор взвыл, колёса с визгом забуксовали, и машину повело, как по маслу, влево. И толкать не нужно. Наоборот, сдержать бы чем, чтобы смягчить удар о деревья.

Тубольцев вновь вырубил скорость, сбросил газ и нажал на тормоз. Ручной даже затянул. И всё же удар получился сильным. Кузов, крепкий добротный кузов, надрывно крикнул, деревья тряхнули судорожно ветками, сбросив на машину и на связистов тяжелые комья снега, но устояли.

— Камни под колеса! — крикнул Рокчеев и сам, кинувшись к обочине, принялся разгребать ногами снег, чтобы найти поувесистей камень.

Вползла на перевал последняя машина, ЗИЛ Тубольцева стоял, опёршись задом о деревья, вроде бы надёжно. Однако левое заднее колесо на весу. Да и как поведут себя сосны при выгрузке антенны? Вдруг всё это держится на пределе и не выдержит дополнительной тяжести. А чтобы разгружать, нужно кому-то лезть в кузов.

«Полезу сам», — решил Рокчеев и, глянув на часы, спросил сержанта Голенко:

«— Как распределим силы?» — Но ответа не стал дожидаться. Распорядился: «— Сделаем так... Разгружаю я. Ты, Виктор, на перевал. Оставишь себе одного, колы будете вкручивать. Пока антенну перетаскаем, ты управисься. Лучше, думаю, ломами, чтобы коловороты не тащить...»

«— Точно. Ломом сподручней», — согласился Голенко.

«— Работать бегом. Выйдем на связь — отдышимся.»

Понимал, что особо не разбежишься, когда почти две тысячи над уровнем моря, но не мог он сейчас жалеть ни себя, ни подчинённых. Иначе опоздают они развернуть станцию ко времени. Повторил поэтому:

«— Только бегом!»

С перевала, словно услышав команду, бежал остальной экипаж станции. И солдаты-связисты, и водители.

«— Тубольцев, принимать будешь один. Всем остальным близко пока не подходить.»

Рокчеев ещё раз для чего-то глянул на часы, затем подошёл к задней дверце, открыл её и осторожно взобрался в кузов. Ничего, машина устояла. Так же осторожно поднял плиту (тяжеленная, чертовка) и подал её Тубольцеву. Потом выбросил ломы, передал Тубольцеву все четыре лебедки, головку антенны, тоже неподъёмную, и только тогда разрешил остальным солдатам подойти к задку, чтобы помочь вытащить станок, принимать секции, фидер...

Кузов пустел, часть деталей солдаты укладывали возле машины, а плиту, колья и ломы, безусловно, не бегом (подъём крут, да на спинах чувствительный груз), но на предельно возможной скорости связисты несли уже на перевал...

Через несколько минут антенну выгрузили, и зачелночили солдаты на перевал торопливым шагом, навьюченные основательно, сверх всякой нормы, а обратно — бегом. Но и время летело. Шло упорное соревнование на скорость. Пока заметного преимущества не имел никто. Пока, как определил сержант Голенко, экипаж шёл ноздря в ноздю со временем.

Минуты отыгрывались на мелочах. Не пошёл один кол, тут же подогнали силовую машину и кол прикрутили к её бамперу. Быстро и в общем-то надёжно. А части антенны носили на перевал в такой последовательности, которая позволяла собирать её без задержки.

Успели. Даже осталось ещё в запасе несколько минут. Можно и всласть перекурить.

Возвращались в училище с большим опозданием. Но это нисколько их не тревожило. Напротив, были этим горды. Как же — уважительная причина. Да ещё какая! К тому же все они оказались, как сказал командир полка, на высоте. Он сам лично вручал Почётные грамоты каждому курсанту. А про Рокчеева особо сказал, что крепкий, мол, он мужик. Связист настоящий. Так и сказал. Особенно хвалил за камни на передке (додуматься же нужно!) и за то, что не просил помощи вытащить машину. Своими силами экипаж справился. Как снег растаял (погода вернулась в нормальную колею через пару дней), подвели под висящее колесо бревно да ещё лебедкой подсобили.

«— Хоть раньше времени не положено информировать», — говорил с гордостью командир полка, поглаживая усы, «— но я скажу: ходатайствуем мы о награждении Рокчеева орденом. Командованию училища сообщу о самоотверженности всех стажёров, но особенно о подвиге старшины Рокчеева. Недаром перевал зовут Орлиным. Только мужественным он, когда заснежен, покоряется. Орлам!»

Поезд увозил всё дальше и дальше от обсыпанной пылью и залитой солнцем станции, за окном однообразно текла тёмно-зелёная стена, монотонно постукивали колёса на стыках, но настроение курсантов всё ещё не поддавалось этому дорожному однообразию — они, сбившись в одном купе, перебивая друг друга, вспоминали и трудную дорогу на перевалы (не только у Рокчеева, а у всех не обошлось без неожиданностей, только, может, менее значительных), и то, как наперекор сильному ветру спешили поднять антенны, а затем настраивать приёмники и передатчики на заданный канал, вспоминали курьёзы, на которые в той спешке даже не обращали внимания, но, оказывается, запомнили. Ну а «вертолёт». Кривенкова насмешил курсантов. Кривенков и сам смеялся не менее других, пересказывая всё, что с ним приключилось.

«— Времени — в обрез. Солдаты колы вкручивают ломami. Ну, бурлаки и бурлаки, только не на берегу Волги-матушки прут, а по кругу, да вместо мягкой лямки лом железный грудью упирают. А я со своим уроком управился. Досрочно. Дай, думаю, помогу. Без напарника ломом не крутнешь, вот и взял коловорот.»

«— Пупок не надорвал?» — Вопрос в несколько голосов сразу прозвучал.

«— Да нет. Дотащил. Взгромоздил на кол, потом снег перчатками под ногами подмел — не поскользнуться бы, думаю. Упёрся ногами и включил мотор. Витка три кол нормально сделал, а потом...

Ребята заулыбались, представляя себе, что произошло. Мотор поднатужился, сдёрнул Кривенкова с подметённого камня и принялся крутить, как вертолётный винт, вокруг кола.

«— Выключить бы, да где там. Сильней и сильней раскручивает меня. Вцепился я в рукоятки, как чёрт в грешную душу, только и мысли: держаться. Слышу, начальник станции кричит, что есть духу: «Выключай! Выключай!» Когда третий раз крикнул, тут дошло до меня, что послушаться приказа не имею я права. Выполнил, конечно. Голова кругом идёт, едва на ногах стою, а начальник вопросы задаёт: «Что ж ты слабо упирался?». Сам смеётся. И мне уже смешно стало, но креплюсь. Отвечаю серьёзно: «Да вроде ничего». А он: «Рогом нужно было. Рогом». В общем, хотел помочь, а вышло наоборот, украл несколько минут. А уж повеселились солдаты — скрывать нечего. Давно, похоже, такого у них не бывало.»

«— А мы ломами крутили», — заметил Рокчеев. — «Грудь надёжней.»

«— И мы тоже — ломами. Верно, что грудь понадёжней», — подтвердили остальные курсанты.

«— Придумать бы что половчее, вот задача.»

Помолчали. Все ждали, что Рокчеев тоже расскажет о своих злоключениях, но он только слушал других и иногда лишь бросал реплики. Спрашивать же его никто не спрашивал. Знали: отмахнётся, как бывало прежде. Скажет небрежно: «А, пустое. Попотели чуток и догнали упущенное время».

Рокчеев же ждал, чтобы его спросили. Нет, рассказывать он не собирался. Зачем? Приукрасить — подумают, что хвастаешься. Приземлить — неинтересно будет ребятам слушать. Он наверняка бы перевёл всё в шутку, но вопроса ждал. И даже немного обижался, что никто его не задаёт.

Поезду ещё предстояло нестись много часов сквозь густую искусственную чащобу, а в училище уже готовили этой группе курсантов-стажёров встречу. Особенно старались вернувшиеся из отпуска командир взвода (как же — его орлы!) и замполит. Хлопотали насчёт рафика, обсуждали, когда провести встречу с курсантами — сразу либо на следующий день, на каком уровне — с ротой или со всем батальоном.

Майор Сужков настаивал на том, чтобы собрать весь батальон. Не мог он, политработник, упустить возможности лишний раз поговорить на конкретных примерах о долге, чести и мужестве. Но главное конечно же было в том, что он торжествовал победу. Свою победу.

Как и планировал Сужков, он повидался с Раей Ольховой, побывал в милиции — письмо Ольховой подтвердилось полностью. В школу Сужков не пошёл. Зачем? Провести с директрисой воспитательную работу, сказать ей о том, что не педагогично раздувать из мухи слона?

И в отпуске, и после возвращения в училище майор Сужков много думал, верно ли поступил, оставив Рокчеева один на один со своей совестью. Он начал уже сомневаться. Даже уступил свои позиции в споре с Панкратовым.

«— Может, перестанешь теперь играть в страусов. Хватит голову в песке прятать», — выслушав рассказ замполита о московских встречах, довольно проговорил подполковник. — «Вернётся со стажировки Рокчеев, нужно с ним поговорить. И народу скажем. А уж коммунистам — непременно.»

«— Хорошо, Василий Остапович, вернутся курсанты, можно поставить вопрос на партийном собрании, допустим, о чести коммуниста. Или так: честность и скромность — неотъемлемые черты характера коммуниста. И спросить, отчего не был откровенен Рокчеев, когда его принимали в партию?»

«— Приемлемо», — согласился Панкратов. — «Весьма приемлемо.»

И вдруг — такое. Сам начальник училища говорит: отличник, дескать, всегда — отличник, герой — всегда герой. Офицеры после совещания поздравляют Панкратова и Сужкова за то, что их воспитанник отличился. Советы дают различные: стенд, Рокчееву посвящённый, оборудовать, общепатальонное собрание провести, потом повзводные встречи — в общем, недостатка в умных рекомендациях не было. Когда же остались Панкратов с Сужковым одни, Сужков спросил:

«— Ну что? Вопрос о партсобрании снимается с повестки дня?»

«— Придётся. А всё же я не верю ему. Сколько лет доить славу незаслуженно?! Ведь письмо — это случай. Выходит, не случай, так и совесть бы не заговорила у этого героя?»

«— Нет, Василий Остапович, в человеке нужно видеть доброе начало. Доброе. Когда выпало истинное испытание Рокчееву — он вёл себя героически. Стало быть, прежняя слава — оправданный аванс.»

«— Возможно. Всё возможно. Только нужны ли нам, я говорю об обществе, такие щедрые авансы? Гниль в душах разводить стоит ли? Вот в чём вопрос, дорогой Иван Никитович!»

«— Зачем такое обобщение? Мы говорим о Рокчееве. Чистое у него нутро. Не гнилое. Ну, сложились так обстоятельства, не устоял перед фальшью в яркой обёртке... Но, повторяю, жизнь проверила и подтвердила: Рокчеев — достойный уважения человек.»

Подполковник Панкратов пожал плечам и ничего не ответил.

Последнее слово в затянувшемся педагогическом споре осталось за майором Сужковым.

Под вечер поезд втянулся в пригород, и курсанты заторопились укладывать зубные щётки, мыльницы, книги и журналы, надели кители и высыпали в коридор.

— Давайте не сразу в училище, а пару часиков урвём, — предложил кто-то из курсантов, и предложение это было принято без возражений. У многих ребят здесь, в городе, были девушки, а кто откажется лишний раз повидаться с любимой. Остальные решили пойти в кино. О времени и месте сбора договорились быстро. И можно представить себе, с каким разочарованием увидели курсанты на перроне майора Сужкова. А он, не замечая постных физиономий курсантов, радостно пожимал им руки, приговаривая:

«— Герои! Ну прямо герои!» — потом объявил: — «Личный состав батальона ждёт вас.»

Понуро побрели курсанты на привокзальную площадь, а майор Сужков приостановил Рокчеева. Когда остались они одни, спросил:

«— Рае Ольховой писал?»

Вопрос, словно плётка, хлестнул по сердцу. Во рту пересохло. Старшина не мог выдавить из себя ни одного слова. Но, похоже, майор Сужков и не ожидал ответа. Продолжил без паузы:

«— Серия встреч запланирована. Во взводах. Занятия, самоподготовка, а ты, я надеюсь, тройки и четвёрки больше не будешь получать, в спортивные секции вернешься — ну, в общем, закрутит жизнь... Но о Рае своей не забывай. Она из тебя человека сделала. Да-да, именно она. Не смей забывать. И больше, я думаю, к этому разговору возвращаться не будем. Уговорились?»

«— Так точно!»

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГЕННАДИЯ АНАНЬЕВА

« — Сюда, пожалуйста», — сказал начальник заставы.

Мы вышли во двор. Над миром веяла прибалтийская белая ночь. Она была похожа на стену весны, воздвигнутую из светло-серого неба, слившегося с таким же морем. Графика елей была особенно чёткой на этой стене, и мы шли мимо деревьев по аккуратной, выложенной плотными камнями дорожке, к серому одноэтажному домику, где я должен был жить в комнате с тремя заправленными койками, тремя тумбочками и столом посередине.

На столе лежала стопка журналов «Пограничник», я взял один, раскрыл наугад и начал читать. Сначала от скуки, просто так, потом с интересом, потому что повествование увлекало. Чувствовалось, что автор — а им оказался Геннадий Ананьев — хорошо знает пограничный материал, свободно владеет темой, лёгок и пластичен был его язык.

Пролистав ещё несколько журналов, я вновь увидел знакомую фамилию. Сюжет рассказа захватил меня, и вновь я подивился умению Геннадия Ананьева, положив в основу будничную, обычную ситуацию, сделать предельно острой драматургию повествования.

Но вот отложен журнал, оценён рассказ. Кажется, всё. Забудется случайно вычитанная фамилия. В жизни, на дорогах своих встречаешь сотни случайных людей. Говоришь с ними в попутной машине, коротаешь железнодорожную скуку, а потом стремительное время разводит нас, стирает из памяти большинство встреч и разговоров. Остаются только самые важные, интересные, в которых мы угадываем движение судеб. Так и с прочитанным. Вспомним, сколько журналов, газет и книг прошли через нас, не задержавшись. Но есть вещи другого рода, накрепко занимающие место на полке памяти. Одно из таких мест абонировано писателем Геннадием Ананьевым.

Кажется, что нового можно сказать, когда тема широко, разнообразно разработана? Но тому, кто хорошо знает жизнь границы, сказать есть что. Для творчества Геннадия Ананьева очень показателен совсем маленький рассказ «Стюард». Начинается он обычно: «Старший лейтенант Губарев стоял на пирсе и смотрел, как осторожно, с лебединой гордостью маневрировал между судами сухогрузный электроход...».

Обычное начало, обычная картина. Опытный читатель может сразу же предположить, что дальше начнётся досмотр и в самом неожиданном месте будет найдена контрабанда. В таком случае его интерес к рассказу становится чисто познавательным: в каком новом месте будут лежать наркотики или валюта, драгоценные камни или литература? Но автор предлагает нам стать свидетелями вполне мирной, я бы даже сказал, светской беседы.

Капитан иностранного электрохода рассказывает офицеру историю победы в борьбе за наследство. Страшную историю отрубленной кисти руки. Человек отрубает себе кисть и бросает её на берег, тем самым выполняя условие соревнования: наследство получит тот, чья рука первой коснётся берега. Именно эта рука первой коснулась земли острова и, согласно пари, принесла богатство.

Достоверность рассказа капитана подтверждает фотопортрет на стене салона. На снимке — искалеченный человек, но физический его недостаток — не главное. Он искалечен морально. Интеллектуальное, нравственное убожество привело его к пирровой победе.

Читая всё это, мы видим, как внезапно салон капитана, элегантный, богатый салон, пересекала линия границы. Невидимая линия. По одну её сторону — старший лейтенант Губарев и его солдаты, а по другую все те, кто принимает участие в безумной гонке за деньгами, теряя в ней главное — душу.

Да, в этом маленьком рассказе нет головоломок и тайн, нет схваток и погонь. Но именно тем и отличается творчество Геннадия Ананьева, что он идёт не через поступки, а через внутренний мир героев.

Ныне в нашей литературе появился инертный, бездеятельный герой. И это особенно обидно потому, что наше время — прежде всего время поступков. Совсем недавно в одной из газет я прочитал об итогах социологического исследования старшеклассников. На вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — они ответили, по сути, однозначно — кооператорами, работниками торговли, портными, даже валютными проститутками. Меня поразили эти данные. Поразили равнодушные рассуждения об авторитете «денежных профессий».

Прочитав эти строки, я позвонил своему другу, социологу, и попросил узнать, хотел ли кто-нибудь из опрошенных школьников стать офицером-пограничником. И хотя я уже знал ответ, подтверждение было для меня весьма печальным. Никто не хотел.

И вспомнились мне далёкие тридцатые годы, маленькая книжечка с фотографией Карацупы на обложке. Эта книга будоражила наши мальчишеские сны. Мы говорили о ней во дворе, сами «дописывали» подвиги следопыта и, конечно, мечтали носить зелёную фуражку.

Нас было десять дворовых друзей. Шестеро до сих пор носят пограничную форму. Вот что значит книга, прочитанная в детстве. Герой, которому хотелось подражать.

Геннадий Ананьев пришёл в литературу со своим героем. Книги его мужественны, светлы и добры, как и люди, о которых он пишет.

У полковника Ананьева счастливая судьба, он живёт среди своих героев. Как это случилось? Обратимся к биографии писателя.

Талантливый сценарист, покойный мой товарищ Геннадий Шпаликов назвал один из своих чудесных фильмов «Я родом из детства». Задумайтесь, как ёмко и прекрасно это сказано. Как точно определено то время, в котором закладывается нравственная основа человека. Детство Геннадия Ананьева — это собрание ячеек МОПРа, сбор средств на автодор, бесконечные мечты о подвигах.

Его детство — это окраина степного города, улица маленьких покосившихся домов, глиняные дувалы и бесконечная степь.

На его детство выпала война. Тяжёлая жизнь военного тыла, скудный быт, продукты по карточкам и сводки Совинформбюро.

Как хорошо я помню это время! Мы не уходили в школу, не прослушав сообщение с фронта. Мы быстро выросли, слушая названия оставленных городов.

А как мы завидовали лейтенантам, идущим по улицам! Мы завидовали им мучительно и страстно. Всего несколько лет разделяло нас. Но они шли на фронт, а мы оставались в тылу. Наверное, именно поэтому так много мальчишек военной поры на всю жизнь связали себя с

армией. Выбрал этот путь и Геннадий Ананьев. Сразу после войны надел он гимнастёрку с погонами: стал курсантом Алма-Атинского пограничного кавалерийского училища.

Забайкалье. Граница с Китаем. Всякое было за годы службы. Но по сей день вспоминает Ананьев не только напряжение будней и тревоги, но и щедрую забайкальскую осень. Пожалуй, нигде нет такого кипения красок, как здесь в солнечные сентябрьские дни. На всю жизнь они останутся в памяти писателя, и позже опишет их Геннадий Ананьев в одной из своих книг.

...А служба шла, и ещё одна звезда засветилась на погонах, а с ней — и новое назначение: Север, Заполярье, отдалённая застава. И Ананьев — её начальник.

Как складывалась служба старшего лейтенанта, а потом капитана Ананьева? Обычно. Охранял границу... В схватках с нарушителями участвовать не пришлось. Но главное, он постоянно был готов к этому. Готов в любую минуту. А в этом и есть основной смысл службы офицера границы.

Когда человеку дано видеть больше, чем другим, у него появляется необходимость поделиться своим видением мира с окружающими.

На каком-то этапе жизни эта потребность возникла и у Ананьева.

...Опять учёба. На сей раз журфак Казахского госуниверситета. Работа в газете пограничного округа. Первый рассказ в журнале «Простор» — «Заряды», которым Геннадий Андреевич утверждает себя как писатель.

...Я познакомился с ним в Таллинне в 1974 году.

Уходил день за окнами гостиницы. И время наступало короткое, зыбкое, неустойчивое, когда свет ушёл, а темнота ещё не наступила. Я смотрел, как на готический скос соседней крыши, на причудливую штамповку флюгеров опустился странный, почти лиловый свет.

— Слушай, — сказал Геннадий, — совсем как в Молдавии, верно?

И без всякого перехода принялся рассказывать о Котовском. О том, как собирал материал о его жизни. Это был длинный и по-настоящему увлекательный рассказ. Геннадий лепил портрет легендарного начдива из новых, неведомых мне фактов.

— Очерк пишешь? — спросил я.

— Нет, книгу.

Позже я увидел эту книгу, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей». И ещё несколько произведений были напечатаны за это время. Повести «Тайфун», «Встревоженные тугаи», «Две матери», сборник рассказов «Золотые патроны».

Жизнь не развела нас. Мы продолжали дружить и работать вместе в редколлегии ежегодника «Поединок».

Через десять лет после нашего знакомства Геннадий Ананьев подарил мне свой первый роман — «Поморы». Я читал его, узнавая людей, места, жизненные и служебные коллизии, так хорошо знакомые мне по рассказам Геннадия. Я читал роман, и мне казалось, что именно я служу на заполярной заставе вместе с капитаном Полосухиным, ефрейтором Гранским, помором дедом Савелием. Что эти люди на какое-то время вошли в мою жизнь, дабы потом, через много лет, отозваться памятью, как бывает при встрече с добрыми друзьями.

Роман «Поморы» стал поворотным моментом в творчестве писателя. Он перешёл к анализу людских судеб, выбрав для этого тяжелый труд романиста.

Геннадия Ананьева всегда влекла к себе отечественная история. И вот увидел свет первый роман задуманной им трилогии «Орлий клёкот».

Острый сюжет романа не самоцель, а одна из красок на писательской палитре Ананьева. Своеобразный инструмент, при помощи которого литератор вскрывает характеры героев.

На биографиях двух офицеров Отдельного корпуса пограничной стражи Геннадий Ананьев показывает большой отрезок времени, пролетевшего над нашей страной. Точно и умно выписывает он своих героев. Нравственная эволюция Михаила Богусловского типична для сотен, тысяч военных интеллигентов, врасплох застигнутых революцией. Давайте вспомним хотя бы всего двух героев Алексея Толстого — подполковника Налимова из романа «Эмигранты» и подполковника Рощина из трилогии «Хождение по мукам».

В романе Богусловскому противопоставлен Андрей Левонтьев. Мне нравится, как написал его Ананьев: не двумя красками — чёрной и белой, поскольку великая трагедия народа, именуемая гражданской войной, требует более тонкого и внимательного подхода к людским судьбам. Писатель нашел этот подход. Андрей Левонтьев умён, храбр, по-своему честен. Просто он исповедует иную религию, и позиция его тоже достойна уважения.

Итак, перед нами психологический роман, написанный на фоне становления советских погранвойск. Писатель привёл множество неизвестных ранее фактов, показал, что такое борьба с басмачами. Я очень обрадовался, прочтя в «Литературной газете» о том, что за этот роман Геннадий Ананьев удостоен диплома и награждён Министерством обороны СССР именным оружием.

Достойная награда для офицера и писателя.

И вот две новые повести Геннадия Ананьева, которые вошли в этот сборник: «Рушник» и «Одиссея старшины Рокчеева». На первый взгляд они разнятся и по драматизму происходящих событий, и по ситуациям, в которые попадают главные герои, но всё же есть в них единое — человеческое достоинство и честь.

С первых же страниц повести «Рушник» я понял, какую сложную задачу поставил перед собой автор, дав возможность своему герою самому разобраться, в чём суть патриотизма и где грани между национальным самосознанием и национализмом. Вопрос перед ним стоял так: или жить, продолжая купаться в лучах заслуженной славы, принимая как должное народную любовь, или уйти в небытие, уйти безвестно, ибо никто не узнает о его подвиге.

Евген Романив сумел подняться над личной трагедией, связав свою судьбу с судьбой всего украинского народа. Не приемля чьего-либо права насаждать свои убеждения при помощи насилия, он утверждает право каждого на собственное осмысление прошлого, настоящего и будущего нации. Ради этого Евгений отдаёт жизнь.

Противовесом мужеству и чести выступает герой повести «Одиссея старшины Рокчеева». Ему не грозила смерть, ему ничто не грозило, если бы он откровенно рассказал, что приключилось с ним. Уважения к нему, думается, не уменьшилось бы нисколько. Он же не струсил, в конце концов, а только растерялся, как растерялись бы на его месте десятки и сотни других. Но, прельстившись медалью, Всеволод подыграл милиционерам, которые своё ротозейство запрятали за «героизм» парня. И директору школы не стал перечить не по робости, а потому, что увидел в её действиях свою выгоду. Рокчеев так и станет жить на гребне славы, хотя,

собственно, не слава это, а славишка. Но он уже научился использовать её плоды. Он уяснил себе, что у нас, как и прежде, встречают по одежке, но провожают чаще всего не по уму, а по тому, соответствует ли человек идеалу начальства. Рокчеев, без сомнения, будет соответствовать. Он — дитя нашего общества, в котором до сих пор любят и творят «маяков». Только вот вопрос: счастливо ли сложится судьба этого человека, не сумевшего подняться над обстоятельствами, как сделал это герой повести «Рушник»?

Заканчивая рассказ о Геннадии Ананьеве, мне хочется сказать, что в нём прекрасно сочетаются две главные черты: с одной стороны — нравственная, гражданская активность, и с другой — добрая сила человечности, которой пронизано всё его творчество.

Эдуард Хруцкий.

СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий Андреевич Ананьев

ТАЙФУН

Повести

Заведующая редакцией Л. Сурова

Редактор О. Русина

Художник А. Яцкевич

Художественный редактор В. Горин

Технический редактор О. Иванова

Корректоры Т. Нарва, Т. Семочкина

ИБ № 3474

Сдано в набор 02.01.89. Подписано к печати 09.06.89. Л 22583. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,54. Уч.-изд. л. 15,24.

Тираж 15 000 экз. Заказ № 4413. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий».

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».

103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Ананьев Г. А.

Тайфун: Повести. — М.: Московский рабочий, 1989. — 286 с.

Повести Геннадия Ананьева «Две матери» и «Тайфун» рассказывают о хлопотной и опасной пограничной службе; «Рушник» — о злодеяниях украинских националистов; «Одиссея старшины Рокчеева» — об испытаниях молодого человека славой. Все эти повести объединяет то, что их герои — люди высокой чести, ради которой они мужественно преодолевают превратности судьбы, предпочитая смерть сделке с совестью.

А 4702010200 — 217
М172(03) — 89

133 — 89

ББК 84Р7 — 4 А64